АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIV

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1965

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. Жирмунский (Ленинград). Общие тенденции фонетического развития германских языков 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Й. Хамм (Вена). Некоторые замечания к диахроническим исследованиям. . . 22
Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов (Москва). О типологии грамматических категорий 37
Н. Н. Семенюк (Москва). Некоторые вопросы изучения вариантности . . 48
Е. В. Падучева (Москва). О понятии конфигурации 56

Обсуждение вопросов русской орфографии

В. П. Григорьев (Москва). Обсуждение «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» 69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. Н. Прокопович (Москва). Глагольно-междометные формы в русском литературном языке XIX в. 76
М. М. Маковский (Москва). Пути анализа лексических реликтов и инноваций при установлении изоглосс. 83
Г. Ф. Благова (Москва). Значение данных современной узбекской диалектологии для изучения староузбекского письменного языка 96

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р. О. Якобсон (Кембридж, США). О латинизации международных телеграмм на русском языке 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

В. К. Журавлев (Минск). *M. Samilov.* The phoneme *jat'* in Slavic 114
И. И. Ревзин (Москва). *S. Marcus.* Gramatici şi automate finite 119
Г. Г. Почепцов (Киев). *Z. S. Harris.* String analysis of sentence structure . . 123
У. Вайнрайх (Нью-Йорк). «Webster's Third new international dictionary» 128

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 133
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 143

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ *

1

Основной задачей сравнительно-исторического исследования группы родственных языков следует считать не реконструкцию «архетипов» или «системы архетипов» языка-основы, иными словами — гипотетической модели «праязыка» (задача хотя и важная, но вспомогательная). Важнейшая цель подобного рода исследований, по мнению автора, высказанному им уже неоднократно [1], заключается в раскрытии внутренних закономерностей (тенденций) развития, проявляющихся в исторически обусловленных сходствах и различиях между этими языками.

Исходя из этого положения, сравнительно-историческая грамматика не может ограничиться доисторией изучаемых родственных языков; она должна включить в сферу своего рассмотрения, как указывал уже А. Мейе [2], и их историю в пору их раздельного существования: общее наследие данной группы языков и общие закономерные тенденции ее развития должны учитываться сравнительно-сопоставительным анализом этих языков в связи с теми специфическими особенностями и тенденциями, которые складываются в каждом из них как в новой и самостоятельной языковой системе. Именно наличие подобных общих тенденций в условиях независимого развития лучше всего свидетельствует об их закономерном характере.

В сравнительно-историческое изучение должны быть включены и диалекты данных языков, в которых, как в устно-разговорной форме народной речи, наиболее непосредственно, последовательно и беспрепятственно осуществляются общие тенденции развития этих языков, не стесняемые устойчивой (консервативной) письменной нормой. Сравнительная грамматика диалектов на разных ступенях исторического развития от древних времен до современности представляет не менее необходимую часть сравнительно-исторического исследования, чем историческая и сравнительная грамматика древних языков, засвидетельствованных в письменности, поскольку по своему происхождению эти последние также первоначально являлись устно-народными диалектами языка-основы.

В таком расширенном понимании сравнительно-историческая грамматика, построенная на генетической основе, непосредственно соприкасается с сравнительно-типологическими исследованиями, для которых она должна служить исторической базой. Типологическое сопоставление родственных языков в диахроническом

* Доклад на IV конференции по германскому языкознанию в Москве 6 октября 1964 г.

[1] См.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.— Л., 1964, стр. 3 и сл.

[2] Ср., например: А. Мейе, Основные особенности германской группы языков, М., 1952, стр. 22, 34 и др.

плане означает в сущности раскрытие общих тенденций их исторического развития в их конкретных сходствах и различиях как исторически сложившихся языковых типов или развивающихся языковых систем. Историко-типологические аналогии этого развития теснейшим образом связаны с фактом наличия общего наследия и сходными тенденциями его закономерного развития. Только подобной взаимосвязью историко-генетического и историко-типологического рассмотрения и может быть теоретически обоснована и оправдана самая постановка проблемы исторической типологии именно родственных языков в общих рамках сравнительно-типологической проблематики.

Это положение можно иллюстрировать двумя частными примерами, заимствованными из истории германских языков.

1. Умлаут представляет закономерную тенденцию фонетической ассимиляции гласного корня гласному окончания, которая проявляется во всех германских языках, но уже в пору их раздельного существования, независимо друг от друга, в разное время и со специфическими для каждого языка особенностями развития. Иными словами умлаут — не прагерманское явление; общим наследием всех германских языков могли быть лишь какие-то особенности артикуляции или акцентной структуры слова, точнее нам неизвестные (вероятно, связанные с местом в слове и характером германского ударения). Умлаут превращается из позиционного (ассимиляторного) оттенка фонемы в противопоставление самостоятельных фонем, и тем самым из явления фонетического в явление фономорфологическое, только в результате качественной редукции тех гласных окончания, которые вызывали ассимиляторные изменения. Эти процессы редукции протекали в германских языках в разное время и частично по-разному, вызывая существенные различия в структуре основ и типах склонения и спряжения, т. е. в процессах перестройки всей грамматической системы. В результате этих процессов немецкий язык обнаруживает растущее аналогическое использование умлаута как грамматического показателя во всей системе словоизменения и словообразования; наслаиваясь на более древние чередования гласных по аблауту, умлаут вместе с ними становится основой той характерной для немецкого языка внутренней флексии, которая вместе с редуцированными остатками внешней флексии и с новыми аналитическими конструкциями характеризует в настоящее время его грамматическую структуру.

Напротив, в английском языке уже в англосаксонский период грамматические чередования по умлауту гораздо менее значительны и убывают, в результате аналогического устранения, там, где они могли первоначально наличествовать. Таким образом сохраняется (или восстанавливается) фонетическое единство основы, которая станет в дальнейшем неизменяемой исходной формой аналитического слова. Тенденция к «затуханию» умлаута усиливается в особенности в среднеанглийский период в связи с проникновением в английский язык огромного числа заимствованных (французских и латинских) слов с иной, чем в исконно германских словах, фонетической структурой [3]. В результате в современном английском языке, в противоположность немецкому, морфологические чередования по умлауту представлены лишь в незначительном числе незакономерных исключений типа *man — men, mouse — mice, old — elder, strong — strength* и немногих других [4].

---

[3] Процесс этот аналогичен вытеснению общетюркской «гармонии гласных» в литературном узбекском языке под влиянием большого числа лексических заимствований из арабского и персидско-таджикского языка.

[4] Подробнее см.: В. М. Жирмунский, Умлаут в английском языке по сравнению с немецким, «Вопросы грамматики. Сб. статей к 75-летию академика

2. С судьбою умлаута как грамматической перегласовки тесно связано и развитие более древнего грамматического аблаута.

В немецком языке, как известно, широко распространена группа абстрактных имен существительных муж. рода на *-i*, образованных от сильных глаголов с низшей ступенью аблаута корневого гласного и с индоевропейским типом ударения на суффиксе. Группа эта образует отчетливо выраженную и живую грамматическую категорию с первоначальным значением однократного (мгновенного) действия и одновременно его результата. Ср. (по рядам аблаута): I. *schneiden — Schnitt*, II. *schiessen — Schuss*, III[a]. *springen — Sprung*, III[b]. *werfen — Wurf*, V. *treten — Tritt* и др.

В период господства теорий Н. Я. Марра многие советские германисты рассматривали эту категорию как очень древнюю и в типологическом отношении архаическую. Действительно, она засвидетельствована уже в индоевропейском, в особенности в древнеиндийском, где, однако, грамматический род этих образований — преимущественно женский (хотя может быть и мужским) и, наряду с ударением на суффиксе, встречаются формы и с ударением на корне [5]. Однако среди многочисленных древнеиндийских, а также среди других индоевропейских образований, имеется очень мало этимологических параллелей с германскими, так что и те и другие, по-видимому, в большей своей части являются получившими широкое распространение лексическими новообразованиями этих языков на основе древней морфологической модели.

Историческая грамматика немецкого языка показывает, что на протяжении всей его истории эта категория продолжала быть лексически продуктивной, как в общегерманском [6]. Слово *slih* от *slīhhan* «schleichen», *flu ʒ*, от *flio ʒ an* «fliessen», *sprung* от *springan* «springen» и др. являются древневерхненемецкими новообразованиями, не имеющими этимологических параллелей в других германских языках (всего 15 случаев). К средневерхненемецким образованиям причисляют *sluʒ* от *sliozan* «schliessen», *bunt(d)* от *binden*, *funt(d)* от *finden*, *swunc(g)* от *swingen* «schwingen» и др. Новонемецкими считаются: *Kniff*, *Pfiff*, *Ritt*, *Guss*, *Verdruss*, *Trug* и мн. др. (в особенности приставочные образования).

В англосаксонском языке эта категория представлена столь же богато, как и в древненемецком. Ср. дрвн. *snit* «Schnitt» от *snīdan* «schneiden» — агс. *snide* от *snīdan*; дрвн. *zug* от *ziohan* «ziehen» — агс. *tyge* от *tēon*; дрвн. *wurf* от *werfan* «werfen» — агс. *wyrp* от *weorpan* и мн. др. Начиная с среднеанглийского эти образования (отчасти вследствие своей фонетической пестроты и противоречивости) подвергаются последовательному вытеснению другими конкурирующими, прежде всего — развитием конверсии. Ср. англ. *to swing — a swing*, нем. *schwingen — Schwung*; англ. *to ride — a ride*, нем. *reiten — Ritt*. В современном английском языке сохранились лишь единичные изолированные реликты типа *to write — writ*, *to gripe — grip*, *to shoot — shot* и немногие другие. Чередования по аблауту в английском языке, не поддержанные умлаутом, также теряют свою грамматическую продуктивность и выходят из употребления [7].

И. И. Мещанинова», М.— Л., 1960 (на немецком языке: V. Schirmunski, Der Umlaut im Englischen und Deutschen. Ein historisch-grammatischer Vergleich, «Zeitschr. für Anglistik und Amerikanistik», Jg. 9, 1961).

[5] См.: K. Brugmann, B. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen, zweite Bearbeitung, II, 1, Strassburg, 1906, стр. 166—168; T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955, стр. 178—179.

[6] См.: K. von Bahder, Die Verbalabstracta in den germanischen Sprachen, Halle, 1880; W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, II — Wortbildung, 2. Aufl., Strassburg, 1899.

[7] Подробнее см.: V. Schirmunski, Der grammatische Ablaut in Germanischen (печатается в сборнике в честь проф. Е. Куриловича, Краков, 1965).

Примеры эти показывают, с одной стороны, наличие в самостоятельном развитии родственных языков общих закономерных фономорфологических тенденций, частью возникших в сходных структурных условиях (1), частью унаследованных из общих источников (2), и, с другой стороны, существенные различия в этом развитии, обусловленные взаимодействием со складывающейся фонетической и грамматической системой каждого из этих языков.

2

Общим наследием древнегерманских языков и их важнейшим фонетическим признаком было сильное динамическое ударение на первом (корневом) слоге. Характер этого ударения обусловил в дальнейшем особенности структуры слова в германских языках, редукцию неударных гласных, последовательные изменения ударных, передвижения в консонантизме и ряд фономорфологических процессов, протекавших, при наличии общих закономерных тенденций, с значительными расхождениями в разных языках и диалектах.

Важнейшим явлением, связанным с законами германского ударения и особенно существенным по своим фонетическим и грамматическим последствиям, представляется фонетическая редукция неударных слогов слова. Процесс редукции совершается закономерно и последовательно в общегерманском и продолжается в отдельных германских языках. Отпадают конечные (незащищенные) согласные, долгие гласные сокращаются, краткие ослабляются и редуцируются в качественно безразличный гласный типа немецкого шепотного *-e* [ə] или вовсе отпадают и выпадают [8]. Сопоставление древнегерманских языков открывает в этом процессе известные типологические закономерности: отпадение конечных гласных после долгого слога происходит раньше, чем после краткого (закон Сиверса) [9]; узкие гласные *-i*, *-u*, сохранившиеся в неударных слогах, расширяются в *-e*, *-o*, приближаясь к нейтральной позиции. В то же время в каждом языке, в процессе его дальнейшего развития, обнаруживаются свои особенности, и результаты этого развития различаются по языкам и диалектам как в качественном, так и в количественном отношении. Ср. швед., норв., исл. *gata*, дат. *gate*, нем. *Gasse* (диалектн. *gass'*), англ. *gate* — из др. сев., дрвн. *gata*, агс. *gate*.; или швед., исл. *fara*, дат. *fare*, нем. *fahren* (диалектн. *fārə*), англ. *fare* — из гот., дрвн., агс. *faran*, др. сев. *fara*, с различной трактовкой заударного гласного и конечного *-n*.

Явление редукции неударных слогов не имело чисто механического характера, как в свое время учили младограмматики. Германское ударение имеет грамматические функции, это — ударение грамматическое или смысловое. Относительная сила ударения служит средством соподчинения элементов слова, словосочетания или предложения по их смысловой значимости. Если ударение падает на корень слова, как на его смысловой центр, то окончание и приставка становятся к нему в подчиненное положение как форманты основы, определяющие оттенки его значения (префиксы и суффиксы) или его связь с другими словами (флексии). Ср. нем. *be-sprechen*.

[8] См.: А. Мейе, Основные особенности германской группы языков, стр. 66—67; Э. А. Макаев, Явления конца слова в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 290—338.

[9] E. Sievers, Zur Accent- und Lautlehre der germanischen Sprachen, PBB, V, 1878; W. Streitberg, Urgermanische Grammatik, Heidelberg, 1896, стр. 173—178 (§ 146—147); H. Krahe, Germanische Sprachwissenschaft, 5. Aufl. 1. Berlin, 1963, стр. 129—130. Ср.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, стр. 126—127.

Такое акцентное и смысловое подчинение особенно ясно на примере германских сложных слов, которые (как показывают законы древнегерманского аллитерационного стиха, приведенного в систему Сиверсом) [10] искони имели два ударения: сильное (главное) на первом, определяющем компоненте и более слабое (второстепенное или побочное) на втором, определяемом. Ср. гот. *figgra-gùlþ*, *áuga-daùro*, *daúrawàrds*, др. исл. *dúravǫrdr*, агс. *dórwàrd*, древнем. *tór-wàrto* «Torwart».

Эта акцентуация полностью сохранилась в современном немецком языке: *Ábendzèitung*, *Érlkönig*, *Wáldwèg* (с двумя ударениями, сильным и слабым). Оно господствует и в скандинавских языках: ср. швед. *áftonblàdet*, *lándsvägen*, *órdbòk* [11]. В английском языке в результате заимствования большого числа романских слов с иной—негерманской,— акцентной структурой отношения эти в ряде случаев перекрыты позднейшими преобразованиями (в частности, ударение нередко бывает одинаковым по силе на обоих компонентах сложного слова). Тем не менее Г. П. Торсуев выделяет целую группу сложных слов с сильным ударением на первом компоненте и слабым на втором, «при ведущей, объединяющей роли первого компонента» [12]; например: *háirdrèsser*, *páck-ànimal*, *bárley-sùgar*, *prínting-machìne* и т. п. Он правильно приводит эти случаи «в качестве примера действия семантического фактора в словесном ударении» [13] и не менее правильно заключает: «В сущности то же явление наблюдается при выделении определенных морфем в простых словах под воздействием семантико-морфологического и морфологического факторов словесного ударения» [14]. О. Есперсен пользуется в этом смысле понятием «value-stress» (ударение, выделяющее «психологически значимый элемент» слова). В сложных словах оно часто падает на первый компонент, в простых словах английского происхождения на первый слог, содержащий «основную идею» слова, тогда как последующие слова обычно «выражают подчиненные модификации этой идеи» [15].

В немецком языке словообразовательные суффиксы, сохранившие свое значение, так называемые «сильные суффиксы» (сильные как в смысловом, так и в фонетическом отношении), также имеют побочное (более слабое) ударение (Nebenton), подчиненное главному, сильному ударению (Hauptton) корневого слога. Это побочное ударение в разных грамматических формах (в силу причин исторического характера) может иметь разную абсолютную силу; вообще же оно слабее, чем ударение на втором элементе сложного слова. Ср. *Wíssenschàft*, *Fréihèit*, *Fínsternìs*, *Fórderùng*, *Líeblìng*, *málerìsch* и др. Однако оно имеет достаточную силу, чтобы немецкие поэты-классики могли нормальным образом рифмовать *Wíssenschàft* : *Kraft*, *Ewígkèit* : *Zeit*, *Wánderùng* : *Schwung* и т. п. (так же, как сложные слова с простыми, например *sang*: *Wíederklàng*, *Géisterrèich* : *gleich*) — обстоятельство, на которое в свое время обратил внимание такой наблюдательный и тонкий лингвист, как Н. Г. Чернышевский [16].

Именно наличие такого побочного ударения предохранило «сильные суффиксы» во всех германских языках от полной качественной редукции.

---

[10] E. Sievers, Altgermanische Metrik, Halle, 1893.

[11] См.: С. Маслова-Лашанская, Шведский язык, Л., 1958, стр. 26 и сл., 76 и сл.

[12] Г. П. Торсуев, Вопросы акцентуации современного английского языка, М.— Л., 1960, стр. 11.

[13] Там же, стр. 10.

[14] Там же, стр. 11.

[15] O. Jespersen, A New English grammar on historical principles, pt. 1: Sounds and spellings, 5-th ed., London, 1933, стр. 150—151.

[16] В рецензии на сочинения Пушкина («Современник», 1855). См.: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., II, М., 1949, стр. 472 (примеч.).

Следовательно, оно существовало и в прошлом во всех этих языках, не только в немецком. В скандинавском оно в ряде случаев сохранилось, например, швед. *vånskåp* «дружба» (ударение «на первом слоге главное, на втором побочное») [17]. В английском языке этот принцип перекрывается действием фактора ритмического, опирающегося прежде всего на длинные слова романского происхождения, с тенденцией к регулярной альтернации главного и побочных ударений, часто независимо от морфологического членения слова. Ср., например: *rádical, crítical — arríval, refúsal — fundaméntal, incidéntal*; или *frívolous, anónymous — sonórous, treméndous* и т. п. [18].

Когда второй элемент ослабляется в смысловом отношении (теряет свою самостоятельность), он подвергается одновременно и фонетическому ослаблению, с последующей редукцией. Ср. нем. *Viertel* «четверть» (из *vier-teil* «четвертая часть»), нем. *Adler* «орел» (из *adel-ar* «благородный орел»); особенно в диалектах: *nǫxbər* «сосед» (литерат. *Nachbar* < срвнем. *nāchgebūr*), *hamfəl* «пригоршня» (литерат. *handvoll*), *mumfəl* «глоток» (литерат. *mundvoll*), *haotsiç* «свадьба» (литерат. *Hochzeit* < срвнем. *hōchgezīt* «праздник»), *mōndiç* «понедельник» (литерат. *Montag*) и мн. др. Второй компонент, первоначально самостоятельная основа, в результате редукции уподобляется существующим в языке слабым суффиксам: *-el, -er, -ig* и т. п.

Сходным образом редуцированы англ. *gospel* «библия» < агс. *gōdspell* «добрая весть», *daisy* «маргаритка» < агс. *dæzeseze* «глаз дня», разговорн. *bousn* < *boatswain* «боцман» и т. п.; швед. *Norge* «Норвегия», *Norvegr* «северный путь» и т. п. С. Лашанская приводит литерат. *måndāg* «понедельник» «со слабым побочным ударением» и *månda* с одним ударением («в разговорном стиле»), и добавляет в примечании: «Чем больше слиты в единое целое члены сложного слова и чем больше сложное слово приближается по своему характеру к простому, а также чем дальше произношение от полного стиля, тем слабее ударение на втором члене» [19].

На основании сказанного общий закон германского словесного ударения может быть формулирован так: смысловое ослабление морфологического элемента (потеря функциональной значимости морфемой) ведет к ослаблению ударения и, следовательно, связано с тенденцией к грамматической редукции.

Отсюда следует, что между фонетическими и грамматическими законами развития неударных окончаний в германских языках наличествует закономерная взаимосвязь. Так, унификация типов склонения, аналогическое вытеснение непродуктивных типов продуктивными («индуцирующими») не есть явление специфически германское. Оно наличествует в разной степени во всех индоевропейских языках, в том числе и в древних флективных, являясь, по-видимому, результатом утраты основообразующими суффиксами их первоначальной значимости как показателей лексико-грамматических классов слов. Однако в германских языках процесс этот убыстряется благодаря действию германского смыслового (грамматического) ударения, т. е. тенденции редуцировать формальные элементы слова, утратившие свою самостоятельную значимость. Там, где в результате развития все более дифференцированной системы предлогов делаются излишними формальные признаки локальных падежей, фоне-

[17] С. Маслова-Лашанская, Шведский язык, стр. 26.

[18] См.: O. Jespersen, A New English grammar, стр..., 152—156, 164—168. Ср. также: Г. П. Торсуев, Вопросы акцентологии современного английского языка, стр. 49 и сл.

[19] С. Маслова-Лашанская, указ. соч., стр. 32.

гическое ослабление окончаний будет содействовать частичному устранению этих различий; с другой стороны, фонетическая редукция падежных окончаний потребует их замены эквивалентными по синтаксической функции предложными конструкциями. Если фонетическая редукция личных глагольных окончаний и их растущий омонимизм сделают необходимым употребление при этих формах личных местоимений, то дифференциация личных форм глагола с помощью обязательных местоимений, со своей стороны, будет содействовать редукции глагольных окончаний.

Таким образом, фонетическая и морфологическая редукция представляют две стороны одного фономорфологического процесса, диалектически объединенного действием германского ударения, одновременно динамического и смыслового. При неравномерности развития этого процесса для разных грамматических категорий и в особенности в разных языках импульсы могут фактически исходить и с той и с другой стороны[20].

Большинство звуковых изменений в германских языках в пору их раздельного существования, обнаруживающих одинаковые тенденции развития, связано с действием общегерманского сильного динамического ударения на первом (корневом) слоге.

ВОКАЛИЗМ

I. Количественные изменения

В древнегерманских, как и во всех древних индоевропейских языках, противопоставление долгих и кратких гласных возможно как в ударных, так и в неударных слогах и не мотивировано положением гласного в слове.

В дальнейшем долгота и краткость становятся функцией ударения и структуры слога. В ударных слогах обнаруживается тенденция к удлинению кратких гласных в открытом слоге и к сокращению долгих в закрытом (перед группой согласных или перед «геминатой», т. е. долгим согласным). В результате гласные являются долгими в открытом слоге (исконно долгие и удлиненные), краткими — в открытом слоге (исконно краткие и сокращенные).

Так обстоит дело в немецком языке: ср. срвнем. *năme* > новонем. *nāme* (*slāfen* > *schlāfen*); *brāhte* > *brăchte* (*năcht* > *năcht*). Когда гласный сохраняет исконную краткость в открытом слоге, появляется «гемината» как признак долготы последующего согласного (или закрытости слога). Ср. срвнем. *gesnĭten* > новонем. *geschnitten*, *hămer* > *hammer* [21].

Сходные изменения происходят в английском языке: агс. *năma* > срангл. *nāme*, агс. *brōhte* > срангл. *brŏhte*. Отсюда чередования типа *kēpe*(*n*) «keep» — *kĕpte* «kept», *fīf* «five» — *fĭfte* «fifth» и т. п.

Об аналогичных тенденциях в скандинавских языках пишет в обобщающей форме М. И. Стеблин-Каменский: «Не менее крупные изменения

[20] А. В. Исаченко на основании экспериментального исследования современной немецкой интонации, результаты которого он демонстрировал в магнитофонной записи в сентябре 1964 г. на конференции по теории стиха в Варшаве, пришел к выводу, что определяющими элементами немецкого ударения является не динамический, а мелодический фактор, согласно формулировке в тезисах его доклада, п. 5: «Подчиненность динамического ударения (интенсивность, „громкость") интонационным явлениям в немецком языке». Мне представляется, что вывод этот основан на недоразумении. Примеры, которые приводит А. В. Исаченко (*Dieser See ist natürlich entstanden, die Kinder vertrauen ihren Eltern* и др.), показывают, что предметом его экспериментального изучения была фразовая интонация в ее экспрессивной функции, определяемая мелодически, а не словесное ударение, которое в немецком языке было и остается силовым. Ср.: A. V. Isačenko, H. J. Schädlich, Untersuchungen über die deutschen Satzintonation, Berlin, 1964 (в серии «Studia grammatica»).

[21] Подробнее см.: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.— Л., 1956, стр. 171—183.

в количественных отношениях в слоге произошли в Швеции и Норвегии. В общем, они сводятся к тому, что все краткие ударные слоги подверглись удлинению... Удлинение краткого ударного гласного подразумевает либо удлинение входящего в его состав гласного, либо удлинение входящего в его состав согласного. И в Швеции, и в Норвегии в одних говорах удлинению подвергся гласный, в других согласный, в третьих то гласный, то согласный, в зависимости от состава слога... В результате этого процесса в шведском и норвежском языках ритм речи существенно изменился. Установилось так называемое „слоговое равновесие", т. е. одинаковая долгота всех ударных слогов. Вместе с тем, ударные слоги (теперь всегда долгие) оказались резко противопоставлены безударным» [22]. Ср. дршвед. *tăla* > сршвед. *tāla* «говорить», дршвед. *vĭka* > сршвед. *vecka* «неделя».

Однако в процессе осуществления указанных тенденций следует отметить ряд ограничений.

1. Процессы эти протекают в разных языках и диалектах в разное время. В английском языке удлинение в открытом слоге относят к раннему среднеанглийскому периоду (начало XIII в.); в немецком оно происходило в основном на ранних этапах нововерхненемецкого (XIV—XV вв.): отсутствие изменений в письме затрудняет в обоих случаях более точную хронологию. М. И. Стеблин-Каменский говорит о XIII в. для Норвегии, о XV в. для Швеции, также с соответствующими оговорками и с указанием на различие диалектов.

2. Не все диалекты охвачены этим общим изменением. В швейцарском, например, сохраняются краткие гласные в открытом слоге как было в древненемецком. Ср. *lĕsä* «lesen», *grăbä* «graben» и т. п.[23].

3. Встречаются различные фонетические ограничения. Например, в среднеанглийском удлинению в большинстве случаев не подвергаются узкие гласные *i* (*ĭ*), *u* (по своей природе менее звучные и более краткие). Ср. агс. *drĭfen* причастие II > англ. *driven*, агс. *bŭsig* > англ. *busy*. агс. *lŭfu* > англ. *love* [24].

4. В современных германских языках тенденция к «слоговому равновесию» нередко перекрывается другими тенденциями общего характера (например, сокращением долгих согласных, как в английском и немецком)[25].

Таким образом, закономерности, лежащие в основе развития количественных отношений в новых германских языках, не имеют безусловно общего характера: они остаются господствующими тенденциями, но не являются законами, которые не терпят исключений.

II. Качественные изменения

Вокализм ударных слогов в германских языках отличается большой неустойчивостью и претерпел за время их существования целый ряд последовательных спонтанных изменений. Основные тенденции этих изменений могут быть сведены к следующим процессам:

[22] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, М.— Л., 1953, стр. 123. Наиболее отчетливо и систематично так называемое «слоговое равновесие» (isochronismo sillabico) представлено в итальянском языке, где при наличии фонологической долготы согласных, имеется большое число таких пар, как *fāto* — *fătto*, *cāde* — *căde*, *bēve* — *bĕvve*, *cāro* — *cărro* и мн. др. См.: G. Bonfante — M. L. Porzio, Cenni di fonetica e di fonematica con particolare riguardo al Italiano, Torino, 1964, стр. 61—62.

[23] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 173.

[24] См.: O. Jespersen, A New English grammar..., I, стр. 114—116.

[25] Ср.: A. Martinet, La modalité anglaise de l'isochronie et le «Great Vowel Shift», в кн.: A. Martinet, Économie des changements phonétiques, 2-e éd, Bern, 1964, стр. 254—255. Ср.: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 251—252.

а) Монофтонгизация дифтонгов — дифтонгизация долгих гласных

Оба процесса, очень обычные в германских языках, вызываются одинаковой причиной — сильным динамическим ударением. Под влиянием этого ударения происходит:

1. Растяжение (Zerdehnung) долгого ударного гласного, результатом которого является сверхдолгота, двухвершинное (облеченное) ударение и последовательная качественная дифференциация элементов «растяженного» гласного, ведущая к образованию на его месте дифтонга. Например: срвн. $\bar{\imath} > \hat{\imath} > i\underset{\cdot}{\imath} > ei > \underset{\cdot}{e}i > äi > ai$; срвнем. $\bar{u} > \hat{u} > u\underset{\cdot}{u} > ou > \underset{\cdot}{o}u > au > \mathring{a}u$.

Дифтонгизации в результате подобного растяжения подвергаются в особенности гласные верхнего образования (узкие), но не они одни.

2. Удлинение слогообразующего элемента дифтонга, носителя ударения, с последовательной редукцией и поглощением неслогового элемента (монофтонгизация). Ср. дрвн. *uo* > *uə* > $\bar{u}^{ə}$ > $\bar{u}$; дрвн. *io*, *ia* > *iə* > > $\bar{\imath}^{ə}$ > $\bar{\imath}$.

Дифтонгизация и монофтонгизация нередко непосредственно следуют друг за другом: долгий гласный расщепляется в дифтонг, дифтóнг стягивается в новый долгий гласный. Ср. герм. $\bar{o}$ > дрвн. *ou* > срвн. *uo* [uə] > > новонем. *ū* (*gōd* > *guot* > [guət] > *gūt*); герм. $\bar{e}_2$ > дрвн. *ia* > срвн. *ie* [iə] > новонем. *ī* (*hēr* > *hiar* > [hiər] > *hīr*).

б) сужение долгих гласных и расширение кратких

Причина этой тенденции заключается в различном характере артикуляции долгих и кратких гласных в германских языках: долгие являются напряженными, краткие — ненапряженными. Напряженность связана с усилением специфической артикуляции гласного: дальнейшим подъемом языка и продвижением его вперед, более энергичным огублением. Напротив, ненапряженность (вялость) артикуляции вызывает опускание языка в сторону индифферентного положения, ослабление работы губ [26].

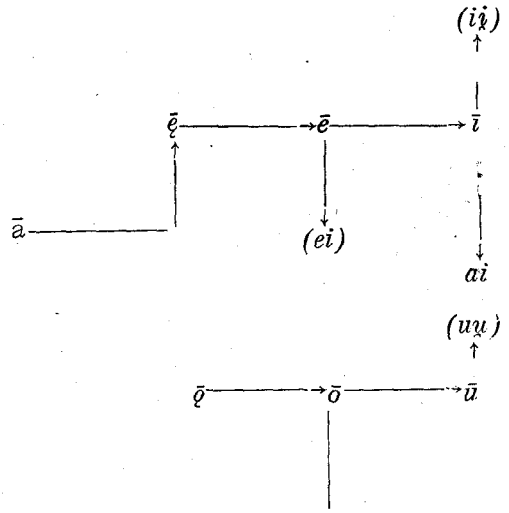
Характерно, что во всех германских языках (немецком, английском, шведском и др.) долгие напряженные гласные являются более закрытыми, соответствующие краткие — более открытыми (за исключением некоторых особых случаев вроде двух типов долгого $\bar{e}$ в немецком языке).

4

Примером указанных качественных изменений долгих ударных гласных может служить так называемый «общий сдвиг гласных» (the great vowel-shift) в новоанглийском языке. Явление это рассматривается англистами как факт квази-уникальный, специфический для истории английского языка, как для немецкого «второе передвижение согласных». На самом деле это парадигматический образец для тенденций развития, общих всем германским языкам.

[26] Э. Сиверс дал этому явлению иное, психофонетическое, объяснение, которое вряд ли может быть признано достаточным: он полагал, что сила и длительность звука вызывают «более энергичную и уверенную его артикуляцию», потому что при этих условиях звук обращает на себя больше внимания, «сильнее входит в сознание (stärker zum Bewusstsein kommt)». См.: E. Sievers, Grundzüge der Phonetik, 5. Aufl., Leipzig, 1901, стр. 270—280 (§ 760). К этому объяснению присоединяется В. Хорн в своей исторической фонетике новоанглийского языка. См.: W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, I, Bern, 1954, стр. 406—417.

Схема
«общего сдвига гласных» в английском языке (XV — XIX вв.)



Ср.:	*hē̯p* >	*hēp*	> *hīp* >	(*hiu̯p*)	«heap»;
nāme	> *nē̯m-* >	*nēm*	> (*neim*)	«name»;	
		slēpe(n)	> *slīp* >	(*sliu̯p*)	«sleep»;
(arc. *bāt*)	> *bō̯t* >	*bōt*	> (*bout*)	«boat»;	
		gōs	> *gūs* >	(*guu̯s*)	«goose»;
			īs >	*aiz*	«ise»;
			hūs >	*hauz*	«house»

Начало основных процессов дифтонгизации и сужения относят к XV в., завершение — к началу XVII в. В XVII в. срангл. *ē̯* — *ē* еще различались как *ē* — *ī* (*hēp* — *slīp*); к концу XVII в. первое догоняет второе (*hīp* — *slīp*), и две ступени объединяются в одну, тогда как место закрытого *ē* занимает срангл. *ā* (*nēm*). Вторичные дифтонгизации (*ei*, *ou*; *iu̯*, *uu̯*) намечаются к началу XIX в. (см. ниже, стр. 16).

Вряд ли есть основание считать, как это делал О. Есперсен, что весь процесс начался с дифтонгизации, и каждый предшествовавший звук «освобождал место» для последующего [27] (в современной терминологии «drag-chain»). Скорее можно думать, что система передвигалась как целое под влиянием общего артикуляторного фактора, воздействия силового ударения. Однако развитие системы происходило несимметрично для гласных переднего и заднего образования, причем нарушению первоначального структурного равновесия отнюдь не препятствовало (как, впрочем, и во многих других подобных случаях) появление, в результате артикуляторных сдвигов, большого числа омонимических, притом очень употребительных слов (ср. *sea* «море» — *see* «видеть», *flea* «блоха» — *flee* «бежать», *feat* «подвиг» — *feet* «ноги» мн., *meat* «мясо» — *meet* «встречать», *weak* «слабый» — *week* «неделя» и мн. др.).

Рассмотрим отдельные явления английского передвижения гласных с точки зрения аналогичных процессов в других германских языках.

---

[27] O. Jespersen, A New English grammar..., I, стр. 231—244; ср.: W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, I, стр. 202—336, 382—439.

1. ДИФТОНГИЗАЦИЯ ДОЛГИХ ГЛАСНЫХ

Дифтонгизация узких долгих *ī*, *ū*, (*ǖ*) > *ai*, *au*, (*o̧i*, *o̧e*, *öi*) представляет общую особенность литературных языков английского, немецкого, нидерландского и обширной группы диалектов, послужившей базой для каждого из них. С срангл. *īs* > *aiz* «ise», *hūs* > *hauz* «house» ср.: срвнем. *īs* > *ais* «Eis», *hūs* > *haus*, *liute* [lǖtə] > *lo̧etə* «Leute»; нидерл. *īs* > *eis* «ijs», *hūs* > *hûs* > *höis* «huis».

Процесс этот протекает в разных языках независимо друг от друга и в разное время: в английском его относят к XV в., в нидерландском — к XVI в.; в немецком наблюдается поступательное движение с XII в. (на юго-востоке, в баварско-австрийском) до начала XVI в, когда дифтонги достигают своей теперешней границы на севере средненемецкой области [28].

Ф. Вреде объяснял процесс дифтонгизации редукцией неударного *-e* с заменительным удлинением корневого гласного [29]. Объяснение это подходит не ко всем случаям; возможно, однако, что редукция вместе с сильным ударением на долгом гласном послужила толчком, нарушившим стабильность всей системы в целом. Существенно отметить, что дифтонгизация не имела ни в одном языке универсального характера. Из немецких диалектов она отсутствует в нижненемецком и в северной полосе средненемецкого (т. е. как раз в той области, где неударное *-e* сохранилось или отпало сравнительно поздно), но также в юго-западной группе алеманских диалектов (в эльзасском и швейцарском); на территории английского языка недифтонгизованное *ū* сохранилось в шотландском и в соседнем нортумбрийском (ср. *mai hūs* «my house»); пеструю картину представляют также нидерландские диалекты. В скандинавском дифтонгизация отсутствует.

Дифтонгизации могут подвергаться также долгие гласные среднего и низкого уровня. В этом смысле особую неустойчивость обнаруживает нижненемецкий вокализм, в наибольшей степени — вестфальский, с его многообразно дифференцированной дифтонгизацией долгих и удлиненных кратких. Особенно гласные среднего уровня (разного типа *ē*, *ō*), сами частично явившиеся результатом монофтонгизации старых германских дифтонгов, подверглись в нижненемецких говорах новой дифтонгизации. Ср., например, в говоре Альтенгамме (район Гамбурга): срннем. *ē* > > *e̯i* (*ke̯is* «Käse»), *ō* > *o̧u̯* (*fo̧u̯t* «Fuss»); *ǒ* > *u̯i* (*zu̯it* «süss») [30].

В некоторых немецких диалектах новые дифтонги *ai*, *au* подвергаются вторичной монофтонгизации в *ē* — *ę̄* — *ā̆* — *ā*, *ō* — *ǭ* — *ā̆* — *ā* в зависимости от того, на какой ступени расширения дифтонгов (от *ei* до *ai*, от *ou* до *au*) начался процесс поглощения второго элемента первым. Ср., например, в силезском: *wēt* «weit» (срвнем. *wīt* > *weit*), *hōs* «Haus» (срвнем. *hūs* > *hous*); в некоторых севернобаварских говорах (Баварский Лес): *bāse* (срвнем. *bī ẓ en* > *bäisə*), *hās* «Haus» (срвнем. *hūs* > *haus*).

Особенно поучителен в этом отношении среднеавстрийский диалект г. Вены, где новонемецкие дифтонги *äi*, *åu*, развившиеся в баварско-австрийском наречии, очень рано (уже в XIII в.), подверглись в дальнейшем стяжению в долгие *ā̆*, *å̄*, а в настоящее время дифтонгизуются в *äv*, *åv*. Ср. *īs* «Eis», *hūs* «Haus» > *äis*, *hâus* > *ās*, *hâs* > *ävs*, *hâvs* [31].

---

[28] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 202—215.

[29] F. Wrede, Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthonge, «Zeitschr. für deutsches Altertum», 35, 1895, стр. 257—300. Для английского ср.: W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, I, стр. 403.

[30] См.: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 238—247.

[31] См.: E. Kranzmayer, Lautwandlungen und Lautverschiebungen im gegenwärtigen Wienerisch, «Zeitschr. für Mundartforschung», 21, 1962, стр. 197—223; В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 202—203.

2. МОНОФТОНГИЗАЦИЯ ДИФТОНГОВ

Примером стяжения дифтонгов может служить судьба герм. *ai*, *au*. В большинстве германских языков и диалектов они подвергаются стяжению также в зависимости от степени раскрытия дифтонга: *ei* > *ē*, *ai* > *ā*; *ou* > *ō*, *au* > *ā*.

Вопрос о наличии стяжения графических дифтонгов *ai*, *au* (*braiþs* «breit», *augō* «Auge») в вестготском языке Вульфилы (IV в.) до сих пор является дискуссионным [32]. Однако, как правильно указал Э. Прокош, это в сущности — «вопрос хронологии» [33]. По свидетельству остготских собственных имен мы имеем в VI в. стяжение *ai* > (*ei*) > *ē*, *au* > (*ou*) > > *ō* (*Gesimund*, *Odwin* и мн. др.) [34].

В древневерхненемецком *ai*, *au* > *ei*, *ou*; стяжение происходит перед определенными согласными: *ei* > *ē* перед *h*, *r*, *w*; *ou* > *ō* перед *h* и переднеязычным; например, гот. *maiza* — — древнем. *mēro* «mehr», гот. *dauþus* — древнем. *tōd* «Tod» и т. п. В других положениях (слова типа древнем. *breit*, *ouga* «Auge» и т. п.) дифтонг сохраняется вплоть до современного литературного языка. Однако большинство немецких диалектов (кроме некоторой части южнонемецкого) имеют стяжение *ē* — *ę̄* — *ā̆* — *ā*, *ō* — *ǭ* — *ā̆* — *ā* в зависимости от степени раскрытия дифтонга, от *brēt* до *brāt* «breit», от *ōɣə* до *āɣə* «Auge» [35].

В древнескандинавском стяжение также ограничено определенными позициями. Более поздняя общая монофтонгизация происходит в восточноскандинавском (в датском — в X в., в шведском — в XI—XII вв.) [36], тогда как западноскандинавский (норвежский, исландский) сохраняют дифтонги. Ср. исл. *breiðr* — швед., дат. *brēd*; исл. *auga* — швед. *öga*, дат. *öie*; исл. *heyra* — швед. *höra*, дат. *höre* «hören».

Древнесаксонский (нижненемецкий) имеет монофтонг во всех положениях: *ei* > *ē* (*brēd*), *ou* > *ō* (*ōge*); в древнефризском *ei* (*ai*) > *ē* или *ā* (*brēd*, но *māra* — гот. *maiza*), *au* > *ā* (*āge*).

В англосаксонском *ai* > *ā* (*brād*), *au* > *ēa* (*ēaze* «Auge»). Необычная форма дифтонга *ēa* связана, по-видимому, с палатализацией первого элемента дифтонга в соответствии с ингвеонской артикуляцией (*a* как *æ*); последовавшая в результате этого качественная дифференциация обоих элементов дифтонга воспрепятствовала поглощению второго элемента (передний гласный + задний лабиальный). В древнейших глоссах (начало VIII в.) дифтонг действительно имеет форму *aeo* (ср. *ʒenæot* — агс. *ʒenēat*) [37]. Правильность этой гипотезы подтверждается аналогией диалектного развития современного английского *au*: «Первый элемент произносится в лондонском кокней и в диалектах юга и центральной области с более высоким подъемом языка, и дифтонг звучит как [æu] или (ɛu]. В северо-западной части центральной области он также иногда монофтонгизируется и звучит как [æ:] [ɛ:], пройдя через стадию [æə]» [38].

Необходимо отметить, что в дальнейшем своем развитии герм. *au* через ступень *ēa* монофтонгизуется в среднеанглийском в открытое долгое *ę̄*

[32] В. М. Жирмунский, Готские *ai*, *au* с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии, ВЯ, 1959, 4.

[33] Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 103.

[34] См.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, стр. 97—99.

[35] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 219—222.

[36] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, стр. 132.

[37] В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, стр. 258.

[38] К. Бруннер, История английского языка, I, М., 1955, стр. 255.

(агс. *hēap* > срангл. *hę̄p* «heap»), точно так же; как другой, параллельный англосаксонский дифтонг *ēo* стягивается в долгое закрытое *ē* (агс. *dēop* > срангл. *dēp* «deep»), и еще раньше, в позднем среднеанглийском дифтонг *īe* (умлаут предыдущих) начинает обозначаться как *ī*, *ȳ* (агс. *hīeran*, поздн. агс. *hȳran*, *hīran* «hear»).

Это стяжение восходящих дифтонгов в среднеанглийском языке может быть сопоставлено с аналогичными процессами монофтонгизации, которые были уже отмечены выше (стр. 11) в немецком. К концу древневерхненемецкого периода и дифтонг *iu* (связанный чередованием с дрвн. *io*) также монофтонгизуется в *ǖ*. Ср. дрвнем. *liuti* > срвн. *lǖte* (*liute*); в новонемецком, с последующей дифтонгизацией узкого долгого — *Leute*.

3. СУЖЕНИЕ ДОЛГИХ ГЛАСНЫХ

Сужению долгих среднего уровня (*ē*, *ō*) в английском передвижении гласных соответствует аналогичное явление в немецком — в широкой полосе средненемецких диалектов от Рейна до Одера (среднефранкском, гессенском, восточнотюрингенском, верхнесаксонском), в которых *ē*, *ō* (из герм. *ai*, *au*) > *ī*, *ū* (*šnī* «Schnee», *wī* «weh»; *grūs* «gross», *hūx* «hoch»)[39].

Долгое *ā* в верхненемецких диалектах также дает последовательно различные степени сужения: *å̄* > *ǭ* > *ō* > *ū* (срвнем. *slāfen* «schlafen» > швб. *šlå̄fə*, мозельск. *šlǭfə*, рфрн., востфрн. *šlōfə*, сев. эльз. *šlūfə*)[40]. Нижненемецкий имеет очень открытое *å̄* (например, Ольдб. *så̄p* «Schaf»), которое в большинстве случаев подвергается дальнейшей дифтонгизации. Ср. вестф. Мюнстер *sxaop*; сев. сакс. Гамб. *šǫцp* и т. п.[41]. В ряде диалектов *a* краткое, удлиненное в открытом слоге, также сужается в сторону *å̄* > *ǭ*, нередко отставая в своем развитии от старого долгого *ā*[42].

Передвижение *ā* > *ǭ* известно и английскому языку при переходе из древнего периода в средний. Ср. агс. *brād* > срангл. *brǭd* (с дальнейшим сужением в рамках общего передвижения гласных). Оно считается также явлением «общескандинавским, хотя относится к периоду раздельного развития скандинавских языков (XIII—XIV вв.)»[43], т. е. должно рассматриваться как результат общей этим языкам закономерной тенденции.

Сдвиг всех гласных заднего образования характерен для шведского и норвежского: *ā* > *ō*, *ō* > *ū*, *ū* > ω (гласный среднего образования, более низкого уровня, чем *u*). Описание этого цикла явлений как единого процесса, которое дает М. И. Стеблин-Каменский для шведского языка, весьма напоминает английское общее передвижение гласных: «Поскольку древнее долгое *ā* в результате его лабиализации приблизилось к древнему долгому *ō*, последнее, сохраняя свое расстояние от древнего долгого *ū*, изменилось в направлении *ū*, став из гласного среднего подъема гласным высокого подъема, а долгое *ū* в свою очередь продвинулось вперед, став из гласного заднего ряда гласным смешанного ряда или даже продвинутым вперед гласным смешанного ряда»[44].

Когда долгое *ā* является гласным переднего образования [a:], его продвижение (сужение) должно происходить в сторону *ē* — *ī* (а не *ō* — *ū*), т. е. подъем языка направлен вверх и вперед, а не назад. Так объясняет В. Хорн в рамках общего передвижения гласных развитие новоанглий-

---

[39] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 222—223.
[40] Там же, стр. 200—201.
[41] Там же, стр. 239.
[42] Там же, стр. 226, 239.
[43] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков. стр. 123—124.
[44] Там же, стр. 235.

ского долгого ā (из срангл. *ā* или *ai* — ср. *made* «сделал» и *maide* «дева»), которое передвигается вслед за ę̄ как последующая, более широкая ступень того же процесса сужения: ā > ǣ > ę̄ > ē (в XIX в. новая дифтонгизация > *ei*). «Среднеанглийское ā», пишет Хорн, «движется за среднеанглийским ę̄, никогда не нагоняя его. ǣ (из срангл. ā) переходит в ę̄, после того как ę̄ (из срангл. ę̄) покинуло эту ступень; ę̄ (из срангл. ā) становится ę̄, после того как ē (из срангл. ę̄) покинуло эту ступень. На ступени ē движение срангл. ā останавливается. Подъем в ī не имел места... Около 1800 г. начинается дифтонгизация» [45]. Ср. схему на стр. 12: *nāme* > > *nę̄m* > *nēm* > *neim* «name».

Несколько слов по поводу этой новой дифтонгизации, столь характерной для английского произношения по сравнению с континентальным. Все долгие гласные среднего и высокого уровня, возникшие в результате общего передвижения, с начала XIX в. подверглись в литературном английском языке такой «вторичной» дифтонгизации. Ср. *ē* > *ei* (*nēm* > *neim* «name»); *ō* > *ou* (*hōm* > *houm* «home»); *ī* > *ii̯* (*sī* > *sii̯*, *sij* «see»); *ū* > *uu̯*, *uw* (*tū* > *tuu̯*, *tuw* «two»).

Тенденция к дифтонгизации вызвана была и здесь воздействием сильного динамического ударения. Однако английское литературное произношение в Шотландии и северной Англии, как и в Америке, сохранило недифтонгизованные гласные. В лондонском вульгарном просторечии (кокней) и в некоторых диалектах дифтонгическое произношение утрировано и развивается в сторону дальнейшего расширения дифтонга (дифференциации его элементов). Ср. лонд. [sei] «see», [tou] «two»; [laidi] «lady», [lau] «low»; [daili mail] «Daily Mail» (название популярной газеты в произношении лондонских газетчиков) [46].

Социальная реакция против «вульгарного» произношения привела за последнее время к частичному восстановлению недифтонгизованных долгих («в соответствии с написанием»). Весь процесс весьма напоминает сказанное выше о венском городском диалекте (см. стр. 14).

4. РАСШИРЕНИЕ КРАТКИХ ГЛАСНЫХ

Явление это наличествует во многих немецких диалектах, географически между собою не связанных. Общий сдвиг гласных в сторону расширения наблюдается, например, в эльзасском и в тюрингенском: *i*, *u* > *e*, *o*; *e*, *o* > *ę*, *ǫ*; *ę* > *a* (*ä*), *ǫ* > *å*. Ср. говор Кольмара (верхн. эльз.): *belt* «Bild», *fendə* «finden», *ęk* «Ecke», *bęt* «Bett» (срвнем. *ęk*, *bęt*); *falt* «Feld», *asə* «essen» (срвнем. *fëlt*, *ĕ ʒ̧ ʒ̧ en*); *šolt* «Schuld», *bodr* «Butter»; *glǫk* «Glocke», *glǫpfə* «klopfen».

Частное раскрытие узких гласных *i*, *u*, (*ü*) > *e*, *o* (*ö*) встречается в большинстве франкских диалектов, как это было отмечено Ф. Энгельсом [47]. Ср. говор Калькара (н. фрк.): *mest* «Mist», *heməl* «Himmel»; *šos* «Schuss». *bromə* «brummen», *glök* «Glück», *šlösəl* «Schlüssel» [48].

Аналогичное передвижение отмечается и в скандинавских языках. «Общей для всей Скандинавии, кроме Исландии, можно также считать тенденцию к расширению кратких *i*, *y*, *u* > *e*, *ø*, *o*...».Однако осуществление этой тенденции может различаться по времени, диалектам и фонети-

---

[45] W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, I, стр. 283, 335—336.
[46] Там же, стр. 203—205, 323—336.
[47] Ф. Энгельс, Франкский диалект (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 19, М., 1961, стр. 523, 525, 529).
[48] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 231—237.

ческим условиям [49]. Ср. швед. *fridh* > *fred* «мир», *liva* > *leva* «жить»; *stydh* > *stöd* «опора», *sydha* > *söder* «юг»; *hugh* > *hogh* (*håg*) «мысль», *sun* > *son* «сын».

Сходным образом развивались краткие гласные в раннем периоде новоанглийского (XVI—XVII вв.). Систематизируя обширный материал, собранный В. Хорном [50], можно, по-видимому, говорить об «общем сдвиге» кратких гласных в сторону расширения, одновременном сужению долгих гласных и столь же универсальном. Об этом свидетельствуют: отдельные малограмотные написания того времени; многочисленные показания грамматик, в особенности иностранных; современные диалекты; особенности американского произношения, имеющие характер архаизмов. Так, о переходе *i* > *e* свидетельствуют написания типа *cheldren* «children», *desh* «dish» и показания диалектов. Американское произношение *o* > *a* (*hat* «hot», *aks* «ox» и т. п.) подтверждается написаниями *Nattinghamshire*, *Rabert*, *dacter* «doctor» и сообщениями грамматистов XVI—XVII вв. (нидерландских, французских, итальянских, немецких), согласно которым англичане произносят *o* как *a*.

Этот общий сдвиг артикуляции был в дальнейшем (в XVII—XVIII вв.) признан вульгарным и выправлен в соответствии с орфографической нормой. Единственное расширение краткого гласного, удержавшееся в литературном языке, представляет переход *u* > ʌ, сопровождавшийся передвижением вперед и делабиализацией (*sun* > *sʌn*). Диалектные варианты этого звука, колебания орфографии и иностранные грамматики свидетельствуют о различных ступенях расширения от *o* до *a* (ср. заимствованное франц. *drogue* > англ. *drug* и др.).

5. КОНСОНАНТИЗМ

Параллелизм в развитии согласных выступает в германских языках гораздо менее отчетливо. Чаще всего мы имеем здесь дело со сходными между собою изменениями более частного характера, которые объясняются артикуляторными особенностями того или иного отдельного звука, а не сдвигом всей системы в целом.

Мы ограничимся лишь несколькими примерами.

1. Переднеязычные спиранты *þ*, *đ* > смычные *t*, *d*. В древневерхненемецких диалектах переход *þ* > *d* (*þing* > *ding*) засвидетельствован в письменных памятниках и продвигается с VIII по XI в. с юга на север (от баварского до среднефранкского); в Нидерландах он отмечен около 1100 г.; в нижненемецком — с XII по XVI вв. В скандинавских языках *þ* > *t*, *đ* > *d* [51]. При этом глухой и звонкий изменяются в разное время, с значительными различиями по языкам и диалектам: в датском глухой уже во второй половине XIII в., звонкий — в XV в.; в шведском первый — в XIV в., второй — в XVI—XVII вв.; в норвежском оба — в XV в.; между гласными в датском и норвежском звонкий спирант выпадает. Исландский в отличие от прочих сохраняет *þ* и *đ*. Ср. исл. *þola* «терпеть» — швед. *tåla*, дат., норв. *tale*; исл. *veður* «погода» — швед. *väder*, дат. *veir*, норв. *vær*. Английский язык имеет оба спиранта *þ* и *đ* (*th*).

2. В новоанглийском происходит озвончение спирантов и спирантных групп *f*, *þ*, *s*, *ks*, *tš* > *v*, *d*, *z*, *gz*, *dž* в звонком окружении, если ударение не падает на предшествующий гласный. Явление это было открыто О. Ес-

[49] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, стр. 129—130. Ср.: Э. Вессен, Скандинавские языки, М., 1949, стр. 112.

[50] W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, I, стр. 121—191.

[51] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, стр. 130—131.

персеном, который назвал его «законом Вернера в новоанглийском языке» (Verner's law in New English) [52]. С общегерманским законом Вернера оно генетически, конечно, не связано, но представляет поучительную типологическую аналогию к этому последнему, основанную на сходных условиях артикуляции. Ср., например: *possible* [pósəbl]— *posses* [pəzés], *anxious* [æŋkšəs] — *anxiety* [æŋgzáiəti] и мн. др.

Открытие Есперсена потеряло изолированный характер с тех пор, как были обнаружены параллели к нему в нижненемецких и северной части средненемецких диалектов. Ср. в говоре Эйксфельда (Тюрингия): *kásə* «Kasse» — *kazîrə* «kassieren», *máse* «Masse» — *mazîf* «massiv»; *hanôfər* «Hanover» — *hanovərănər* «Hanoveraner» и др. [53]. Трудность обнаружения этого явления в основной части верхненемецких диалектов объясняется потерей противопоставления по звонкости (в результате так называемой «лениции») и отсутствием в немецком языке подвижного ударения за исключением небольшой группы поздних заимствованных слов.

3. Второе передвижение согласных не имеет для германских языков того широкого в типологическом отношении парадигматического значения, как общее передвижение гласных в новоанглийском. В развитых и последовательных формах оно, по-видимому, специфично для верхненемецкого, а по происхождению связано прежде всего с фонетическими особенностями южнонемецких (эрминонских) диалектов [54].

Если рассматривать явления верхненемецкого передвижения по отдельности, вне общей системы сдвига смычных в целом, то мы находим ему в других германских языках следующие аналогии:

1. Аспирация начальных глухих в предударном положении перед гласным характерна для всех германских языков, кроме нижнефранкского (нидерландского) и рипуарского, в том числе для нижненемецкого, английского и скандинавского. В современном датском в этом положении $t > ts$ («датское передвижение»). Сходные явления наблюдаются в некоторых нижненемецких говорах (Дитмаршен в Шлезвиге), где сильное придыхание ассимилируется по месту артикуляции предшествующему согласному, несколько приближаясь по своей артикуляции к соответствующим аффрикатам [55].

2. Потеря звонкости смычными b, d, $g > \underline{b}$, $\underline{d}$, g (переход в слабые глухие, так называемая «лениция») — в датском и исландском. Хронология этого явления не ясна, в датском оно может быть относительно древним [56].

В нижненемецком согласно новейшим фонетическим исследованиям потеря звонкости («лениция») также имеет широкое распространение [57].

3. Ослабление в датском языке в положении после ударения интервокальных и поствокальных p, t, $k > b$, d, g (вероятно, слабые $\underline{b}$, $\underline{d}$, g) с дальнейшим развитием в спиранты v, $đ$, γ. Ср. дат. *løbe* — швед. *löpa*, исл. *hlaupa* «бежать», дат. *skib* — швед. *skepp*, исл. *skip* «корабль»; дат. *slide* — швед. *slita*, исл. *slita* «рвать», дат. *hvid* — швед. *vit*, исл.

---

[52] O. Jespersen, A New English grammar..., I, chapter VI; W. Horn — M. Lehnert, Laut und Leben, II, стр. 974—993.

[53] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 322.

[54] В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческую грамматику германских языков, стр. 205—211.

[55] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 258.

[56] W. Mitzka, Die dänische und die deutsche Konsonantenschwächung, «Zeitschr. für Mundartforschung», 22, 1945, стр. 65—68.

[57] A. Schmitt, Die neuhochdeutschen Verschlusslaute, ZfPh, Jg. I, 4—5, 1947, стр. 164—196; его же, Media, Tenuis und Aspirata, «Teuthonista», Jg. VII, 3—4, 1931, стр. 300—301.

hvítur «белый»; дат. *røge* — швед. *röka*, исл. *rjuka* «дымить», дат. *rig* — швед. *rik*, исл. *ríkur* «богатый».

М. И. Стеблин-Каменский относит первую фазу этого передвижения к XII в., вторую — к XIII в., хотя последняя не отразилась в письме. «Перебой захватил также говоры южной Швеции (старые датские области) и юго-западной Норвегии, где звонкие смычные вместо глухих появились в начале XIV в.» [58]. Если понимать это явление более широко, как «ослабление», то сюда же следует отнести, как это и делает М. И. Стеблин-Каменский: а) вокализацию или полное поглощение старых спирантов в таком же интервокальном и поствокальном положении после ударения: $v > u̯$, $đ > j$, gh, $g > u̯$, j (ср. дат. *duve* [dūu̯ə] «голубь»— исл. *dúva*, дат. *vejr* «погода» — исл. *veđur* и т. п.); в) озвончение в современном датском глухих p, t, $k > b$, d, g в интервокальном положении, там, где они были сохранены (дат. *suppa* «суп», *hatte* «шляпа» и др.). Аналогичные явления наблюдаются также в шведском и норвежском языках: $k > gh$, $t > dh$, в ряде случаев с последующим отпадением спиранта [59].

Близкую аналогию развитию датского консонантизма мы имеем в нижненемецких и верхненемецких диалектах в судьбе интервокальных звонких смычных (или соответствующих им спирантов) *d*, *b* (*ƀ*), *g* (*ǥ*).

Интервокальное *d* (пройдя, вероятно, через ступень спиранта) выпадает в большей части нижненемецкого примерно до р. Эльбы на востоке. Ср. Ольд.: *brāən* «braten», *mēən* «mieten», *mō̄* «müde».

Интервокальные *b*, *g* имеют вообще спирантное (вероятно, древнее) произношение в нижненемецких, средненемецких и некоторой части южнонемецких диалектов (*lowə* «loben», *sāγə* «sagen», *sāx* «sage»). При этом *ƀ* выпадает между гласными в ряде верхненемецких диалектов, например: зап. тюринг. *grā* «graben», *rī* «reibe», *glaist* «glaubst»; ю. эльз. *blī* «bleiben» *büə* «Bube» и др. Еще шире распространено выпадение спирантного *ǥ* в том же положении, например: верхн. гесс. *šwaiə* «schweigen», *grīə* «kriegen», *sā*^{n} «sagen», *rān* «Regen» и т. п.

Для того чтобы эти частные сопоставления получили принципиальное значение, необходимо подойти к явлению верхненемецкого передвижения согласных с обобщающей, функциональной точки зрения, как к системе внутренне взаимосвязанных и закономерных артикуляторных изменений[60].

Мы полагаем, что верхненемецкий перебой представляет общий сдвиг артикуляции смычных (более широко — шумных) согласных, обусловленной тем же воздействием германского сильного динамического ударения [61]. Сила экспираторной струи вызывает более энергичное размыкание артикулирующих органов перед ударением (т. е. в сильном положении), которое сопровождается аспирацией глухих, переходящей в аффрикацию. С тем же фактором связаны: с одной стороны — ослабление смычки голосовых связок во всех положениях (переход звонких в глухие слабые — «лениция»); с другой стороны — ослабление смычки артикулирующих органов ротовой полости после ударения, т. е. в слабом положении (спирантизация звонких и глухих смычных в интервокальном и поствокальном положении, с возможной дальнейшей вокализацией звонких спирантов и полным их поглощением).

При таком понимании многие явления спонтанного передвижения согласных в разных германских языках (аспирация начальных глухих,

---

[58] М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, стр. 136—137.

[59] Там же, стр. 138.

[60] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 281—296.

[61] Там же, стр. 320—327.

потеря звонкости — «ленация», спирантизация звонких смычных в интервокальном положении) окажутся типологически сходными проявлениями одной и той же общей тенденции, наличествующей во всех германских языках и связанной с характером германского ударения.

С точки зрения фонологической, как общий принцип, заслуживает внимания замена оппозиции по звонкости (*b* — *p*, *d* — *t*, *g* — *k*) оппозицией по силе, маркированной добавочным признаком аспирации сильного согласного (*b* — p^h, *d* — t^h, *g* — k^h). Как указал еще И. Винтелер [62] и обосновал в новейшее время Ж. Фурке [63], она лежит в основе верхненемецкого передвижения согласных. М. В. Раевский справедливо отмечает то же явление для датского, исландского и фарерского [64]. Мы могли бы присоединить к этому обширную группу нижненемецких диалектов, которые характеризуются, наряду с аспирацией сильного глухого, переходом звонких в глухие слабые. Тогда специфическими для верхненемецкого (точнее южнонемецкого — «эрминонского») остается только развитие глухих смычных в аспираты в сильном и в глухие спиранты в слабом положении (по типу ннем. $t^h\bar{\imath}d$ — внем. $\underline{z}\bar{\imath}t$ «Zeit», ннем. *Water* — внем. *wa* $\underline{z}$ $\underline{z}$ *er* «Wasser» и т. п.), представлявшие первоначально, как правильно заметил Фурке [65], позиционные варианты одной фонемы.

Подводя итоги рассмотрению всего приведенного выше материала, можно признать наличие в фонетическом развитии германских языков общих типологически сходных процессов в пору их раздельного существования. Закономерный характер этих процессов очевиден. В большинстве своем они являются результатом действия германского силового ударения.

Тем не менее ни одна из указанных закономерностей не может быть признана универсально-общим законом, не знающим исключений. Речь идет лишь о типологических сходных тенденциях развития: сопоставительный анализ наряду со сходством обнаруживает во всех случаях значительные различия между отдельными языками и диалектами в степени и характере осуществления этих тенденций. Так, под влиянием сильного динамического ударения во всех германских языках независимо друг от друга происходит удлинение (растяжение) кратких гласных в открытом слоге. Однако швейцарские диалекты сохраняют неизменными старые исторические отношения между долгим и кратким и соответственно имеют формы *gĕbä*, *lĕsä* (см. выше, стр. 10). Узкие долгие гласные под ударением имеют тенденцию к дифтонгизации независимо друг от друга в английском, немецком и нидерландском, однако эльзасские и швейцарские диалекты немецкого языка сохраняют недифтонгизованные долгие $\bar{\imath}$, $\bar{u}$, как и нижненемецкий и скандинавский, а в шотландском и нортумбрийском сохранилось только старое долгое $\bar{u}$ (см. выше, стр. 17).

Наблюдаются также значительные расхождения хронологического порядка в процессе реализации аналогичных закономерных тенденций между различными языками и диалектами. Так, монофтонгизация герм. *ai* > $\bar{e}$ или $\bar{a}$ совершается в древнесаксонском и в англосаксонском в период, предшествующий письменным памятникам, тогда как в словах

---

[62] J. Winteler, Die kerenzer Mundart des Kantons Glarus, Leipzig, 1876.
[63] J. Fourquet, Les *mutations consonantiques du germanique*, Paris, 1956.
[64] М. В. Раевский, К проблеме классификации родственных языков на современном этапе их развития (на материале скандинавских языков), «Скандинавский сборник», IX, Таллин, 1964, стр. 17.
[65] J. Fourquet, указ. соч., стр. 90.

типа дрвнем. *breit*, *ouga* и т. п. в немецких диалектах, имеющих этот переход, он происходит не раньше новонемецкого периода (XIV—XVI вв.) (см. выше, стр. 14). Точно так же передвижение преднеязычного $\underline{d} > d$ постепенно охватывает немецкие диалекты на протяжении четырех столетий, а аналогичные переходы $\underline{d}$, $\underline{\underline{d}} > t$, d развиваются в скандинавских языках в рамках XIII—XVII вв., тогда как английский и исландский остаются вообще незатронутыми этим процессом (см. выше, стр. 18).

Географические границы, у которых останавливается контактное распространение подобных новшеств, объясняются современной лингвистической географией как исторические границы сношений между человеческими коллективами. Но лингвистическая география не может ответить на вопрос, почему в одном языковом или диалектном районе в отличие от другого не произошли те или иные фонетические (или морфологические) изменения или почему они произошли в разное время, если мы склонны рассматривать эти изменения не как результат простого контактного воздействия со стороны, а как осуществление закономерных внутренних тенденций, которые могли бы иметь всеобщий характер.

Разумеется, ответ на этот вопрос может дать только рассмотрение соответствующего частного явления в его взаимоотношении со всеми другими элементами исторически сложившейся или складывающейся системы данного языка, как мы пытались показать на первых двух примерах (стр. 4—6). До сих пор, однако, требование это в большинстве случаев оставалось скорее постулатом исследования, вследствие чего поставленный выше вопрос продолжает оставаться наиболее сложным и неясным в сравнительно-историческом языкознании.

В связи с этим позволительно напомнить, что и в математике, этой по преимуществу точной науке, представляющейся недосягаемым образцом для многих современных лингвистов, признается существование менее «жестких» (так называемых «корреляционных») функциональных связей, которые не обязательны в каждом отдельном случае, но справедливы «в общем и среднем» [66]. К таким «вероятностным» корреляциям принадлежат, по-видимому, и те аналогичные тенденции, которые мы пытались обнаружить в фонетическом развитии германских языков. Чтобы сделать их вполне точными, необходимо обнаружить их взаимодействие с многочисленными другими факторами развития языковой системы, которые мы в настоящее время еще не можем полностью учесть.

---

[66] Ср. замечания С. Боброва о применении теории вероятности к вопросам структуры стиха. См.: С. Бобров, Стихотворный размер «Песен западных славян», «Русская литература», 1964, 3, стр. 137.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Й. ХАММ

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ДИАХРОНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Во многих случаях в лингвистических исследованиях различным образом и в разной мере обобщаются бесконечно мелкие и, казалось бы, самостоятельные элементы. В конечном итоге они укладываются в систему, однако их приходится изучать прежде, чем система определена и полностью описана. В спешке, или по причинам другого характера, обобщения и суждения предлагаются преждевременно, так что системы становятся отражением концепций их авторов, а не наоборот. Это обстоятельство приводит к необходимости ввести понятие значимости явления, выделить явления, которые предшествовали повторному моменту процесса, обусловили его, и явления сопутствующие, второстепенные, которые появляются только маргинально и легче идентифицируются с явлениями, наблюдаемыми в других подобных родственных или неродственных системах. Вот несколько иллюстраций.

Языковые явления, как известно, обладают категорией пространства так же, как и категорией времени: каждому явлению в языке соответствует не только определенное время, когда оно уже настолько утвердилось, что может занять определенное феноменологически оформленное, индивидуализированное место в системе, но и определенное пространство, где оно находит свое распространение среди людей, выступающих в качестве его носителей.

На этой основе возникают так называемые реальные концепции, согласно которым пространственные компоненты языковых явлений связываются в замкнутые целые (ареалы), определяемые и географически. Казалось бы, ничто в этом плане не вызывает сомнений, но трудности возникают при попытке на основании идентичных элементов в разных языках и в разных наречиях делать вывод, что эти языки и наречия входили в одно замкнутое целое (ареал) в эпоху, когда в нем развились данные элементы. Однако языковые явления в конечном итоге могут приобрести идентичную форму, которая, однако, развивалась в различные эпохи, различными путями или в различных системах. В языке чехов и словаков, например, метатеза плавных произошла тем же путем, что и в южнославянских языках (у словенцев, хорватов, сербов, македонцев и болгар, включая сюда и язык старославянский и общеславянский культурный язык средневековья). В. Вондрак в 1924 г. высказал предположение, что это могло относиться к эпохе, когда словаки были в непосредственном (территориальном) контакте с южными славянами[1]. Тридцать лет спустя (в 1954 г.) Т. Лер-Сплавинский говорит об этом уже как о факте, свиде-

[1] См.: W. V o n d r á k, Vergleichende slavische Grammatik, I, Göttingen, 1924, стр. 395.

тельствующем, что у предков чехов и словаков «в это время ослабли связи с другими племенами западной ветви южных славян, зато стало значительно более тесным их единство с теми южными племенами, которые незадолго до этого пересекли линию и устремились к югу. Таким образом, мы имеем дело с отражением в языке того факта, что предки словаков и чехов составляли вторую волну славянских племен, пересекших линию Западных Карпат и Судет и временно утративших контакт с остальными севернославянскими племенами, вновь установивших — также на короткий срок — непосредственную связь с южными славянами. Период, разделявший эти две волны миграции через Карпаты, не мог быть особенно продолжительным, о чем можно заключить хотя бы из того факта, что фонетические изменения, происшедшие первоначально в сочетаниях *ort*, *olt*, а затем *tort*, *tolt*, *tert*, *telt*, хронологически не могли быть сильно удалены друг от друга, а должны были, исходя из характера соотношений того и другого типа сочетаний, быть результатом одних и тех же в принципе фонетических тенденций»[2]. И в заключение: «Надо считать, что вторая волна славянской миграции через Карпаты в Судеты приходится на период не позднее IV — V века н. э.»[3]. На тесную связь между словацким и южнославянским ареалом в этом отношении указывают Ф. Славский, З. Штибер, П. Ивич и др.[4] С. Б. Бернштейн с полным основанием относит это к проблематике, касающейся праславянских диалектных черт, и отмечает, что «изменения данных дифтонгических сочетаний между согласными начались в тот период истории праславянских диалектов, когда славяне заселили Карпаты, Паннонию, когда завершилось заселение современной Чехословакии и когда установился тесный контакт между предками чехов и словаков с предками словенцев, хорватов и сербов. Это III—V вв. н. э.»[5]. Впрочем Т. Лер-Сплавинский также предполагает, что это могло быть диалектным явлением. Поэтому — если оставаться в рамках охарактеризованной выше концепции — следует предположить хотя бы для короткого срока существование отдельного диалекта, объединявшего носителей будущего чешского и словацкого языков, с одной стороны, и представителей еще не дифференцированной группы южнославянских племен, с другой. Для такого диалекта punctum saliens была метатеза плавных с общим результатом *rat*, *lat* — *trat*, *tlat*. Однако, во-первых, едва ли можно предположить, что непосредственная территориальная или тем более административная связь, к тому же весьма непродолжительная, могла существенно воздействовать на фонетическую систему языка отдельного племени или группы племен; во-вторых, эти изменения не ограничились бы в этом случае только метатезой внутри слова, но распространились бы и на начало слова; в-третьих, внутренняя метатеза была только дальнейшим проявлением тенденции к изменениям, известным другим языкам (ср., например, сходные явления в полабском и кашубском), и ни в коем случае не являлась punctum saliens, определяющим общее направление в развитии того или иного языка или диалекта. Другими словами, на основании того факта, что у чехов и словаков представлено *trat*, *tlat*, так же как и у сербов, хорватов и словенцев (в соответствии с *trot*, *tłot* у поляков, *torot*, *tołot* у русских и украинцев), неправомерно было бы относить эти изменения

[2] См.: T. Lehr-Spławiński, Wl. Kuraszkiewicz, Fr. Sławski, Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa, 1954, стр. 39.

[3] Там же.

[4] См., например: Fr. Sławski, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej, Warszawa, 1962, стр. 15; П. Ивић, Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и њихових односа према осталим словенским језицима, ЈФ, XXII, 1—4, 1957—1958, стр. 196 и сл.

[5] С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 216.

ко времени непосредственного соседства чешско-словацких и южнославянских племен (еще до нашествия авар) и считать их генетически существенными. Данное явление, будучи результатом общеславянской (праславянской) тенденции, могло окончательно оформиться совершенно независимо на славянском Западе и Юге. Впрочем уже церковнославянские формы типа залтарнинъ и различные славянские заимствования в соседних неславянских языках показывают, что этот процесс на юге протекает иначе, чем у чехов и словаков[6].

То же или почти то же положение наблюдается и в диалектологии, которая в общем ограничивается синхронией. Здесь на основе статистических представлений часто смешиваются факты решающие и существенные и факты второстепенные и несущественные, не учитывается, входят ли эти факты в одну систему и будет ли описание достаточно точным, если учесть все частные моменты. Вот два примера из новейшего южнославянского материала.

В своем обстоятельно разработанном исследовании о бузетском диалекте П. Ивич[7] не различает фонем и их вариантов и потому насчитывает в общей сложности 14 (а фактически 12) различных гласных, которые между тем могут быть сведены к 5, включающим, помимо обычных *i—o—a* (под ударением), еще *ü* и *ε* как результат смещения артикуляции соответственно *u* и *e* (в то время как *ê* под долгим нисходящим ударением давало *ẹ*). Такое описание не удовлетворяет и в диахроническом отношении (П. Ивич же пытается объяснить звуковую систему именно на этой основе), поскольку, например, формы типа *pápak* не связываются в нем (как последующая ступень) с *roaki*, не связываются также рефлексы *ō*, *ŏ*, *o* и, наконец, не рассматривается *moj* в независимой позиции (случай, вероятно, аналогичный *kůzá* при род. мн. *kos*). Как видно из сказанного, и в новейших работах по диалектологии остается еще многое сделать[8]. В упомянутой работе, например, недостаточно выявляется функциональная значимость, на основе которой определяется различие между фонемами и их вариантами. Возможна и другая крайность. В статье о классификации сербско-хорватских диалектов[9] тот же автор сопоставляет чакавский диалект с переходным болгарско-сербским торлакским диалектом и приходит к выводу, что «чакавско-штокавским отношениям» не следует придавать «большее иерархическое значение, чем штокавско-торлакским». При этом он опирается на «15 основных различий между торлакским и штокавским» и только на «14 основных различий между штокавским и чакавским диалектом».

Торлакский — штокавский: (место ударения); (наличие интонации); наличие количественных различий; судьба редуцированных; судьба слогового *l*; судьба конечнослогового *-l*; (судьба *jd*); общий характер склонения; общий характер компаративной конструкции прилагательных; наличие инфинитива; окончание 2-го лица мн. числа императива; чередование согласных при образовании страдательных причастий

---

[6] Интерпретацию элементов, объединяющих среднесловацкие диалекты с чакавским, кайкавским диалектами и словенским языком, см. в статье: J. Hamm, Zur Periodisierung der südslavischen Sprachen, «Wiener slavistisches Jahrbuch», IX, 1962.

[7] P. Ivić, Paralele poljskome «pochylenie» na srpskohrvatskom terenu, «Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński», [Kraków, 1963]. Сама тема этой статьи является иллюстрацией того, как явления параллельные и не связанные между собой непосредственно, но сходные по своим результатам, могут развиваться на разных территориях.

[8] Здесь не затрагивается важный для полифонических языков вопрос об энклизе ударения.

[9] См.: P. Ivić, O klasifikaciji srpskohrvatskih dijalekata, «Књижевност и језик», I, Београд, 1963.

от глаголов на *-i*; формы вспомогательного глагола при образовании будущего времени; конструкции с числительными от 2 и далее; редупликация личных местоимений;

Штокавский — чакавский: (место ударения); (наличие ˜, ударения); рефлекс *ę* в позиции после палатальных; судьба конечнослогового *-l*; (судьба *h*); (судьба**dj*); (судьба **skj*, **zgj* и т. п.); судьба начального *čr-*; судьба *jd*; распространение основы мн. числа через *-ov-*; окончание род. падежа мн. числа; наличие аориста; (формы вспомогательного глагола при образовании условного наклонения); конструкции с числительными 3 и 4.

Список этих различий недостаточно последователен и полон. Среди отличительных особенностей чакавских говоров в нем приводятся и те, которые характеризуют некоторые штокавские диалекты и, следовательно, заставляют отнести эти говоры либо к чакавскому ареалу, либо рассматривать указанные признаки не как различительные, а как объединяющие штокавский и чакавский диалекты. Кроме того, среди различий между чакавским и штокавским диалектами опущен целый ряд очень существенных признаков. Можно назвать хотя бы отношение *l*—*j*, вокализацию *r̥*, *l̥*, качество былого *ъ* (с учетом правила Якубинского), конечного *-m*, дифтонгизацию *ē* — *ę̄*, переход *g* > γ, различие в амплитудах долгих гласных, различие в типе ударения, далее — окончание *-u* в твор. падеже ед. числа основ на *-a*, различные рефлексы редуцированных, словообразовательные и формообразовательные инновации (например, *brȓti*, *nȁći*, в имперфекте), имперфект глаголов совершенного вида, начальное *vi-* и т. д.[10]. Как видим, таких различий немало, несмотря на то, что уже с XI в. чакавская территория подвержена постоянному (и все более сильному) штокавскому воздействию. В данном случае особенно важно то, что указанные различия касаются в основном тех черт, которые — хотя они и сосредоточены иногда на узких, разобщенных и разрозненных территориях[11] — входят в основу систем чакавских диалектов, противопоставляя их соседним штокавским; при этом эти явления не заимствованы из какой-либо иной соседней славянской системы (в данном случае — словенской). А это весьма важно для диахронии. Поэтому к стремлению П. Ивича приписать торлакскому диалекту «по крайней мере такое же независимое положение», какое до сих пор признавалось за чакавским, следует отнестись с осторожностью, так же как и к его утверждению о том, что «среди отличительных особенностей торлакской территории обнаруживаются и такие две, которые по своему значению в системе языка превосходят все чакавско-штокавские расхождения. Речь идет об устранении количественных различий (под ударением) и аналитическом склонении»[12].

С лингвистической точки зрения автор прав. Действительно, речь идет

---

[10] Отмеченная в Валеве и Сербии изолированная форма *vigled* (которую Цвич справедливо связывает с кратским ареалом) не дает основания видеть в ней «последний остаток когда-то употребительного в штокавских диалектах префикса *vy-*» (P. Ivić, Einige Beiträge zur slavischen Etymologie und Wortgeographie, «Slavic word», I, 1956, стр. 147). Ведь и славянские слова могут в отдельных случаях заимствоваться, как иноязычные (особенно если речь идет о названиях реалий), а Валево, кроме того, примыкает к области, по отношению к которой А. Белич и др. предполагали особую интенсивность миграций. Другое дело, если бы *vigled* было представлено в косовско-метохийском диалекте или у галипольских сербов, однако Элезович и Ивич не зафиксировали его там.

[11] Вследствие штокавского влияния, которое через посредство материковых чакавских диалектов направляло и некоторые уже сложившиеся внутренние тенденции (ср., например, рефлексы редуцированных или некоторые формы *a*-основ).

[12] P. Ivić, O klasifikaciji srpskohrvatskich dialekata, стр. 28.

здесь по существу о болгарских чертах, которые, если приписывать им столь решающую роль, вынуждают со всей серьезностью поставить вопрос (опять-таки в собственно лингвистическом плане) о том, имеем ли мы дело с сербским или болгарским диалектом. Как бы то ни было, следует приветствовать широкую постановку вопроса о тех языковых явлениях, которые д е й с т в и т е л ь н о проникают с востока и юго-востока и которые уже оказали существенное влияние (например, в области количества гласных или во флексиях) на восточноштокавские диалекты, включая и диалектный ареал Белграда.

Все это, однако, не означает, что можно, хотя бы только с точки зрения синхронии, пренебрегать чакавским диалектом или недооценивать некоторые его характерные особенности, весьма важные не только в диахроническом плане (притом в самом широком, общеславянском смысле), но еще и сейчас живые. Тот факт, что они обладают различными ареалами, не имеет никакого значения, если принять во внимание штокавскую экспансию, непосредственно направленную на эту территорию и продолжающуюся уже девять столетий; важно лишь, что чакавские элементы во всем их разнообразии образуют единую, общую систему, живую и актуальную для носителей языка. Важно также, что речь идет здесь не о чем-то привнесенном, заимствованном от соседей, а о системе, которая, даже в отношении элементов, близких к элементам соседнего славянского языка, остается на своей территории независимой и автохтонной (хотя бы настолько, насколько могла быть автохтонной и система, развившаяся по соседству).

П. Ивич справедливо подчеркивает, что «современные диалекты следует группировать, исходя из их современного состояния, а не из прежних их состояний», однако он не отмечает целого ряда отличительных черт, которые были приведены выше и к которым можно добавить и некоторые другие (например, парадигма типа *kuća, kući, kuće* на о. Црес по отношению к типу *kuca, kuće, kući* на Лошине, уже под штокавским влиянием), характерные для чакавских диалектов в их современном состоянии. Возможно, это объясняется тем, что все эти черты не сосредоточены в одном месте или в одной узко локализованной системе. Такие идеальные образования оказываются иллюзорными, потому что не существует такого локального говора, где были бы представлены все отличительные особенности некоторого наречия. Существенна основа (*о*), а она является отражением функций не отдельных звуков, слов или форм. Говор Врбника или Омишля (о. Крк) может иметь старые рефлексы редуцированных и новое склонение, говор Драгозетича (о. Црес) — старое (непалатальное) склонение в жен. роде и новые рефлексы редуцированных, а говор о. Сусак — особые модальные конструкции с *bujah*, не известные ни одному из окружающих говоров, и тем не менее все эти говоры принадлежат к одной и той же чакавской системе и одному и тому же ареалу чакавского наречия. Традиция выделения такого рода отличий на основании интуиции или по случайным ассоциациям приводит диалектологию к таким выводам, которые не отвечают требованиям науки о языке, задача которой — принять во внимание всю совокупность фактов и все важное в языковом отношении для данной территории. Одно дело — площадь и число представителей некоторого диалекта или говора, другое — их лингвистическая (системная) характеристика. Первое может иметь — и обычно имеет — определенное значение в прикладной лингвистике, а также в методическом отношении, поскольку облегчает для представителей различных диалектов усвоение элементов, входящих в общую систему литературного языка или общего для данной языковой области разговорного (культурного) койне; по отношению ко второму эти социальные моменты оказываются второ-

степенными, существенна же система как таковая (в своей структуре). С этой общей точки зрения, одни системы можно считать более значимыми для диахронии языка, другие — менее значимыми, так что здесь возможна иерархия, измеряемая степенью древности, характеризующей такие системы. Если ввести некоторую оценку или иерархическое градуирование по оси абсцисс в синхронии (а оно излишне, поскольку выражается интегралом $\int d + k(\pm k)$, где d — показатель различения, а k — постоянная, которая может быть автономной или гетерономной), то диалектология как наука должна признать чакавскую систему более важной, чем торлакская, которая во многих существенных чертах тяготеет к исконно сербскому, хотя бы потому, что она сохраняет многие черты, утраченные другими диалектами.

Если подобные явления встречаются в диалектологии, которая ограничивается в общем фактами актуальной синхронии (так называемой синхронией одного среза), то еще более страдают от них диахронические исследования, выводы которых должны соответствовать самым различным вариантам, манифестировавшимся с начала письменности в различных графических (орфографических) формах. Здесь в первую очередь встает вопрос о характере графической передачи: каждая стадия развития и каждое явление должны быть рассмотрены как выражение и отражение системы, а затем — с точки зрения их воплощения в конкретной форме письменности. Это означает, что если даже принять константу K, то при выяснении того, как некоторый признак x сначала выделяется из комплекса z, а затем фонетически реализуется как x', необходимо еще выяснить отношение между слуховой формой (как непосредственным — или потенциально непосредственным — выражением x') и зрительной формой. В прошлом исследовались обычно лишь реализации второго типа, тогда как константа K выводилась из графической передачи дедуктивно, что, разумеется, нелегко. Достаточно вспомнить, что еще Добровский не знал, что юсом обозначались носовые гласные; ошибочные интерпретации и транскрипции некоторых памятников, которые еще и сейчас встречаются в исследованиях и публикациях, являются живым доказательством того, как трудно иногда постичь то, что в действительности скрывается за некоторым словом. Поэтому так часто — и так охотно — оставляют в стороне, пожалуй, основное и важнейшее во всех этих процессах — человека, который пользуется языком в своих особых целях,— и предпочитают иметь дело с такими абстракциями, которые подобны метатонии, где интонации определяют друг друга и обусловливают место ударения, или соотношение суффиксов, которые преобразуются друг в друга, подчиняясь своим имманентным свойствам или каким-либо другим факторам, но только не потребностям пользующихся ими. В том и состоит опасность для лингвистики, что рядом со структурализмом (который не только вводит строгие и точные приемы исследования, оперируя элементами, принадлежащими структуре определенной системы или части определенной системы) может развиться конструктивизм, который, игнорируя исторические факты, привнесет в реконструкцию доисторического состояния (в основном по отношению к неконтролируемой территории) свои теории, свои наполовину субъективные гипотезы и вполне субъективные фантазии. Необходимо делать различие между структурализмом, который в своих выводах должен опираться на конкретные данные, и конструктивизмом, который пренебрегает этими данными, не замечая опасности, что его выводы, его свободно конструируемые системы окажутся далекими от действительности.

Такая опасность существовала и при зарождении структурализма. Ее, например, не избежал уже Н. С. Трубецкой в своей фиктивной (так

называемой четвертой) энеаде числительных[13], где все, кроме двух первых членов, представляет собой фикцию (которой Трубецкой мог избежать, если бы он опирался на факты, хорошо известные и относящиеся хотя бы к первой половине этой энеады). Нечто подобное было и с реконструкцией старославянского вокализма, где в жертву системе принесено все, в чем реальные факты от нее отступали. Н. С. Трубецкой стремился реконструировать кирилло-мефодиевскую систему, которая более или менее непосредственно предшествовала системе или системам, отразившимся в старославянских памятниках. Для этого необходимо было хорошо изучить все памятники, каждый в отдельности, и установить, позволяет ли система, представленная в них, сделать вывод, подтверждающий исходные положения, и только тогда двинуться дальше и реконструировать то, что в древнейшие времена этим системам предшествовало. Трубецкой же освобождает себя от подобной работы тем, что занимает агностицистическую позицию по отношению к материалам памятников: «фонетическая реализация гласных неизвестна и было бы методически недопустимым пытаться ее точно установить. ...Абсолютные фонетические характеристики не поддаются реконструкции; нельзя сказать, произносились ли отдельные гласные фонемы всегда во всех позициях одинаково»[14]. Сняв с себя таким образом ответственность за реальные факты, Трубецкой мог в своей системе возвести в ранг фонем элементы, которые первоначально ими не были (например, *N*) и, наоборот, переоценить значение некоторых зрительно различных элементов (как это было, например, с глагол. ѣ, ѭ). Существен вопрос, возможно ли на основании старославянской глаголической системы — а на нее и ориентируется Трубецкой — определить основные фонетические реализации старославянских гласных фонем.

Ответ Трубецкого на этот вопрос был негативным. Причиной этого, среди прочего, могло быть и то, что он сам невольно попадал под влияние графических форм, которые к тому же часто не соответствовали его выводам. Отсюда его концепция о том, что некоторые гласные фонемы не во всех позициях произносились одинаково (точнее, что они могли произноситься, как другие фонемы). В этом был, конечно, повинен и метод, каким в то время производились исследования старославянских звуков и который приводил к прямолинейному установлению связей в духе старой компаративистики. На этой основе доказывалось, например, что глагол. ѳ развился из ѲѲ[15], тогда как в действительности было наоборот: ѲѲ возникло из ѳ как стилевой графический вариант (в инициальной, т. е. графически выделенной позиции)[16]. Вместо прямолинейного установления связей нужно изучить каждый памятник в отдельности[17] и попытаться выяснить, придерживался ли писец определенной системы письма, в соответствии с которой одни и те же звуки он стремился передавать одним способом (одними и теми же буквами), или не обращал на это внимания. Далее, если он придерживался некоторой системы, то какова была эта система. К счастью, и в древнейшие времена, а не только в эпоху гуманизма, среди писцов и переписчиков были прирожденные лингвисты, которые сознательно, иногда с полным пониманием, иногда прямолинейно и упорно,

[13] См.: N. S. Trubetzkoj, Altkirchenslavische Grammatik, Wien, 1954, стр. 22.

[14] Там же, стр. 61.

[15] См.: А. М. Селищев, Старославянский язык, I, М., 1951, стр. 47 и др.

[16] В подобном же положении мы оказались бы и сейчас, если бы, например, по автографам наших современников должны были прямо заключать о постановке запятых, о слитном или раздельном написании слов и т. д.

[17] Это важно и тогда, когда речь идет о списках. См. об этом работу М. Пантелича о Бартоле Крбавце в «Radovi staroslavenskog instituta», V, Zagreb, 1964.

придерживались известных правил, которые они сами создавали и в соответствии с которыми стремились определенные звуки в определенных условиях писать всегда одним способом. Нужно обнаружить такие памятники и таких писцов, изучить их систему и попытаться установить, что нового они вносят в наши знания об этой системе. Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к некоторым глаголическим каноническим рукописям старославянского языка.

Одна из важнейших проблем вокализма этого языка — это вопрос о том, произносились ли звуки *i*, *e*, *ę* в начальной или самостоятельной позиции с предшествующим палатальным элементом (*i̯*) или без него (относительно *ь* и *ѣ* очевидно, что они всегда произносились с таким элементом: доказательством служит тот факт, что *ь* в этой позиции всегда переходил в *i* [18], а *ѣ* в кириллических памятниках писалось лигатурой со знаком для йота в первой части). Относительно *ę* существует косвенное доказательство того, что в начальной и самостоятельной позиции оно произносилось смягченно (как *i̯ę*); это отражено в Синайской псалтыри, где для *ę* существует только знак ⷘ (который из-за более позднего различения ⷘ : ⷓ обычно передается в кириллице как ꙗ [19], хотя это было неоправданно, ибо в кириллице первоначально не было лигатуры, и ⷘ в Синайской псалтыри легко могло транслитерироваться через ѧ).

Для *e* также можно принять произношение *i̯e* в начале слова [20]. Относительно *i*, которое в глаголице могло писаться тремя различными способами, мнения расходятся. В соотношении ⷒ : ⷐ речь идет о стилевых (графических) вариантах одного знака. В звуковом отношении не существенно, первая или вторая графема послужила отправным моментом, важно, что они вместе представляют один тип и как целое противопоставлены третьему знаку ⷑ; следовательно, трехчленная корреляция сводится к бинарной (ⷒ, ⷐ : ⷑ), и можно ожидать, если допустить различие между этими корреляциями, что оно будет связано, с одной стороны, с ⷒ и ⷐ, а с другой — с ⷑ [21]. Но было ли между ними какое-либо различие в произношении или же двоякое или троякое обозначение в глаголице было лишь имитацией того, как передается *i* (ι — η) в новогреческой системе письма?

По А. Вайану, ⷢ произносилось в начале слова как долгое *i̯ī*, а ⷡ, ⷠ — как краткое *i̯ĭ* или, в начале слова, как *ii̯ĭ*; поэтому нормально следовало бы ожидать написания ⷦⷣⷢⷩⷴ муж. род, но ⷦⷣⷠⷢⷭ жен. род (где *i* было кратким и легко переходило в *ь*: ⷦⷣⷭⷢⷭ). Однако, как замечает и сам Вайан, рукописная практика не соблюдает эту норму; в глаголических памятниках и в значении «et» передают как ⷡ, ⷠ и ⷢ, а в *иже* — как ⷠ и ⷢ [22]. К этому надо добавить, что Вайан допускает для обоих знаков в начале слова чтение *i̯* (*i̯ī*, *i̯ĭ*). Вайан сделал свои выводы, опираясь непосредственно на очень большое число (прежде всего младших, церковнославянских) рукописей; относительно этих выводов возникают следующие вопросы: во-

[18] Ср. *i* в значении «eum».

[19] Так в издании Синайской псалтыри С. Северьянова (Пг., 1922), откуда это воспринято и другими исследователями.

[20] Если некоторые слова (например, ⷝⷮⷭⷬⷴ, ⷭⷬⷭⷴ в Супрасльском сборнике) в кириллических памятниках писались с ѣ, а не с ⷬ, то это также могло быть отражением греческого письма и определенного греческого диалекта. Во всяком случае, *i* здесь звучало не как *j*, но как достаточно слабый начальный палатальный приступ, который долго сохранялся у *e*; так, еще у дубровницких писцов второй половины XV в. (например, Джора Држича) находим для союза *eže* оба написания.

[21] В дальнейшем ⷑ передаем как ⷢ, ⷐ — как ⷠ, а ⷒ — как ⷡ.

[22] А. В а й а н, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 34—35.

первых, представлена ли в канонических текстах какая-либо последовательность в употреблении этих знаков; во-вторых,— существует ли в каком-нибудь из этих памятников какая-либо система, которая бы давала представление о произношении этих знаков в то время (во второй половине X или в первой половине XI в.); в-третьих, были ли правила, по которым можно определять чтение этих знаков, каждого в отдельности, в самостоятельной позиции или в начале, середине, на конце слова. Вот несколько конкретных примеров [23].

Если мы сравним текст главы XXVIII из Матфея в евангелиях, то в Зографском евангелии в 70 случаях обнаружим и, а в 52 — ѵ или ı, в Ассеманиевом евангелии это отношение будет 86 : 39, в Мариинском — 99 : 22. А если сравним 37 псалом, то в Синайском требнике найдем отношение 86 : 17, в Синайской псалтыри — 46 : 54. Переходя далее к Клоцову сборнику и Киевским листкам, где нет общих мест для сравнения (поэтому они сравниваются целиком), обнаруживаем, что упомянутое отношение в Клоцовом сборнике составляет 450 : 2007, а в Киевских листках — 90 : 459. Если объединить эти данные и установить внутренние соотношения, то получатся следующие показатели (в процентах):

Зографское ев.	57,4 : 42,6
Ассеманиево ев.	68,8 : 31,2
Мариинское ев.	81,8 : 18,2
Синайский требник	83,5 : 16,5

С другой стороны:

Синайская псалтырь	46 : 54
Клоцов сборник	19,9 : 80,1
Киевские листки	16,4 : 83,6

Эти отношения сами по себе еще ничего не говорят о звуках, но они могут служить показателем того, какая графическая система была более древней и — исходя из графической системы — каким памятникам на основании этих знаков можно приписать большую древность (доневская лестница [24] выглядела бы в соответствии с этим критерием так: Киевские листки — Клоцов сборник — Синайская псалтырь — Зографское евангелие — Ассеманиево евангелие — Мариинское евангелие — Синайский требник; разумеется, она относилась бы к конкретным текстам, а не к их прототипам). Любопытно при этом и соотношение (в процентах) между первичным и вторичным с точки зрения графического стиля (между ı и ѵ). Оно составляет в Киевских листках 74,3 : 25,7, однако при этом «стилизованное» ѵ в 72 : 18% случаев находилось в самостоятельной или инициальной позиции; если к этому присоединить еще 8 случаев, когда этот знак стоял в конце слова, где также существовала возможность стилизации, то на 118 стилизованных и 341 нестилизованных графем — в сумме 459 — приходится только 25 случаев стилизации в середине слова, т. е. чуть более 0,5% всех возможных случаев, а это величина, которой (если речь идет о графике и орфографии) можно пренебречь как несущественной. Подобно этому в Клоцовом сборнике соотношение стилизованных *i* (ѵ) в начале слова и в самостоятельной позиции, с одной стороны, и в середине и на конце слова, с другой,— 425 : 41 (т. е. опять меньше 1%, а если

[23] Рассмотрим только большие памятники и только те части их, которые можно сопоставить. Берутся издания В. Ягича (Зографское, Мариинское евангелия и Киевские листки), Й. Курца (Ассеманиево евангелие), Р. Нахтигаля (Синайский требник), С. Северьянова (Синайская псалтырь) и А. Достала (Клоцов сборник).

[24] «Лестница» Цонева, как известно, была предложена на основе различения ъ и ь и имела совсем иной вид: Зографское евангелие — Клоцов сборник — Саввина книга — Мариинское евангелие — Синайский требник — Синайская псалтырь — Ассеманиево евангелие — Супрасльская рукопись (см.: Б. Цонев, Класификация на българските книжовни пометници, София, 1905).

учесть, что больше половины из этих 42 случаев, именно 23, приходится на конец слова, то окажется, что и здесь остается менее 0,5% случаев, где такое *і* находилось в середине слова[25]. Вывод ясен: здесь мы имеем дело именно со стилизацией, а значит, с графическими, а не фонетическими вариантами. Фонетически же различными, если только эти различия были и если они получили выражение, можно считать, таким образом, только два знака: и и і (которые мы и будем в дальнейшем обозначать так, имея при этом в виду, что к знаку і надо при статистических подсчетах прибавлять каждый раз и ѣ).

А. Вайан предполагал здесь количественные различия, считая, что и должно было быть долгим, а і кратким, однако это, вероятно,— невольное отражение древнегреческих отношений (η : ι). Для нас прежде всего существен вопрос о наличии или отсутствии элемента смягчения и о том, каким из этих знаков передавалось смягчение (или, если оба знака передавали факультативную мягкость *і*, то для какого из них эта мягкость была постоянной).

Из приведенных статистических данных ясно, что со временем произошло обобщение этих двух знаков и что это обобщение в основном шло за счет знака і[26].

С первого взгляда может показаться, что — если принять во внимание веляризацию гласных в южнославянских языках — было бы целесообразно прежде всего выяснить, не обозначало ли первоначально и несмягченный звук, а ѣ и і — смягченный: это бы вполне соответствовало общему представлению о том, что система передних гласных на юге первоначально была столь же мягкой, как и на севере. По памятникам можно было бы проследить экспансию несмягченных элементов за счет смягченных. Между тем методически это было бы неверно. Это был бы путь заранее сформулированных если не выводов, то предположений, а он часто приводит к противоречиям и ошибкам. Пути и методы исследования должен диктовать сам материал, причем необходимо принимать в расчет не только языковой, но и палеографический материал, который — поскольку речь идет о символике — имеет свои особые правила. Это в первую очередь правило целесообразности, затем правило легкости и простоты изображения. Если два знака служат для передачи признаков, которые перестали различаться, то один из них становится избыточным и побеждает тот, который имеет более отчетливую форму (более отличную от других) и который проще (удобнее пишется). Так было, например, с редуцированными в младшей (хорватской) глаголице, где первоначальный знак «ер» графически модифицировался и в конце концов был заменен — скорее в орфографической, чем в фонетической функции — стилизованным апострофом[27]. В кириллице же было наоборот, т. е. обобщающую роль принял на себя «ерь». Так же и в случае с и-і в глаголице из двух или трех знаков в одной, уже веляризованной системе мог возобладать знак, которым первоначально передавалось смягченное *і*, если он графически был более удобным для выполнения функции, которая для двух (или для всех трех) знаков со временем была

---

[25] Однако и среди них было немало таких случаев (в сложных словах или в связи с ударением), которые косвенно обусловливали возможность графического выделения и, следовательно, стилизации (например, 4^b 19 вїждъ, 4^b 16 нікогоже, 9^b 4, 30 пріснѣ, 13^a 11 прѣпоѕдьнимн и др. Пагинация здесь и далее дается по изданию А. Достала «Clozianus. Codex Palaeoslovenicus Glagoliticus», Praha, 1959).

[26] Так было и в хорватской глаголице, где і в инициальной позиции удерживалось вплоть до XIV в. (когда оно и в этой позиции заменилось на и; в середине и на конце слова буква і еще раньше заменилась на и).

[27] Причиной того, что в глаголице возобладал «ер», могло быть и то, что «ерь» был слишком похож на *е* (особенно, если *е* писалось с одной перекладиной).

унифицирована. Однако это лишь теоретические положения: ответ на поставленный выше вопрос может дать только материал и его анализ.

Обычно в подобных случаях сначала анализируют то, что легче, и то, чего меньше. Поступим так и в данном случае. Если исходить из Клоцова сборника, аутентичность которого до сих пор никто не подвергал сомнению [28], то следует выяснить, представлена ли в этом памятнике какая-то своя система в обозначении *i*, которая может быть и чисто внешней, формальной, но также и (в известной мере) фонетической.

Рассмотрим сначала и в значении «eum» или «et». В первом значении оно встречается в Клоцовом сборнике в 5ª 12 (прѣдамі и), 6ᵇ8 (прѣставі и), 6ᵇ9 (испразні и); как видим, во всех случаях оно представлено после і, т. е. в позиции, где оно было исконно редуцированным и переходило в *i̯*. Во втором значении и находим также в позиции после і, ꙇ (сего раді и мъі 1ᵇ 13, грѣхъмі и неправъдами 3ª 5, сего раді и чколюбець 3ᵇ30, чъто хоштете... датꙇ и азъ вамъ 4ª 18, не вѣдѣтꙇ и себе 4ᵇ 12, сего радꙇ и къ Іоанові глаше 6ª 34, сего раді и пасхѫ ... створі 6ᵇ 12, сего раді и въ врѣмѧ 9ª 39, млъвы и гласі 12ᵇ 10, слъіші и прославі 13ª 35, слъіші и проповѣждь 13ª 36), т. е. после знака, выражающего исконное *i* или *i̯*, восходящее к *y*; следовательно, написание «et» как і или ꙇ (и отделение зиянием от конечного *i* предшествующего слова) могло стать излишним (синкопически). Функция и, таким образом, в обоих случаях была вспомогательной, а основное вокалическое качество было выражено в предшествующем слоге. Именно этим объясняется употребление в этом случае знака и, а не і.

При употреблении и в начале слова возможны отступления от правила, однако оно все же постоянно проявлялось в том, что инициальное и употреблялось или в энклитических местоимениях, или в предударной позиции, где оно также могло редуцироваться. Примеры таковы: та их 1ª 2, чѧда ихъ 1 11, позрѧштѧѩ ихъ 2ª 24, домъ нѣковль 1ª 12, чъсть вельѭ имѣти 2ª 19, не искочі 4ª 21, въстаѭшта из мрътвыхъ 12ª 28 (в 82,5% случаев начальное и выступает после слогов, оканчивающихся на і, ꙇ, или ъі, но никогда на и, ср. 1ª 24, 2ª 16, 3ª 5, 3ᵇ7, 15, 38, 39, 4ª 10, 38, 4ᵇ 3, 15, 32, 5ª 10, 12, 24, 31, 6ᵇ28,38, 7ª 7, 11, 7ᵇ 14, 8ª 17, 8ᵇ 10, 21, 9ª 6, 25, 31, 12ᵇ 13, 22, 13ᵇ 3, 8, 34, 14ᵇ 30). Таким образом, и в самостоятельной или начальной позиции и употреблялось тогда, когда оно редуцировалось в *i̯* полностью (если ему предшествовало і, ꙇ или непосредственно перед ударением) или почти полностью (например, в местоименной энклитике их). Это позволяет предположить, что заведомо в подобной функции оно будет выступать и в середине и на конце слова.

Уже Вондрак заметил, что в Клоцовом сборнике и часто употребляется в окончании инфинитивов [29]; это также напоминает язык дубровницких писцов XV и XVI вв., у которых конечное *i* в инфинитиве иногда писалось, а иногда опускалось. Зачастую это диктовалось потребностями стиха и ритма (соблюдения двенадцатистопного размера), но иногда один инфинитив требовал употребления другого, и тогда первый был мотивирован потребностью нечто более сильно выделить или подчеркнуть. Поэтому на основании графической передачи инфинитивов можно проследить, на каком слоге данного слова или выражения стояло ударение и почему иногда

---

[28] В. И. Ламанский сомневался, например, в аутентичности Киевских листков (см. об этом также: N. Hoeppner, Zur Forschungsgeschichte über die «Kiever Glagolitischen Blätter», 1, ZfslPh, XXI, [1], 1952).

[29] V. Vondrak, Glagolita Clozův, v Praze, 1893, стр. 27; насколько его сведения неполны, видно, например, из следующих слов: «и выступает исключительно в начале слова и между словами, чаще же всего на конце слов, например в инфинитиве. Из трех знаков оно употребляется реже всего. Если оказываются два ии рядом, то обычно пишется іи, реже иі».

в одном и том же слове могло употребляться то н, то і. Это относится не только к н на конце слова, но и к н в середине слова. Для иллюстрации приведем несколько примеров с и на конце слова. Это будут, как уже сказано, в большинстве случаев инфинитивы, причем только на *-ti*, но не на *-sti*: імѣти 1b 40, прооучати 2a 12, хранити 30, поуштати 2b 8, вѣдати 3a 29, глаголати 3b 24, плакати 28, блажити 29, творіти 4b 4, прѣдати 5a 4, послоушати 5b 1, исправити 6b 10, оувѣдѣти 15, пѣти 37. Подобную картину мы наблюдаем и в различных других безударных окончаниях на *-i*, в nom. sg. мати невѣджшти 10a 13, dat. sg. къ ісви 14b 37, loc. sg. въ цѣсарстви 11a 23, 26, о погребени 12a 34, nom. pl. обідьліви 2a 37, народи 12b 12, сами 21, 25, acc. pl. псалъмы 7a 34, instr. pl. съ ними 1a 27, 5a 10, дховънъими 1b 12, къмотрами... дъштерьми 2a 20—21, тъштіми 35, неправъдами 3a 5, вештъми 5b 4... большъми 12a 20, с мрътвъими... оумеръшіми... сжштими... прѣсподьними 13a 7—11 и т. д., или в глаголе 2-го лица sg. praes. слъшіши 1a 17, хоштеши 6a 6, помѣнеши 9a 17, глеши 12a 10, готовлеши 22 (но: оувѣси 5b 7), в аог. благословиви 1a 33, испоусти 4a 20, наоучи 5b 4, просвѣти 10a 28, ѣви (сѧ) 32, троудн 10a 3, роди сѧ 23, сътвори 13b 25, неразлжчи сѧ 14a 30 и далее, imperat. послоушан 3b 16, радоуи (: радоуіте сѧ) 14a 22—23, однако рьці 4a 24, 37, 5a 33, 7a 20, 7b 2, вънідѣ 3a 21, въздъхни 3b 1. Так же обстоит дело и с энклитиками: когда писец считает нужным их выделить в dat. sg., он пишет мн (4a 18, 23, 34, 37, 4b 32, 5a 33, 5b 28), в других случаях мі (4b 6, 28, 5b 16), или с частицами, по графическому виду которых также можно судить об их выделенности или невыделенности. Достаточно сравнить аште ли 1a 5 и аште лі же 1a 24, затем любаі оца ли матерь паче мене 2a 7 и іді етероу іномоу...лі любъві 2b 31—32; семоу лі тѫ наоучі оучитель 4a 25... тако лі скоро забъі 26... не сего лі радѣ глаше 28... не оучаше лі гла 32 или імьже ли ти область далъ естъ 4a 39 (здесь стояло бы лі, если бы не было предшествующего же). Ср. также вариации в следующей фразе: ѡ разбоіниче · не чюеши лі чъто страждеши · не помніши ли гвоздін · забълъ ли еі болѣзнь · ѣко въ цркві сѧ моля 11a 27—30 и тут же вторая часть, начинающаяся новым вопросом: не на дрѣвѣ лі вісѧ моліши (и т. д. 11a 30—31). Подобную вариантность показывает и мі : мн в 8b 38—40 — 9a 11; ръці мі. напасть бо мі створі велыж.тъштетж мі сътвори · много мн ізглагола · до главъі мі зъло съдѣла (где предпоследняя форма наименее выделена).

Особое место в таких рассмотрениях могли бы занимать (с грамматической точки зрения) так называемые *i*-основы. Для них из-за мягкости конечного согласного можно было бы ожидать в косвенных падежах преимущественно і, однако такие примеры, как дрьзости (acc. pl., 3b 30), ѣрости (gen. sg., 4a 13), неуъсти (dat. sg., 10a 17), пѫти (gen. sg., 10a 36), съмрьти (gen. sg., 10b 17) и т. д. показывают, что старая мягкость не была критерием употребления на письме і или и.

Подобным образом обстоит дело и с написанием и в середине слова: и здесь оно, как правило, стоит в предударных или заударных слогах, в последнем случае главным образом после шт в действительных причастиях настоящего времени (благословиша 1b 36, колиць 4a 11: коліко 5b 2, поставиша 5b 29 и т. д.; съсжштихъ 1a 21, обрѣтажштихъ 1b 36, стражджштихъ... творѧштихъ 3b 28—29, пріемлжштиѣ 8b 12, покланѣжштимъсѧ 10a 19 и т. д.

Остается еще одна важная группа случаев, когда на конце или в середине слова писались оба знака сразу. Вондрак отмечает только, что если оба *i* находились рядом, обычно писалось ін, реже ні. Это утверждение, если исходить из системы каждого писца и каждого памятника в отдель-

ности, не может быть признано удовлетворительным, так как оно не содержит никаких сведений об этих системах. В Клоцовом сборнике соотношение ıи — и̱ı вполне однозначно: и то и другое передает один звук, одно *i*, только в одном случае с палатальным призвуком в начале артикуляции, а в другом — в конце. Другими словами, и и здесь передает *i*, только при написании иı это *i̯* приближается к *j*, а при написании ıи оно может удлинять звучание основного *i*. Можно, следовательно, предположить, что въ съмѣренıı 1ᵇ2 читалось как *vъ sъměreni̯i*, съ глѫштıı 8ᵃ21 как *sъ glagol'ǫšti̯i*, съмотрѣıѫштıımъ 10ᵇ16 как *sъmotrějǫšti̯imъ*, еврѣıсцıı ... ı поганьсцıı 13ᵇ5—7 как *'evrěi̯sci̯i ... i poganьsci̯i*, по срѣдѣ настоıѫштıı жıзнı · и грѧдѫштıı 13ᵇ38—*po srědě nastoję̌šti̯i žizn'i i grędǫšti̯i* и т. д. В тех случаях, когда писец хотел обозначить двусложное окончание, он писал его ıı (так в 11ᵇ17: погыбъшıı, субстантивированное причастие, nom. sg.. Деепричастие *tvoreći* написано нормально творѧштıı (3ᵇ9, *tvoręšti̯i*), а пояснение «от Ариматии», которое в Мариинском евангелии появляется в форме отъ арıматѣıѧ,, в Зографском евангелии арıматеıѧ и арıматѣıѧ, в Ассеманиевом арıмаѳеıѧ, имеет в Клоцовом сборнике форму отъ арıматıı 14ᵃ16, 35 (где, судя по всему, речь идет о чтении *otъ Arimati̯i*, с ударением на втором *a*). О том, что и̱ выполняло преимущественно функцию *i̯*, которое на конце слова после гласной или между двумя гласными, не равными *i*, усиливалось так, что могло переходить в *j*, свидетельствуют примеры типа: сıлнѣı 10ᵃ16, раздрѣшаıѧı 12ᵃ16 (оба в sg., в соответствии pl. творѧштеı... страждѫштеı 3ᵇ10—11 и далее); по съпаснѣı (мѹцѣ) 12ᵃ35, алъгоѹı 14ᵃ14, канафа 13ᵇ8[30], а также ıнюдо 5ᵇ33 и т. д. Что диграфом ıı обозначалось долгое ı, видно на примерах лоѹчıı 5ᵃ36, 37, лоѹчı 5ᵇ3, болıı (недѫгъ) 8ᵇ5, или в gen. sg. (кръвı) не ıмѫштıı цѣнъı 5ᵇ31, в pl. тѣхъжде оѹченıı 6ᵃ14, прагъı двьрıı 6ᵇ34, гвоздıı 11ᵃ29 и т. д. Сюда относятся также примеры неправеднъıı 12ᵇ17, прѣвъıшънıı 13ᵃ11 (nom. sg.) и далее. Интересно, что в Клоцовом сборнике *vrbje*, кажется, уже заменяется на *vrbom* (на врьбıı 7ᵃ31, с позднейшей суффиксацией, подобно тому как не ıмѫштıı gen. f.), см. выше; в Синайской псалтыри еще връбıı, псалом 136,2. Интересны также нюансы прıımъ 7ᵇ18,11ᵃ1 — прıımъı 10ᵇ14; прıımъшı 10ᵃ33, не прııметъ 12ᵃ6 (3-е лицо pl. praes.), прıımахѫ 13ᵇ19 (очевидно, с долгим *a*) — прııметъ 8ᵃ31—32 (sg. opt.), прıımѣте 13ᵃ6 (imperativ).

Было бы преувеличением полагать, что приведенные правила действовали абсолютно и не имели исключений: нет ничего связанного с человеческим вниманием, что было бы неизменным и не имеющим исключений. В некоторых, к счастью достаточно редких, местах такого рода отступления допущены и в Клоцовом сборнике по причинам, которые сейчас для нас неуловимы. Один такой случай отмечен, например, в конце 12ᵇ страницы, где рядом с мıръ,, вıдѣтı написано мıроѹ, вıдımъ, невıдımъ (12ᵇ35—36). Косвенное доказательство того, что причиной такого написания было ослабленное внимание писца, можно видеть в наличии других ошибок (например, наряду с соѹгоѹбо 12ᵇ37, 39 дважды он писал соѹгобо 12ᵇ38, 40, а вместо сънıтье писал сънıтьее 12ᵇ39 и т. д.). При этом важно, что именно в тех случаях, когда ослабевает внимание писца, начинают доминировать те варианты, которые графически проще и легче в исполнении, независимо от их прежней функции. Это привело, в частности, к тому, что в хорватской глаголице XIV в. стало преобладать и, которое вытеснило в ı фонетической функции на конце слова и в инициальных позициях.

---

[30] В 10ᵇ 27 находим каıафа (в индексе Достала каıафа, канафа); различие могло касаться акцента: каıафа и каıафа (καϊ'αφας).

Писец или переписчик, выполняя рукопись, придерживался некоторой системы; для переписчика Клоцова сборника существовала определенная фонетическая и стилистическая норма в употреблении и, і (и также і, которая охарактеризована выше. Фонетически ι и є в то время, когда писался Клоцов сборник (и на той территории, где он написан) были более передними, чем в современных южнославянских языках. Палатальный элемент (не вполне удачно транскрибируемый посредством ', i̯) не выделялся из основного звука и, как правило, не переходил в *j* и не смягчал предшествующего согласного (за исключением *l* и *n*, которые и перед i̯ давали *l'*, *n'*). Чтобы передать, например, *nj* перед любым гласным, кроме *i*, необходимо было ввести особый знак ь: **противленье** 1ª19 — *protivl'enje*, **брѧцаньѣ** 1ᵇ11 (gen. sg.) — *bręcanja*, **кръстьѣномъ** 2ª18 — *krъstjanomъ*, **с҃тое кръстенье** 2ª18 — **с҃таго кръштеньѣ** 2ª21 — *s͡toe krъstenje* — *s͡tago krъštenja*, или **избавленье** 13ᵇ23 — *izbavl'enje*, **млъчанье** 12ᵇ3 — *ml̥čanje*, **осжжденью** 10ᵇ38 — *osǫždenju* и др. Если в суффиксе было *i*, то перед ним писалось ь: **о прѣданьі** 6ª8 — *o prědanji*, или, чаще, и: **съмѣренье** 12ᵇ40 — **въ съмѣрениі** 1ᵇ2 — *sъměrenje* — *vъ sъměrenji*. На конце же слова или перед согласным просто писали и, которое в этом случае обозначало *j* со слабым *ĭ*: **въ цѣсарстви** 11ª23,26 — *ve cěsarstvjĭ*, **блисцанимь** 13ª25 (instr. sg.) — *bljĭscanjĭm* и т. д.

Оба знака, которыми в IX в. и еще за несколько столетий до этого в греческом алфавите обозначался звук *i*, получили в глаголице функцию, приспособленную к славянской системе, где они, в отличие от греческой аспирации, служили для выражения корреляции по палатальности. Так как *i* по своей природе был гласным переднего ряда, то рассматриваемая дифференциация не могла касаться основного фонологического статуса, который был единым для всех трех знаков, а порождала варианты, отличающиеся наличием палатального элемента внутри *i*; в определенных позициях, например на конце слова после гласных, этот палатальный элемент полностью возобладал над основным звуком, так что релевантная графема могла иметь фонетическое качество *j* (или близкое к *j*), а в других случаях из первичного i̯i возникало вторичное ii̯ > *ij* путем метатезы (например, в **прѣдамь і > прѣдамі и**, в ед. числе). При этом і фонологически продолжало свою основную функцию, оставаясь символом для обозначения звука *i* (в отличие от *y* до их нейтрализации), тогда как и стало передавать оттенки палатальности от i̯i через ii̯ до *j*, как это мы находим, например, в **іиюдо** 5ᵇ33 и в других случаях (на конце слова после гласных или внутри слова, ср. **б҃жие слово** 1ᵇ22 — *božje slovo*, **б҃жию гнѣвоу** 2ᵇ34 — *božju gn'ěvu* или **б҃жію законоу** — *božiju zakonu* 1ᵇ40, 2ᵇ5, 24 и др.). Этой в некотором роде вспомогательной, вторичной функцией, в которой выступало и, возможно, объясняется и то, почему в исконной последовательности букв в глаголическом алфавите оно идет после і (тогда как, в соответствии с греческим порядком букв, как и кириллическим, мы бы ожидали, что оно будет стоять перед і).

Отражала ли, и в какой мере, эта функция знака и практику употребления греческой η в локальном греческом диалекте в VIII и IX вв. или в так называемой эгейской (южной) Македонии, сейчас сказать трудно [31]. Кроме того, этот вопрос выходит за рамки предложенного исследования, цель которого — выяснить, существовали ли в отдельных памятниках какие-то закономерности в написании і — и (и ι) и можно ли на их основании сделать выводы о фонетической структуре старославянского языка

[31] Исследование А. Шмидта «Der Buchstabe H im Griechischen» (Münster, 1952) не дает на это ответа.

в отдельных территориальных разновидностях глаголической письменности. В этом смысле не может быть неважным — ни с фонетической, ни с морфологической точки зрения — читалось ли в асс. *jь*, как пишут грамматики, или *i̯i* (в значении «eum») и почему такие слова, как *ime*, *istina* и подобные им, которые и сейчас в чакавском диалекте произносятся с прейотацией (*jime*, *jistina*), в независимой позиции, когда перед ними не стояло *i*, писались с начальным **і**, а не **н**. Анализ Клоцова сборника показывает, что функция **н** в старой глаголице могла быть орфографической (**прѣдамі н**), квантитативной (**болін**), фонетической (**алъгоуи** в соответствии с ʼαλώη), морфонематической (**божне — божіе**); он объясняет также, почему в **кръıти** после перехода *у* в *i* следовало ожидать написание корневого слога через **і**, а не **н** (**покріваше** 1ᵇ16, **кріѩ сѧ** 14ᵇ35, **съкріти** 14ᵇ33).

В диахронических исследованиях структурный анализ графической системы и ее фонетической основы (а также их взаимных отношений) столь же важен, как и реконструкция какого-либо фрагмента грамматической системы. Более того, он является предпосылкой такой реконструкции: только зная фонетическое значение графем, можно определить употребленную в тексте форму и то, что писец или переписчик хотел выразить этой формой. Если мы передаем, например, **прьвін пастъıрі** 14ᵃ18 и **прьвнı вьсѣмъ пастъıрі** 14ᵃ19—20 в транскрипции одинаково (*prьvii pastyri*... и *prьvii vьsěmъ pastyri*) [32], не делая различия между **н** и **і**, то мы приравниваем их к греч. πρῶτοι ποιμένες... καὶ πρῶτοι οἱ πάντων ποιμένες и, соответственно, к лат. *primi pastores... et primi omnium pastores*. Однако на основании того, что мы знаем об употреблении знаков **н** и **і** в Клоцовом сборнике, и учитывая, что славянские переписчики, создавая свои тексты, не заглядывали постоянно в греческие и латинские оригиналы, следует поставить вопрос, не было ли различение **прьвін** и **прьвнı** преднамеренным. Во второй форме (**вьсѣмъ**) могла передаваться модальность, нечто вроде компаратива [33]; в таком случае она по своему значению ближе к лат. *priores omnium*, чем к *primi omnium*. Такого рода оттенки встречаются довольно часто, особенно в младших церковнославянских текстах. Они являются выражением стремления оживить воспроизводимый текст, художественно оформить его, и это придает ему качества, иногда превосходящие качества оригинала.

Перевела с сербскохорватского *С. М. Шур*

---

[32] Так у Достала (см.: указ. соч., стр. 11, 295).
[33] Компаратив *prьļi* и сейчас есть в сербскохорватских диалектах (ср. итал. *prima*).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

Н. Н. КОРОТКОВ, В. З. ПАНФИЛОВ

О ТИПОЛОГИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

При определении языковых типов до сих пор обычно исходили из морфологической структуры слова или из структурных особенностей предложения[1]. Однако есть и другие признаки, которые в этом отношении также имеют существенное значение и позволяют вскрыть глубокие различия между языками разных типов. Речь идет о специфике словоизменительных форм и категорий и об определяемой ими в значительной мере грамматической природе слова в языках разных типов. Проблема эта важна не только для практики анализа и описания не-флективных языков, но и для разработки таких важнейших общих понятий языкознания, как понятие о слове и его так называемых общих и частных категориях. Указанные понятия возникли на базе флективно-синтетических языков и могут быть сведены в следующую систему, в основном верно отражающую специфику этих языков:

1. Грамматика — ars obligatoria[2].

2. Как части речи, так и само слово, выделяются в языке только при наличии словоизменительных категорий, носящих облигаторный характер[3].

3. «Ни в какой словарной форме *не могут* соединяться одновременно *две категориальные формы одной и той же категории*»[4].

4. Появление в языке хотя бы одной материально выраженной словоизменительной формы автоматически приводит к осознанию противостоящей ей основной формы слова как обладающей добавочным грамматическим значением (нулевая форма).

5. Поэтому каждая словоизменительная форма входит в грамматическую категорию[5].

6. Таким образом, слово есть единство всех его форм.

---

[1] Этот последний аспект типологических исследований плодотворно разрабатывается акад. И. И. Мещаниновым.

[2] См. об этом: А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1, стр. 31; О. С. Ахманова, И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина, О точных методах исследования языка, М., 1961, стр. 34—35; Б. А. Серебренников, Проблема глагольного вида в тюркских языках, сб. «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 28—29 (ср., однако, его же высказывание на стр. 174); F. W. Householder [рец. на кн.:] P. Forchheimer, The category of person in language, «Language», XXXI, 1 (pt. 1), 1955, стр. 94 (последний принимает это положение с оговорками).

[3] См., например: П. С. Кузнецов, О принципах изучения грамматики, М., 1961, стр. 64; Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, М., 1962, стр. 24—25, где автор пишет: «Определим слово как последовательность корневого элемента и относящихся к нему *обязательных* служебных элементов в предложении...» (разрядка наша.— *Н. К., В. П.*).

[4] А. И. Смирницкий, Морфология английского языка, М., 1959, стр. 9; см. также: Д. А. Штелинг, О неоднородности грамматических категорий, ВЯ, 1959, 1, стр. 63.

[5] См., например: А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 9; иная точка зрения по этому вопросу высказана Д. А. Штелингом (см. указ. соч., стр. 61 и сл.).

Если исходить, как это делают многие лингвисты, из этих положений при определении строя языков изолирующего типа, которые наиболее далеки от флективно-синтетических, то можно прийти к выводу о полном отсутствии грамматических классов слов и сопутствующих им словоизменительных форм и категорий, а также самого слова как единицы, качественно отличной от морфемы.

Между тем, в изолирующих языках существуют не только модели сложных слов и словопроизводные аффиксы, типичные для определенных классов слов, но эти языки, например китайский, обладают некоторыми словоизменительными формами и характеризуются закреплением за словом функций одной, реже двух и более частей речи.

В этом плане отличия китайского языка от флективно-синтетических сводятся к следующему:

1. Словообразовательные признаки не являются абсолютными критериями частей речи. Многие словообразовательные модели, как, например, объектная модель и словообразовательный аффикс *-хуа* дают как глагол, так и существительное: *дунъюань* «мобилизовать; мобилизация»; *гунъехуа* «индустриализовать; индустриализация». В некоторых случаях потребности общения вынуждают язык присваивать словам функции частей речи, обычно не свойственные соответствующим словообразовательным моделям. Например, слово *гайлян*, образованное по результативной модели, обычно дающей глагол, означает и «реформировать» и «реформа».

2. Словоизменительные формы сравнительно мало развиты. Так, например, существительные класса не-лиц вообще их не имеют. Существительные класса лиц имеют только форму коллективной множественности (*-мэнь*). Более или менее развита только система словоизменения глагола.

3. Словоизменительные формы не являются, говоря словами А. Масперо, неотвратимой необходимостью для мысли. Говорящий нередко использует их или оставляет слово не оформленным в зависимости от факторов, лежащих вне морфологической системы языка, а именно: степени ясности выражаемого ими смысла из контекста или ситуации, смыслового ударения, в частности, связанного с актуальным членением предложения, и ритмико-мелодических факторов. К числу собственно языковых (в узком смысле) факторов относятся: а) зависимая или независимая функция глагола или глагольного предложения, что в истоке своем также обусловлено типичным актуальным членением; б) принадлежность глагола к той или иной лексико-грамматической группе. Так, например, модальные глаголы неизменяемы, в то время как глаголы непредельные, обозначая завершенное действие, обычно требуют показатель совершенного вида (*-ла*). Однако последнее правило не абсолютно. Ср., например: *Та чила хэнь до* «Он съел очень много» (непредельный глагол-сказуемое оформлен показателем совершенного вида *-ла*) и *Во чжи чи лянгэ* «Я съел только две штуки» (тот же глагол в этой ответной реплике не оформлен, так как не входит в предикат: новое в сообщении выражается словами *чжи... лянгэ* «только две штуки»).

Если характеризовать употребление словоизменительных форм в целом, можно констатировать, что оно в большей или меньшей степени регулируется потребностями актуализации слова: словоизменительные формы выступают лишь как одно из средств актуализации и могут оказаться излишними там, где наличествуют другие средства или где слово вообще не требует или не допускает актуализации. Так бывает, например, если слово не занимает ударной позиции (Ср. *Во чжи чи лянгэ* «Я съел только две штуки») или входит первым компонентом в сказуемостный комплекс, оформляемый только в целом (*банчжу та нунцинчу-ла...* «помог ему уяснить...»).

4. В этих условиях появление той или иной словоизменительной формы отнюдь не обязательно приводит к осознанию исходной формы слова как нулевой, по своему значению противопоставляемой суффиксальной форме. Словарная (основная) форма продолжает сохранять способность выступать и там, где по смыслу предложения, казалось бы, требуется суффиксальная форма, специализированная для грамматического выражения данного смысла.

Таким образом, словоизменительная форма может существовать вне всяких противопоставлений, т. е. не входить в грамматическую категорию, которая являлась бы абстракцией более высокого порядка. Так, по нашему мнению, обстоит дело с формой коллективной множественности (*-мэнь*), которая при отсутствии противостоящей ей формы существительного со значением единичности не входит в категорию числа.

Менее ясно положение с глаголом. Китайский глагол бесспорно обладает системой видовых форм, а способность его основной формы выступать вместо одной из специализированных форм ограничена рядом условий. Так, например, в изолированном предложении, вне контекста, непредельный глагол, выступающий в функции сказуемого и находящийся под смысловым ударением, при обозначении завершенного действия обязательно принимает форму совершенного вида. Это относится, правда, в значительно меньшей степени, и к предельным глаголам. Основная форма во всех этих случаях имеет и свое собственное грамматическое значение, представляющее как бы «остаточное» грамматическое значение глагола, не покрываемое его специализированными формами. Ср., например: *Та кань бао* «Он читает (вообще или собирается почитать)[6] газету» и *Та каньла бао* «Он почитал газету». Поэтому существует мнение, что здесь можно говорить о частичной противопоставленности основной формы суффиксальной форме, а соответственно — и о «частичной нулевой форме». Решение этого вопроса, видимо, будет зависеть от удельного веса таких случаев в речи. Проведенное выборочное обследование показало, что этот удельный вес как будто недостаточен для того, чтобы можно было с уверенностью говорить об осознании основной формы глагола как нулевой, входящей в систему видовых форм глагола. Более того, даже суффиксально выраженные видовые формы не всегда являются взаимоисключающими, допуская сочетание двух видовых показателей при одном глаголе (например, *цюйгола*! «уже ходил!», где *-го* — аффикс «испытанного вида», стоящий на грани словообразования и словоизменения, а *-ла* — аффикс совершенного вида), и в известных ограниченных пределах оказываются взаимозаменимыми (например, *шанмянь гуачжэ дяньдэн* «наверху висит электрическая лампа», где *-чжэ* может быть заменен на *-ла*). Наконец, сами формальные показатели в большинстве случаев отделимы от слова и способны оформлять не только слово, но и два однородных члена предложения в целом и даже объектную синтагму. (Например, *ни цзиши цзяо гэй во-го*? «Когда ты передавал мне?». Морфема *-го* примыкает к местоимению первого лица *во* «я»[7].)

На основании приведенных выше фактов, можно прийти к выводу, что в отличие от флективного слова, являющегося системой форм, вне которой оно не существует, китайское слово может лишь иметь систему форм, само по себе существуя, однако, вне парадигмы в своей основной форме. Исторически это вполне объяснимо, так как словоизменительные

[6] Наряду с этими значениями глагол в основной форме имеет и видовой оттенок действия, происходящего в указанный момент, выражаемый также формой продолженного вида (*-чжэ*).

[7] Правда, эта форма считается диалектизмом и в литературном языке не является распространенной.

формы здесь явление сравнительно новое (X—XIV вв. н. э.). Таким образом, можно, видимо, говорить, что китайское слово, взятое изолированно как единица словарного состава языка, лишено добавочных (частных) грамматических значений и в этом смысле аморфно.

Если принять это, последуют важные выводы относительно различной природы классов слов во флективных и изолирующих языках. Во флективных языках грамматическая характеристика слова как части речи закреплена как его словообразовательной моделью, так и вхождением слова в парадигму, вне которой оно не существует. Это те рамки, в пределах которых могут развиваться лексические значения слова, не нарушая его тождества. Выход за эти рамки приводит к образованию грамматического омонима. Следовательно, слово может принадлежать только к одной части речи.

Иначе, видимо, обстоит дело в изолирующих языках. Значение слова как части речи в таком изолирующем языке, как китайский, в большинстве случаев не закреплено средствами словообразования. Даже обладая системой форм, слово существует в сознании носителей языка вне парадигмы. В основе семантики слова здесь лежит обобщенное вещественное значение (предмета, действия, качества). На это значение слова накладывается способ его представления в речи (например, действие как предмет мысли или как процесс во времени), закрепляемый за словом традицией. Общеграмматическое значение слова, если признать его наличие в китайском языке, представляет здесь лишь кристаллизацию функции слова в предложении и носит иногда чисто конвенциональный, и в силу этого колеблющийся, характер. Так, из двух близких по значению слов, построенных по одной и той же модели, традиция может закрепить за одним глагольное значение, за другим — именное (например, *юаньи* «хотеть», *юаньван* «желание, чаяние») или сохранить за одним и то, и другое значение, оставив второму лишь одно из них (например, *доучжэн* «борьба, бороться», *чжаньчжэн* «война»). Это как бы грамматические вариации основного вещественного значения слова. Вот почему, когда слово совмещает функции двух частей речи при сохранении единства вещественного значения (например, *лаодун* «трудиться, труд»), это, видимо, не нарушает его тождества, слово остается единым, не расщепляясь на грамматические омонимы. Отсюда вытекает невозможность распределить все слова китайского языка на непересекающиеся грамматические классы[8].

Агглютинативные языки по характеру грамматической природы слова и его словоизменительных категорий занимают промежуточное положение между флективными и изолирующими языками. В них, как и во флективных языках, различия в общеграмматическом значении сопровождаются различием в системе словоизменительных форм, нередко получающих даже более значительное развитие, чем во флективных языках. Вследствие этого в агглютинативных языках общность основы и близость лексических значений не обеспечивают тождества слова при условии различия общеграмматических значений слова. В этих языках, как и во флективных, имеет место конверсия, а весь словарный состав языка разбивается на непересекающиеся грамматические классы слов.

Вместе с тем, есть немало общих для агглютинативных и изолирующих языков моментов, которые связаны с характером грамматической природы слова и его словоизменительных форм. Эта общность неслучайна, особенно если учесть, что немногочисленные словоизменительные формы в

[8] Более подробно затронутые в настоящей статье аспекты грамматического строя изолирующего типа языков освещаются в подготовленной Н. Н. Коротковым к печати монографии «Основные особенности морфологического строя китайского языка как представителя так называемых изолирующих языков».

изолирующих языках имеют агглютинативную структуру, а современные агглютинативные языки в своем историческом развитии, видимо, пережили состояние, близкое к изолирующему типу языков. Следы исторического прошлого агглютинативных языков — в аспекте грамматической природы слова — можно видеть в меньшей (чем во флективных языках) степени противопоставленности частей речи.

Во-первых, во многих агглютинативных языках, таких как, например, палеоазиатские, адыгейские и др., в весьма широких масштабах имеет место материальное совпадение основ слов, принадлежащих к различным частям речи. На этом основании некоторые исследователи агглютинативных языков выдвигают тезис о недифференцированности соответствующих частей речи в этих языках в их современном состоянии. Однако такого рода факты говорят лишь о том, что на предшествующих этапах развития в этих языках, как и в современном китайском, различные общеграмматические значения слова при общности его лексического значения не приводили к нарушению тождества слова; одно и то же слово употреблялось в функциях, приуроченных в современных агглютинативных и флективных языках к различным частям речи.

Во-вторых, среди слов, принадлежащих к одной и той же части речи, слова, общеграмматическое значение которых не соответствует их категориальному вещественному значению, в агглютинативных языках имеют в общем меньший удельный вес, чем во флективных языках. Так, например, в нивхском языке весьма немногочисленна группа абстрактных существительных типа «краснота», «ходьба» и т. п., которые не обозначают предметы в собственном смысле слова.

В-третьих, в агглютинативных языках наблюдается окказиональное использование слов, принадлежащих к определенной части речи, в функции иной части речи при соответствующем словоизменительном оформлении. Так, в агглютинирующем нивхском языке отмечаются случаи, когда глагол, выступая в именной функции, оформляется падежным суффиксом или послелогом, например: *Иф ӈыут'ыкы ырботт'* «Он до темноты работал», где *ӈыут'ыкы* «до темноты» состоит из основы глагола *ӈыуд'* «смеркаться, начинать темнеть» и суффикса предельного падежа *-т'ыкы*. В том же нивхском языке глагол в форме основы иногда употребляется в функции прямого дополнения и обстоятельства.

В-четвертых, в агглютинативных языках большой удельный вес имеют такие словоизменительные аффиксы и служебные слова, которые используются для образования форм слов, принадлежащих к различным частям речи. В их число входят не только те, которые используются для выражения грамматических значений, характеризующих все предложение в целом (значение неопределенности, значение отрицания, различные модальные значения и т. п.), но и такие, которые выражают грамматические значения самого слова. Так, в нивхском языке суффикс изъявительного наклонения *-д'* образует также форму некоторых указательных и определительных местоимений; при помощи одного и того же суффикса *-ку* образуется мн. число формы изъявительного наклонения глагола на *-д'* и мн. число существительных, а также указательных и определительных местоимений; некоторые видовые глагольные суффиксы окказионально могут оформлять существительные (например, *Имӈ сык рувγытку* «Они все братья», где существительное *рув ~ тув* «брат, сестра» оформлено суффиксом вида законченного действия *-γыт* и суффиксом мн. числа).

В-пятых, в агглютинативных языках, как и в изолирующих, некоторые словообразовательные модели являются общими для двух частей речи. Так, в нивхском языке по модели основосложения «прямое дополнение + глагол-сказуемое» образуются не только сложные глаголы, но и сложные

существительные, например: *ршылγд'* «открывать дверь» (из *ршы* «дверь» + + *йылγд'* «открывать что-либо»), *ӈыругγд'* «производить впечатление» (из *ӈыу* «нутро, внутренности» + *ругγд'* «проникать во что-либо»), ср. *азмыт'* «мужчина» (из *аз* ~ *ар* «самец» + *муд'* «становиться чем-либо»).

Наконец, в этой связи можно указать также на свободу образования в агглютинативных языках одной части речи от другой. Так, например, в эскимосском языке глаголы состояния могут быть образованы по существу от любого имени при помощи особого глаголообразующего суффикса *-гу/-н'у*, например: *юк* «человек», *югук* «это есть человек»; *игах'та* «учитель», *игах'тын'ук* «это есть учитель»; *хӳан'а* «я», *хӳан'ан'ун'а* «это есть я» и т. п. [9].

Однако наибольшую близость к изолирующим и в то же время существенные отличия от флективно-синтетических языков агглютинирующие обнаруживают в характере своих грамматических значений и в их структуре — притом в той именно мере, в какой эти грамматические значения находят свое выражение в агглютинативной структуре словоформы. Рассмотрим характер грамматических значений в этих языках.

1. В агглютинирующих языках, как и в изолирующих, есть немало таких грамматических значений, которые, получая выражение при помощи специальных аффиксов, не являются категориальными, т. е. не входят в состав какой-либо грамматической категории. Так, например, в нивхском языке специальными суффиксами и частицей выражается связь именных однородных членов предложения, а также существует особая, звательная форма имен существительных. Очевидно, что сам характер выражаемых в этих случаях грамматических значений не предполагает наличия каких-либо противопоставляемых им значений, и было бы неверно считать, что значению, выражаемому звательной формой, например, противопоставляется значение «незвательности», выражаемое нулевыми показателями, или что звательное значение является не грамматическим, а лексическим. Такого же рода некатегориальные словоизменительные формы есть и в системе глагольных форм нивхского языка, например, форма на *-ла*, имеющая выделительное значение, некоторые модальные (в широком смысле этого слова) формы глагола (форма со значением желательности, намерения совершить действие, образуемая при помощи суффикса *-ины*; форма со значением проблематичности, образуемая при помощи суффикса *-бын'эво*), которые не входят в категорию наклонения, и т. п.

2. В тех случаях, когда те или иные словоизменительные формы являются категориальными, структура, образуемая системой форм какой-либо грамматической категории, нередко носит иной характер, чем во флективно-синтетических языках. Если в отношении флективно-синтетических языков [10] в общем можно считать справедливым тезис о том, что исходная форма включается в систему форм грамматической категории как нулевая форма, то в агглютинативных языках в зависимости от того, включается или не включается исходная, в том числе основная форма в систему ее форм, можно выделить два типа грамматических категорий. При этом, как уже отмечалось выше, о наличии нулевой формы в системе форм той или иной грамматической категории мы считали возможным говорить лишь в том случае, если такая нулевая форма выражает одно из

[9] См.: Г. А. Меновщиков, Эскимосский язык, Л., 1960, стр. 225. Отметим, что наряду с регулярным отыменным глаголообразованием в эскимосском языке имеют место также случаи общности основ глаголов и существительных (конверсия).

[10] Ср. флективно-аналитический английский язык. Как известно, вопрос о том, существует ли в этом языке, например, наряду с формой, выражающей принадлежность («родительным падежом»), так называемая нулевая форма («общий падеж») и, следовательно, существует ли сама категория падежа, является дискуссионным.

тех частных значений этой грамматической категории, которые не выражаются ни одним из ее специальных показателей. Так, например, в нивхском языке существует довольно развитая система выражения различных видовых оттенков действия и выделяются виды законченного, продолженного, многократного действия и вид обычности действия, каждый из которых имеет свои специальные показатели. Форму глагола, не включающую ни один из этих видовых показателей, можно было бы рассматривать как особую видовую форму. Однако глагол в этой форме обозначает лишь действие как таковое, не указывая на какие-либо особенности его протекания, которые бы не выражались специализированными видовыми формами, и, следовательно, эта форма не входит в систему видовых форм глагола.

В отличие от этого, форма глагола, не включающая каких-либо специальных залоговых показателей, может рассматриваться как нулевая форма в системе залоговых форм, так как она выражает особое залоговое значение — значение действительного залога, которое не выражается ни одной из залоговых форм со специальным показателем. Точно так же, например, как особую падежную форму — форму абсолютного падежа — следует рассматривать ту форму имени, которая совпадает с его основой и не включает специального падежного суффикса, поскольку, хотя другие падежи со специальными падежными суффиксами и способны выражать падежные значения, выражаемые этой формой [11], однако, это имеет место лишь в особых случаях, и эти падежи и абсолютный падеж не могут считаться полностью взаимозаменяемыми.

3. В агглютинативных языках наличие исходной, в том числе основной формы слова, являющейся нейтральной в отношении части категориальных и некатегориальных грамматических значений или включающейся как нулевая форма, т. е. как немаркированный член оппозиции, в систему форм остальных грамматических категорий, создает возможность факультативного употребления форм со специальными показателями. Таким образом, как и в изолирующих, в агглютинативных языках употребление форм со специальными показателями в тех случаях, когда это возможно по смыслу, не является обязательным — нередко вместо них употребляются нулевые формы или же основные формы, нейтральные по отношению к соответствующему грамматическому значению. Так, в нивхском языке глагол нередко употребляется без специальных видовых показателей, а имя дается в форме абсолютного падежа в тех случаях, когда по смыслу могла бы быть употреблена соответственно специализированная видовая форма глагола и какой-либо из косвенных падежей. Например: *Мэр ытыкху сык муγытт'ра. Чыҥ ыкынан вара муд'наныд'ра.* «Наши родители все умерли. Ваш старший брат тоже умер, наверное» (глагол *муд'* «умирать» дается в форме вида законченного действия только в первом предложении [12]).

Такая факультативность употребления форм со специальными показателями в агглютинативных языках свойственна не всем грамматическим значениям и категориям. Например, в том же нивхском языке такой

---

[11] См.: В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3, стр. 77—79. В этой статье ставится также вопрос о специфике грамматических категорий в агглютинативных языках.

[12] Такого рода факультативность употребления форм со специальными показателями отмечается также и в других агглютинативных языках. См., например: Н. К. Дмитриев, Категория числа, в кн. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II, М., 1956; Э. В. Севортян, Категория падежа, там же; явления факультативности в хакасском отмечал В. Г. Карпов (сб. «Вопросы грамматики тюркских языков», стр. 151—152).

факультативности употребления в пределах грамматической категории залога не наблюдается.

4. Агглютинативная структура словоформы, характеризуемая достаточно отчетливой выделимостью образующих ее морфологических единиц и однозначностью аффиксальных морфем, создает возможность совмещения в пределах одной словоформы двух показателей различных частных значений одной грамматической категории или различных однородных по своей природе некатегориальных грамматических значений (если только эти грамматические значения не исключают друг друга по своему объективному содержанию). Так, в нивхском языке в пределах одной глагольной словоформы нередко совмещаются показатели двух различных видовых значений, например: *Н'рымк выркγытивид'* «Моя рука начинает переставать нарывать», где в глаголе *выркγытивид'* «начинает переставать нарывать» рядом располагаются суффикс вида законченного действия *-γыт* и суффикс вида продолженного действия *-иви/-иву*; *Қангу чо н'иγытн'иγытт'* «Собаки каждый раз поедают всю рыбу», где глагольная словоформа *н'иγытн'иγытт'* «каждый раз поедают всю (рыбу)» образована путем удвоения глагольной основы, оформленной суффиксом вида законченного действия *-γыт*, причем прием удвоения выражает здесь видовое значение многократности действия. Таким образом, принцип взаимоисключаемости частных значений одной грамматической категории, выдвигаемый на материалах флективных языков, не применим к грамматическим категориям не только изолирующих, но и агглютинативных языков.

5. Наконец, как и в изолирующих, в агглютинативных языках сравнительно с флективными языками специфический характер имеет также и сам способ выражения грамматических значений слова, сам способ образования словоизменительной формы. В агглютинативных языках аффиксы, выражающие грамматическое значение слова, могут непосредственно не входить в состав его словоформы. Это, например, имеет место, когда падежный суффикс оформляет лишь последний член однородного словосочетания, т. е. выносится как бы за скобку, и в некоторых других случаях. Так, в предложении *Н'и п'ымыкхэ п'ытыкхэдох виныд'* «Я хочу пойти к своей матери и отцу» суффикс дательно-направительного падежа *-дох* получил лишь последний член однородного словосочетания.

Сформулируем некоторые выводы относительно характера словоизменительных форм и категорий, а также классов слов флективно-синтетических, изолирующих и агглютинативных языков.

1. Как показано выше, они имеют свою специфику в каждом из этих типов языков, и многие понятия общего языкознания, выработанные на базе флективных языков, не применимы к языкам изолирующим, а частично и к агглютинативным.

2. Признак обязательности (тотальности) или необязательности (факультативности) выражения не является конституирующим признаком категориального или некатегориального грамматического значения. Существенное отличие грамматических значений от лексических состоит в том, что «эти значения играют неодинаковую роль по отношению к нашей мысли в процессе речи. На лексических значениях сосредоточена наша мысль в процессе речи. Они образуют основной материал нашей мысли и только в этом смысле и являются „вещественными“ или „конкретными“, т. е. они „вещественны“ или „конкретны“ не в буквальном, а в очень специфическом, фигуральном смысле. На грамматических же значениях наша мысль никогда не бывает сосредоточена в процессе речи. Они не называют и не фиксируют содержание нашей мысли, как это делают

лексические значения, а лишь сопутствуют лексическим значениям и оформляют их»[13].

3. Во всех языках мира лексические значения слов подводятся под такие общечеловеческие категории, как категории предмета, действия, количества и т. п. Эти категориальные вещественные значения, по-видимому, являются той базой, которая первоначально определяет функциональную нагрузку слов, а следовательно, и той основой, на которой первоначально развиваются его словоизменительные формы. В то же время в языках изолирующего типа имеются также и общеграмматические значения слов, которые не могут рассматриваться как абстракции от вещественных значений слов той же категориальной семантики. В китайском, например, как и во флективных языках, имеются такие общеграмматические значения, как значения предметности и действия, которые не совпадают с соответствующими категориальными значениями предмета и действия. Можно полагать, что возникновение общеграмматических значений обусловлено потребностями развивающегося мышления, а именно тем, что для выражения структурных компонентов мысли на определенных этапах развития человеческого мышления начинают употребляться не только слова, обладающие тем категориальным вещественным значением, которое по своей природе наиболее соответствует характеру того или иного структурного компонента мысли, но и слова иного категориального вещественного значения. Так, по меньшей мере основным условием формирования общеграмматического значения предметности явилось то, что в качестве слов, обозначающих понятие о предмете мысли, т. е. субъект суждения, на определенных этапах развития человеческого мышления стали выступать слова, обозначающие не только понятия о реальных предметах как носителях признаков, но и понятия о реальных действиях, качествах и т. п. Выступая в этой функции и занимая соответствующее положение в предложении, слова, обозначающие такого рода понятия, получили и грамматические показатели того класса слов, для которого свойственна эта функция, т. е. слов, обозначающих реальные предметы, что и явилось основой закрепления общеграмматического значения предметности[14].

Из сказанного не следует, что любое слово с иным, не предметным категориальным вещественным значением как только оно начинало выступать в предложении-суждении для обозначения понятия о предмете мысли, тем самым автоматически приобретало общеграмматическое значение предметности и соответствующие словоизменительные формы классов слов, обозначающих реальные предметы. Речь здесь идет лишь о пути формирования, о первопричине возникновения общеграмматического значения предметности.

Аналогичным образом можно представить себе путь возникновения общеграмматического значения действия. Очевидно, что слова с категориальным вещественным значением действия наиболее приспособлены для выражения характеристики предмета в его бытии, т. е. для обозначения предиката суждения. Использование в этой функции слов с иным категориальным вещественным значением должно было послужить основной причиной возникновения такого рода слов, которые, не обозначая реальных действий, тем не менее характеризуются грамматическими свойствами слов, обозначающих реальные действия.

Наличие общеграмматических значений, видимо, является тем общим признаком, который характеризует слово с его грамматической стороны

[13] См.: М. И. Стеблин-Каменский, Грамматика норвежского языка, М.— Л., 1957, стр. 11—12.

[14] Об этом см. также: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.— Л., 1962, стр. 36—38; его же, Грамматика и логика, М.— Л., 1963, стр. 30—31.

в каждом из трех рассматриваемых типов языков. Однако, поскольку в изолирующих языках, в отличие от флективных и агглютинативных, эти общеграмматические значения не закрепляются словоизменительными формами ввиду слабого развития последних, возникают существенные различия в статусе частей речи, с одной стороны, в изолирующих, а с другой — в агглютинативных и флективных языках. В отношении китайского языка можно лишь сказать, что закрепление, например, за словами с вещественным значением действия функций, свойственных словам с вещественным значением предмета, как будто свидетельствует о тенденции к выделению грамматических классов слов, однородных с частями речи флективных языков.

4. Анализ словоизменительной морфологии в языках изолирующего агглютинативного и флективного типа показывает, что эти типы языков представляют собой различные ступени в развитии системы словоизменения, носящего облигаторный характер. Здесь проявляется тенденция развития языка, которая состоит в усилении относительной самостоятельности морфологической системы языка, в том, что влияние внесистемных и внеязыковых факторов на функционирование элементов этой системы становится все более опосредствованным. Если в китайском языке это функционирование в значительной мере подчиняется законам нормы, действующим в речевой цепи, то в языках флективных оно, за редкими исключениями, подчинено только правилам самой системы.

Как свидетельствуют приведенные материалы, «органическая целостность» исследуемой стороны языка, как и любой «органической системы», достигается не сразу, а есть результат его длительного развития, приводящего к созданию облигаторной системы противопоставлений. Сопоставление грамматического строя типологически отдаленных друг от друга языков свидетельствует, что именно по степени завершенности грамматической, а точнее говоря, морфологической системы, различаются такие языковые типы как изолирующий, агглютинативный и флективный[15]. Вот почему попытки применить понятия, выработанные на базе только флективно-синтетических языков, к языкам иных морфологических типов не могут не привести к насилию над языковыми фактами.

Признаки различных ступеней становления словоизменительной системы языка должны получить свое отражение в основных понятиях общего языкознания. К сожалению, сейчас наблюдается обратная тенденция: признаки флективных языков абсолютизируются, им приписывается универсальный характер. Дело в том, что стремясь к «строгим» определениям, языковедение все более и более ограничивается установлением наиболее элементарных типов связи — абстрактного тождества и различия. Между тем, как известно, понятие, отражая предмет в его наиболее развитом виде, выражая образец, к которому стремятся в своем поступательном движении менее развитые предметы охватываемого класса, чтобы быть истинным, должно включать все богатство особенного и отдельного, присущего различным этапам развития предмета. Только тогда оно способно выражать его сущность. Все это говорит о том, что помимо

[15] Из сказанного не следует, что: 1) указанные морфологические типы языков представляют собой последовательные ступени развития каждого языка; 2) по степени развития морфологической системы языка можно судить о развитости языка в целом. Дело в том, что функциональная нагрузка, выполняемая в одном языке морфологической системой, в другом языке может лечь на другие стороны языка. Таким образом, в пределах каждого морфологического типа языка имеется возможность неограниченного развития языка соответственно развивающимся потребностям общения. Вместе с тем, сама идея наличия каких-то общих закономерностей и общих этапов в развитии всех языков представляется плодотворной и заслуживающей дальнейшей разработки.

абстрактных, формально-логических понятий, играющих известную положительную роль, в нашей науке должны быть выработаны конкретные диалектические понятия, в которых на первый план выступает воспроизведение необходимого развития предмета.

Нельзя не видеть пагубного влияния абсолютизации формально-логического подхода, в частности, и в утверждении о непременно взаимоисключающем характере форм одной грамматической категории. В самом деле, формальная логика рассматривает соподчиненные понятия как исключающие друг друга по своим видовым признакам. Диалектический же анализ учитывает исторически складывающуюся сложную и противоречивую систему, при которой возможны и иные отношения.

Глубокая и плодотворная идея о расчленении целостности языковых явлений на инвариантные и вариантные черты как единственном пути осознания и того и другого, должна быть освобождена от присущей ей сейчас односторонности. Язык, как и любое явление действительности, есть единство устойчивости и изменчивости. Поэтому понятие инвариантности применимо к нему не только в синхроническом, но и в диахроническом плане. Раскрытие понятия языкового строя вообще как инварианта, представленного его типологически различными вариантами, и есть задача типологических исследований.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

Н. Н. СЕМЕНЮК

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАНТНОСТИ

При изучении процессов функционирования языков исследователю приходится сталкиваться с различными формами вариантности языковых средств, их своеобразной «избыточностью», порождаемой сложной историей каждой языковой системы и поддерживаемой многообразием стоящих перед языком функциональных задач. Однако, хотя сам факт существования вариантности широко известен, виды и формы вариантности, характеризующие разные стороны языка, различия в типах вариантности в зависимости от структурных особенностей и условий функционирования данной языковой системы, а также пути преобразования вариантов по мере исторического развития языка до сих пор изучались очень мало[1].

Пытаясь привлечь внимание к проблеме вариантности в связи с изучением русского литературного языка и его норм, авторы коллективной статьи «К вопросу о правильности речи», напечатанной в дискуссионном порядке в 1960 г.[2], предложили создать особую лингвистическую дисциплину — «ортологию», основной категорией которой должна стать именно категория вариантности. Эта статья лишь через год получила известный отклик, подвергнувшись критике в рецензии Ю. М. Скребнева[3], который полагает, что в предложенной трактовке ортология, по существу, не имеет своего особого объекта исследования, объединяя материал нормативной грамматики с некоторыми понятиями и функциями стилистики.

Также ставя под сомнение целесообразность выделения ортологии в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины, мы, однако — в противоположность Ю. М. Скребневу — не сомневаемся в необходимости изучения нормы и вариантности как определенных частных лингвистических понятий, а указание на взаимосвязь этих понятий в упомянутой выше коллективной статье представляется нам как в теоретическом, так и в практическом плане весьма существенным.

Для каждого современного литературного языка характерны не только определенная степень константности в использовании различных языковых средств, но и некоторый набор вариантов, выявляющийся наиболее полно в процессе функционирования языка. Поэтому норма, опираясь на устойчивые, константные элементы функционирующей языковой системы, не в меньшей степени характеризуется и допустимыми в ее пределах колебаниями и вариантами. Вместе с тем между нормой и вариант-

---

[1] Ряд вопросов, связанных с изучением вариантности, поднят на материале современного немецкого литературного языка в статье И. Эрбена (см.: J. Erben, Gesetz und Freiheit in der deutschen Hochsprache der Gegenwart, «Der Deutschunterricht», 5. Stuttgart, 1960).

[2] О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчиков, В. В. Веселитский, К вопросу о правильности речи, ВЯ, 1960, 2.

[3] Ю. М. Скребнев, К вопросу об «ортологии», ВЯ, 1961, 1.

ностью существует двусторонняя зависимость: если характер вариантности — в сочетании с целым рядом других признаков — определяет специфику норм литературного языка, то, с другой стороны, именно норма устанавливает число и типы допустимых вариантов, а также регулирует их употребление[4]. Таким образом, характеристика вариантности должна, с нашей точки зрения, стать необходимым звеном в системе признаков, из которых складывается еще весьма малоизученное теоретически понятие литературной нормы[5].

Понятие варианта используется в настоящий момент в лингвистике очень широко. Чаще всего оно служит для характеристики формального или смыслового многообразия элементов определенного языка (варианты лингвистических единиц, варианты моделей, варианты значения слов и т. д.).

В данной статье подлежат рассмотрению некоторые параллельные возможности формального выражения одних и тех же лингвистических значений (значимостей), связанные с одной и той же лексемой, словоформой или одной и той же синтаксической конструкцией. Таковы, например, в немецком литературном языке орфоэпические варианты типа: *tsur/tsu:r*— «к» (предлог), *balkō/balko:n* «балкон», *weni.ç/weni.k* «немного», или орфографические варианты типа: *Kusine/Cousine* «сестра, кузина», *Chauffeur/Schoffö r* «шофер» и т. д.

К категории вариантов следует отнести и параллелизм в морфологической структуре сложных слов (например, *Abfahrtszeit/Abfahrtzeit* «время отправления поезда», *Werksleitung/Werkleitung* «руководство предприятия, завода»), а также различные вариантные словоформы типа *ward/wurde* «становился», *gesalzen/gesalzt* «посоленный», *melkt/milkt* «доит» (морфологические варианты)[6].

Варьирование может наблюдаться и в составе словосочетаний или целых предложений (синтаксические варианты), ср. *Millionen glückliche/glücklicher Menschen*; *Ihr/Ihre Fraülein Tochter*; *Mich friert/Es friert mich*[7].

Итак, рассматриваемый тип вариантности предполагает существование в определенном языке одной и той же лексемы, словоформы или одной и той же синтаксической конструкции по крайней мере в двух различных формальных модификациях, не связанных с изменением основного лингвистического значения данной конкретной единицы[8].

---

[4] Ср. определение понятия нормы в работе Э. Косериу «О синхронии и диахронии» (сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 174), основанное на установлении регулирующей функции нормы по отношению к разным типам вариантности в языке: «... нормой определенного языка является его „внешнее" (социальное и территориальное) равновесие — между различными реализациями, допускаемыми системой..., и в то же время его „внутреннее" равновесие — между комбинаторными и дистрибутивными вариантами („нормальные инварианты") и между различными системными изофункциональными средствами». См. также: Н. Д. Арутюнова, О понятии системы словообразования, ФН, 1960, 2, стр. 27.

[5] См. об этом: В. В. Виноградов, [рец. на кн.:] А. И. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1962, ВЯ, 1952, 6, стр. 136. Ср. также: М. М. Гухман, От языка немецкой народности к немецкому национальному языку, ч. 1, М., 1953, стр. 12 и сл.

[6] Ср. на материале русского языка: Е. С. Истрина, Нормы русского литературного языка и культура речи, М.— Л., 1948.

[7] Подробнее см.: Е. И. Шендельс, Синтаксические варианты, ФН, 1962, 1, стр. 9.

[8] Напомним, что Л. Ельмслев, в соответствии с принятой им терминологией, определяет варианты как «коррелята с взаимной субституцией» (см.: Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 331).

Однако хотя тождественность лингвистического значения (значимости) является весьма очевидным свойством соотнесенных между собой вариантных единиц, форм и конструкций, рассматриваемая здесь группа вариантов в этом отношении не вполне однородна. В ее составе различаются, с одной стороны, полные варианты, у которых, при известных формальных различиях, и значение и функция совпадают, а с другой — варианты неполные, различающиеся не только своей материальной манифестацией, но также вторичными (преимущественно экспрессивно-стилистическими) оттенками значений, или, наконец, функционально, т. е. сферой использования.

К первой из названных выше групп принадлежат в немецком языке такие полностью совпадающие по значению и функции варианты, как: *niemand/niemandem* «никому» (дат. падеж ед. числа); *Bösewichte/Bösewichter* «злодеи» (им. падеж мн. числа); *Man sagte, er ist/(sei/wäre) krank* «говорят, что он болен» (косвенная речь) и т. д. Примерами, когда варианты различаются сферой употребления или экспрессивно-стилистической нагрузкой, могут послужить в немецком языке некоторые параллельные формы мн. числа имен существительных типа: *Reste* «остатки»/*Rester* (торгов.), *Orte* «места»/*Örter* (математ.), *Länder* «страны, земли»/*Lande* (поэт.) и т. д.

Изучая варианты определенного языка, необходимо прежде всего поставить вопрос о том, какие именно средства могут служить для их образования. Рассмотрим в качестве примера возможности варьирования, наблюдающиеся в немецком языке на морфологическом уровне.

Отметим прежде всего, что для образования вариантов могут использоваться некоторые параллельные структурные средства, оформляющие в данном языке одну и ту же лексему или словоформу.

Так, например, для оформления сложных слов в немецком языке служат два параллельных структурных типа, известных под названием «полносложных» и «неполносложных» образований. Как правило, эти типы распределяются между разными словами: *Tischlampe* «настольная лампа», но *Tageszeitung* «ежедневная газета»; наряду с этим возможно, однако, и вариантное употребление обеих структур в одном и том же слове, например: *Gärtner(s)frau* «жена садовника», *Selter(s)wasser* «сельтерская (вода)» и т. д. Таким образом, вариантность моделей образования сложных слов в немецком языке служит предпосылкой для варьирования морфологической структуры одной и той же словарной единицы. Близким к рассмотренному выше случаю является и параллельное использование для образования вариантных словоформ одного и того же слова разных типов флексий, ср. например: *Denkmäler/Denkmale* «памятники» (мн. число); *Worte/Wörter* «слова» (мн. число); *backte/buck* «пёк» (претерит 1—3-го лица ед. числа) и т. д.

Варианты образуются также и с помощью избыточных второстепенных признаков словоформ, не несущих здесь основной функциональной нагрузки, ср. в немецком: *du bringst/bringest* «ты несешь», или: *Kanale/Kanäle* «каналы» и т. д.

Следует, однако, заметить, что число подобных структурно и функционально избыточных и потому относительно свободных средств в каждом языке более или менее ограничено. Поэтому вариантность существенно пополняется и за счет своеобразной «нейтрализации», т. е. снятия в определенных формах или структурах противопоставления двух элементов, которое в других случаях сохраняет в языке свою различительную силу. Так, характерная для немецкого языка оппозиция нулевой флексии и флексии -(*e*)*m* (типа: *ein*: *einem*) снимается в дат. падеже таких местоимений, как *jemand/jemandem* «кому-то», *niemand/niemandem* «никому». Та-

кова же природа вариантных форм глагола (*ist/sei/wäre*) в придаточных предложениях, содержащих косвенную речь, или вариантного употребления изофункциональных в данном случае форм дат. и вин. падежей личного местоимения в некоторых безличных конструкциях, например: *Es ekelt mir/mich* «Мне противно» и т. п.

При характеристике вариантности обращают на себя внимание значительные различия, наблюдающиеся в использовании и создающих ее средств. Лишь сравнительно редко варианты образуют в современных языках регулярные ряды, охватывающие значительные лексические группы и целые грамматические разряды. В большинстве же случаев вариантность допускается лишь в строго определенных условиях. Опираясь на эти различные свойства вариантности, следует поставить вопрос о диапазоне варьирования, который устанавливается в зависимости от характера и условий использования варьируемых признаков.

Хотя язык располагает обычно некоторым количеством «свободных» вариантов, употребление определенного варианта чаще всего имеет известные ограничения. Так, например, диапазон использования вариантных графем может быть установлен по отношению к некоторой совокупности слов данного языка; при определении такого «лексемного» диапазона варьирования выделяются два возможных случая.

Во-первых, появление того или иного варианта может быть связано с разными группами лексем, как это, например, наблюдается в немецком языке для вариантных графем *v/f* (*viel, vier, das Vieh, das Veilchen*, но: *Fuß, fallen, fort* и т. д.). В этом и подобных случаях можно говорить о лексемном распределении вариантных графем. Во-вторых, возможен и иной случай: в пределах некоей более или менее ограниченной группы слов наблюдается свободное чередование соотнесенных элементов, например: *Symphonie/Sinfonie, Kusine/Cousine* и др.

Та же связь вариантности с некоторым набором лексем может наблюдаться и при варьировании словоформ [9]. Например, двойные формы претерита конъюнктива, использующиеся в современном немецком языке (типа: *hülfe/hälfe, begönne/begänne* и т. д.), возможны лишь для некоторых глагольных лексем в пределах определенных подклассов сильных глаголов. Таким образом, для явлений морфологического уровня лексемное ограничение варьирования комбинируется с известными ограничениями грамматического порядка. Как проявление крайнего случая подобного ограничения вариантности может рассматриваться абсолютная лексемная изоляция одного из вариантов. Таково, например, в современном немецком литературном языке *bestallt* (в значении «gut situiert»), являющееся изолированной формой причастия II с «обратным умлаутом», характеризовавшим когда-то глагол *stellen* «ставить».

Измерение морфологической вариантности может также производиться и по отношению к парадигме определенного слова. При этом варьирование может охватывать все словоформы, входящие в данную парадигму или субпарадигму (например, две вариантных субпарадигмы мн. числа для слова *Ort* «место» при единой субпарадигме ед. числа у того же слова). Аналогичное явление наблюдается и в глагольных парадигмах, например, для *dreschen* «молотить» возможны две вариантные субпарадигмы, включающие все личные формы претерита (*drosch/drasch*) при единых, не варьируемых парадигмах для настоящего времени и причастия II *gedroschen*). Вместе с тем в составе определенной парадигмы (или субпарадигмы) может варьироваться лишь один ее компонент, при отсутствии вариант-

[9] Ср. аналогичное замечание Е. И. Шендельс о «лексической связанности» синтаксических вариантов (указ. соч., стр. 9).

ности у остальных входящих в нее форм (например, им. падеж ед. числа *der Friede/der Frieden* «мир»; *der Gedanke/der Gedanken* «мысль»; дат. падеж ед. числа *dem Tisch/dem Tische* «столу» и т. д.). Вариантность падежных форм может, однако, в ряде случаев распространяться и на всю парадигму (или субпарадигму), как это наблюдается для слова *der Bauer* «крестьянин»; род. падеж ед. числа — *des Bauers/des Bauern*; дат. падеж ед. числа — *dem Bauer/dem Bauern*; вин. падеж. ед. числа — *den Bauer/den Bauern*.

Вместе с тем варьирование может быть и позиционно (или дистрибутивно) связанным. В немецком письменном языке первой половины XVIII в. такими позиционно связанными вариантами были в графической системе обозначения аффрикаты: *pf/pff*. Первое из них последовательно использовалось в начале слова, тогда как *pff* (чередуясь с *pf*) встречалось лишь в середине и конце слова (*Kopff/Kopf*).

Понятие дистрибутивной зависимости при распределении вариантов может использоваться и для синтаксического уровня. В качестве примера можно указать на различное оформление прилагательного в им. и вин. падежах мн. числа после различных слов-сопроводителей: нем. *viele gute Menschen*, но *alle guten Menschen* (распределение вариантов флексии в зависимости от сопровождающего слова) и *manche gute/guten Menschen* (свободное варьирование в определенной позиции).

Итак, в зависимости от характера и диапазона варьирования рассматриваемые варианты можно условно разделить на: 1) свободные или (чаще) ограниченно-свободные варианты (куда относятся случаи свободного варьирования для определенных лексем или определенных позиций); 2) лексемно-связанные варианты; 3) позиционно-связанные варианты (при лексемном или позиционном распределении вариантов)[10].

Анализируя п р и ч и н ы, порождающие вариантность, обычно прежде всего отмечают возможность соединения в функционирующей языковой системе разных по времени происхождения элементов, объединение в ней как более старых, так и более новых форм и явлений, образующих соотносительные вариантные пары или ряды[11].

Рассмотрим на примере морфологических явлений некоторые из диахронических процессов, ведущих к возникновению вариантности.

Изменение в способе формального выражения определенного категориального грамматического значения не всегда и во всяком случае далеко не сразу ведет к исчезновению старого способа выражения. Сосуществование старой и новой формы порождает вариантность, в отдельных случаях на длительный срок закрепляемую языковой нормой. Например, в немецком языке вариантное использование нулевой флексии и флексии *-e* в дат. п. ед. ч. муж. и ср. родов: *dem Tage/Tag*.

Причиной сосуществования параллельных грамматических форм может быть и переход определенного слова из одного грамматического подкласса в другой, в результате чего оно может некоторое время иметь грамматические показатели обоих подклассов, например: *hieb/haute* «рубил» (вариантные формы претерита от *hauen* «рубить»), *gespalten/gespaltet* «расколотый» (параллельные формы причастия II от *spalten* «колоть») и т. д.

Вместе с тем снятие в процессе изменения языка определенных грамматических оппозиций не всегда сопровождается полным исчезновением форм, их выражавших. В отдельных случаях эти формы могут сохраняться в языке на правах вариантов, потерявших свои прежние различия. В ка-

[10] Ср. у Л. Ельмслева деление на «вариации» (свободные варианты) и «вариаты» (связанные варианты) (указ. соч., стр. 338).

[11] См.: Г. Г л и с о н, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 381; A. M a r t i n e t, Structural variation in language, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists», Cambridge (Mass.), 1962.

честве примера можно привести для немецкого языка вариантные глагольные формы, базирующиеся на утратившем свою силу противопоставлении основ ед. и мн. числа в претерите сильных глаголов типа *ward/wurde* (претерит 1—3 лица ед. числа от *werden* «становиться»), *hob/hub* (претерит 1—3 лица ед. числа от *heben* «поднимать») и т. д.

Таким образом, если в одних случаях в двух материально нетождественных формах одного слова отражаются, большей частью различные по времени возникновения, параллельные формальные возможности выражения одного и того же категориального значения (вариантность форм, порожденная параллелизмом системных средств), то в других случаях вариантные формы создаются в результате «высвобождения» при исторических сдвигах в системе данного языка некоторых формальных грамматических средств (вариантность форм, порожденная снятием в процессе изменения языка некоторых грамматических оппозиций).

Однако лингвистические изменения служат хотя и важным, но отнюдь не единственным источником вариантности. В литературном языке, являющемся по своей природе системой в большей или меньшей степени гетерогенной, вариантность создается не только благодаря сочетанию гетерохронных, но и благодаря объединению гетерогенных элементов.

Участие в формировании литературного языка нескольких территориальных диалектов, а также сосуществование ряда локальных его разновидностей, характерное для ранних периодов развития литературного языка (и иногда длительное время сохраняющихся, как это было в немецком), создает особенно благоприятные условия для возникновения вариантности на этой основе. Некоторые из исходно разносистемных и в большинстве случаев идентичных по своему значению форм впоследствии объединяются в литературном языке, образуя такие «внутрисистемные» варианты, как *derer/deren* (параллельные формы род. падежа мн. числа указательного местоимения) или *sendete/sandte*, *gesendet/gesandt* (параллельные формы претерита и причастия II от глагола «посылать»)[12]. Таким образом, генетически вариантные реализации представляют собой или гетерогенные элементы, объединенные в результате определенных исторических процессов в системе литературного языка, или элементы «гетерохронные», относящиеся к различным периодам бытия данной системы и синхронизированные в ней в определенный исторический момент на правах вариантов.

В нормализованном литературном языке перечисленные выше источники, порождающие вариантность, продолжают действовать, хотя их влияние несколько ограничивается. Устойчивость и известный консерватизм системы литературного языка замедляют разнообразные процессы лингвистических изменений, а возможности для объединения гетерогенных элементов и проникновения в литературный язык форм и явлений других функциональных и территориальных подсистем данного языка в условиях существования литературной нормы также значительно суживаются. Таким образом, ведущая тенденция, связанная с регулирующим действием нормы, заключается, по-видимому, в последовательном уменьшении общего числа вариантов, а также в исключении и преобразовании некоторых типов варьирования.

Общие исторические сдвиги в группе орфографических вариантов происходят в связи с некоторыми изменениями в составе средств, образующих сами эти варианты. При этом вариантные орфографические обозначения в отдельных случаях могут совсем вытесняться из литературного

[12] Подробнее см.: Н. Н. Семенюк, О построении парадигматических рядов немецкого литературного языка, сб. «Вопросы морфологического строения германских языков», М., 1963.

языка (*pff*, *ey*, *ew* и т. д.). Вместе с тем, некоторые из вариантов, дифференцируясь в своей первичной лингвистической функции, остаются в языке на новых правах (*ff/f>ff—f*) и тем самым выходят из разряда вариантов. Процессом, часто предшествующим полному вытеснению определенного варианта, является сужение группы лексем, допускающих его использование. Крайним звеном в этом процессе сужения диапазона варьирования является лексемная изоляция определенного орфографического варианта (ср. в современном немецком языке *Stadt*, а также в именах собственных: *Schmidt*, *Goethe*). Вместе с тем намечаются различные формы частичной дифференциации вариантов на основе их лексемного распределения (*viel — für*), а также в связи с использованием соотнесенных между собой вариантов в омонимичных лексемах (*Waise/Weise*). Следует, однако, отметить, что возможность орфографического варьирования хотя и ограничивается в процессе нормализации литературного немецкого языка, но не устраняется здесь полностью. Наиболее характерные случаи вариантного написания связаны в современном немецком языке с колебаниями в обозначении прописной и строчной букв, а также со слитным или раздельным написанием некоторых конструкций (например: *in acht nehmen/in Acht nehmen*, *ins Besondere/ins besondere/insbesondere* и т. д.). Распространены также вариантные написания некоторых заимствованных слов, о чем уже приходилось упоминать[13]. Этим объясняется то обстоятельство, что устранение орфографических вариантов до сих пор является одним из основных требований, выдвигаемых сторонниками орфографической реформы в Германии[14].

Характер преобразования грамматической вариантности в процессе номализации литературного языка в основных чертах совпадает с тем, что можно наблюдать на материале орфографии. Такие морфологические варианты, представленные в письменном немецком языке еще в первой половине XVIII в., как: *sind/sein/seind* (1—3 лицо мн. числа наст. времени от глагола «быть»); *gewesen/gewest* (причастие II от того же глагола); *sah/sahe* «видел»; *begann/begunnte* «начал, началось» (1—3 лицо ед. числа претерита); *der Frau/der Frauen* «женщины» (род. падеж ед. числа) и т. д.,— уже во второй половине XVIII в. исчезают из литературного языка. Сокращение числа морфологических вариантов сопровождается постепенным сужением парадигматического и лексемного диапазона варьирования, а также изоляцией ряда грамматических вариантов (типа *auf Erden*, *wir sungen*, *bestallt* в противоположность «правильным» парадигматическим формам тех же слов). Вместе с тем в процессе преобразования грамматической вариантности один из членов вариантной пары или ряда может получать известную специализацию. Так, например, в языке XVIII в. формы мн. числа *Orte/Oerter* выступают как два равнозначных, полностью совпадающих в своем значении и употреблении варианта. В современном немецком языке, сохранившем эти вариантные формы, они различаются, однако, по сферам использования: более употребительное *Orte* выступает в общем пространственном, а также географическом значении, тогда как *Örter* — форма, встречающаяся преимущественно в математических текстах (*geometrische Örter*). Для когда-то полностью совпадавших вариантных форм мн. числа от слова *Land* «страна» — *Lande/Länder* — также устанавливается в дальнейшем определенное стилистическое различие: *Lande* воспринимается сейчас как форма устаревшая, поэтическая по отношению к нейтральному *Länder*.

Функциональная или экспрессивно-стилистическая специализация

[13] Ср.: J. E r b e n, указ. соч., стр. 17.

[14] См., например, предложения рабочего комитета по реформе орфографии в журнале «Muttersprache», Jg. 69, 2, Lüneburg, 1959.

ряда вариантных грамматических форм наблюдается не только у имени, но и у глагола: так формы *gesendet/gesandt* в целом ряде случаев взаимозаменяемы, однако в значении «транслировать по радио» специализируется лишь одна из парадигм (*es wird gesendet*), а из параллельных форм *gewendet/gewandt* в значениях «переворачивать» (страницу в книге), «лицевать» (одежду), употребляется лишь *gewendet* и т. д.

Вместе с тем в морфологической системе литературного немецкого языка сохраняются и некоторые полные варианты, не выработавшие подобных различий (таков, например, им. падеж ед. числа *Fleck/Flecken*).

Таким образом, для морфологических явлений тенденция к уменьшению вариантности, по-видимому, не является столь ярко выраженной как для орфографии, и снятие одних вариантов не исключает сохранения и использования других и возникновения в языковой системе ряда новых вариантных возможностей, закрепляемых литературной нормой.

Итак, являясь одним из наиболее общих свойств естественных языков, вариантность проявляется во всем своем объеме в процессе их функционирования. Предпосылки вариантности заложены в параллелизме некоторых структурных возможностей каждой языковой системы, а также в ее изменчивости и многообразных связях с теми языковыми подсистемами, с которыми она пересекается и взаимодействует в процессе функционирования. Вместе с тем решающим при отборе вариантных форм и, следовательно, определяющим конкретно существующие в каждом литературном языке орфографические и грамматические варианты фактором являются нормализационные процессы. Соотнесенные между собой вариантные формы несут тождественные лингвистические значения. Именно поэтому набор существующих вариантов, а также характер их использования в языке детерминируется не столько факторами структурного порядка, сколько факторами нормативными.

Наблюдения над некоторыми нормализационными процессами, протекавшими в немецком литературном языке с конца XVIII в., показывают, что общим преобразовательным процессом, характеризовавшим как о р ф о г р а ф и ч е с к у ю, так и м о р ф о л о г и ч е с к у ю вариантность, можно, по-видимому, считать тенденцию к постепенному уменьшению числа возможных вариантов, реализующуюся: а) в прямом вытеснении или структурном разграничении ряда вариантов; б) в ограничении некоторых широко распространенных ранее типов варьирования (например, переход большинства свободных вариантов в группу различным образом «связанных» вариантов). Тенденция к сужению диапазона варьирования, в свою очередь, проявляется: а) в лексемном, позиционном, лексико-грамматическом и парадигматическом распределении и ограничении вариантности; в) в лексемной изоляции ряда вариантов.

Вместе с тем при нормализации употребления параллельных г р а м м а т и ч е с к и х форм наблюдается также закрепление ряда вариантов, часто сопровождающееся, однако, появлением у отдельных вариантных форм некоторых оттенков значений и — соответственно — распределением их в пределах литературного языка по разным функциональным и стилистическим сферам. Поэтому в процессе установления грамматической нормы происходит как бы «переключение» ряда нейтральных и, следовательно, полных вариантов в варианты неполные. Именно поэтому вариантность языковых средств, являющаяся избыточной с точки зрения однозначного выражения системных значений и отношений, вместе с тем составляет тот резерв языка, который обеспечивает гибкость и разнообразие форм выражения определенного лингвистического содержания, а также базу для выявления целого ряда значения «второго», т. е. функционально-стилистического и экспрессивно-стилистического плана.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

Е. В. ПАДУЧЕВА

О ПОНЯТИИ КОНФИГУРАЦИИ

Одним из существенных факторов, определяющих смысл предложения, является его синтаксическая структура. Синтаксическая структура предложения используется при различных машинных операциях над языковыми текстами — при машинном переводе, при переводе на информационные языки и логической переработке языковой информации и т. д. Поэтому должен быть построен алгоритм, который по определенным формальным признакам предложений обнаруживает их синтаксическую структуру[1]. В настоящей статье рассматриваются модели синтаксического анализа, основанные на понятии конфигурации[2].

Синтаксическая структура предложения может быть представлена различными способами, из которых важнейшими являются дерево подчинений и разложение на непосредственные составляющие[3]. По разложению на составляющие — при наличии некоторых дополнительных данных — можно установить дерево подчинений (и обратно, по дереву подчинений — разложение на составляющие)[4], так что обычно бывает достаточно получить сведения о структуре предложения в каком-либо одном из указанных ее представлений. В дальнейшем будет использоваться преимущественно разложение на составляющие. Уточним, что разложением на составляющие (или системой составляющих) будет называться всякое множество отрезков предложения, которое обладает следующими двумя свойствами: 1) в это множество входят отрезки, совпадающие с каждым из слов предложения, и отрезок, совпадающий со всем предложением; 2) если два отрезка из этого множества имеют хотя бы одно общее слово, то один из них целиком входит в другой (иначе говоря, отрезки не могут частично пересекаться).

Разумеется, систем составляющих, которые удовлетворяют требованиям 1 и 2, у одного предложения может быть очень много. Алгоритм

---

[1] См., прежде всего: И. А. Мельчук, Об алгоритме синтаксического анализа языковых текстов, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 7, М., 1962.

[2] Понятие конфигурации было введено в работе: О. С. Кулагина, Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств, «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958. См. также: А. В. Гладкий, Конфигурационные характеристики языков, там же, 10, М., 1963. Термин «конфигурация» в существенно отличном значении был использован в работах: Т. Н. Молошная, Алгоритм перевода с английского языка на русский, «Проблемы кибернетики», 3, М., 1960; ее же, О понятии грамматической конфигурации, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962. О понятии конфигурации по О. С. Кулагиной см.: И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962.

[3] См. об этом, например: С. Я. Фитиалов, О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

[4] См. алгоритмы перехода от дерева подчинений к разложению на составляющие и обратно в работе: Е. В. Падучева, О способах представления синтаксической структуры предложения, ВЯ, 1964, 2.

анализа должен определить, какая из этих систем является «истинной» для данного предложения.

1. **Определение конфигурации.** Определение конфигурации основано на понятии отмеченной (грамматически правильной[5]) фразы. Предположим, что нам известны все последовательности слов, которые являются отмеченными фразами данного языка. Тогда для отрезков отмеченных фраз можно определить отношение синтаксической эквивалентности: отрезки α и β синтаксически эквивалентны, если 1) во всякой отмеченной фразе, содержащей отрезок α, замена α на β дает снова отмеченную фразу и 2) во всякой отмеченной фразе, содержащей β, замена β на α дает отмеченную фразу. На основе понятия синтаксической эквивалентности можно определить понятие конфигурации заданного ранга. Отрезок α является в языке L конфигурацией ранга 1, если и только если в языке L существует такое слово a, которое синтаксически эквивалентно отрезку α[6]. Отрезок α является в языке L конфигурацией ранга 2, если и только если в языке L существует такое слово a, которое удовлетворяет двум условиям: 1) во всех отмеченных фразах языка L, где встречается слово a, замена a на α дает отмеченную фразу; 2) во всех отмеченных фразах языка L, где отрезок α не имеет частичного пересечения ни с одним отрезком, являющимся конфигурацией ранга 1, замена α на a дает отмеченную фразу. Аналогичным образом определяется конфигурация ранга 3 и т. д.[7]. Конфигурацией называется всякий отрезок, который является конфигурацией какого-либо ранга. Слово a, эквивалентное отрезку α, называется результирующим словом конфигурации α. Конфигурация α называется регулярной, если в числе слов, которые являются результирующими для α, есть слово, которое само входит в α. Конфигурация называется простой, если никакая ее часть не является конфигурацией того же или более низкого ранга.

Поясним действие этих определений на примере[8]. Несколько упрощая действительную картину, можно утверждать следующее. В русском языке

---

[5] О грамматической правильности см.: Н. Хомский, Синтаксические структуры, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962.

[6] Определение конфигурации обычно дается не для слов, а для грамматических классов слов. Для перехода к конфигурациям такого рода достаточно рассматривать фразу как последовательность грамматических классов слов; все определения останутся совершенно аналогичными.

[7] Мы приводим здесь определение конфигурации не-первого ранга по А. В. Гладкому (указ. соч.). Это определение практически эквивалентно определению О. С. Кулагиной. Определение О. С. Кулагиной таково: отрезок α является конфигурацией ранга 2 с результирующим словом a, если отрезок α взаимозаменим со словом a в том подмножестве множества отмеченных фраз, в которое входят все фразы, не содержащие конфигураций ранга 1. В соответствии с этими определениями конфигурация ранга r всегда является одновременно конфигурацией любого более высокого ранга. В дальнейшем под рангом конфигурации понимается минимальный из ее рангов.

[8] Множество отмеченных фраз в естественном языке, по-видимому, следует считать бесконечным (поскольку фразы могут иметь сколь угодно большую длину). Это значит, что определение синтаксической эквивалентности, а следовательно, и конфигурации, оказывается неэффективным, т. е. не может быть непосредственно превращено в алгоритм проверки синтаксической эквивалентности отрезков (см. об этом: И. И. Ревзин, указ. соч.; об эффективных определениях см., например: А. Чёрч, Введение в математическую логику, I, М., 1960, стр. 50). Вообще доказано, что для некоторого большого класса языков единого алгоритма проверки синтаксической эквивалентности не существует; см.: А. В. Гладкий, О распознавании замещаемости в рекурсивных языках, сб. «Алгебра и логика», II, вып. III, Новосибирск, 1963. В языках, которые мы будем рассматривать в качестве примеров, фразы сколь угодно большой длины всегда получаются лишь некоторым тривиальным способом, и доказательство синтаксической эквивалентности всегда возможно.

отрезок *очень высокий* является конфигурацией ранга 1; результирующим для этой конфигурации может быть, например, слово *каменный*, так как во всех фразах, где встречается отрезок *очень высокий*, его можно заменить на слово *каменный* без изменения отмеченности фразы, и во всех фразах, где встречается слово *каменный*, его можно заменить на *очень высокий*. Отрезок *очень высокий дом* тоже является конфигурацией ранга 1; результирующее слово — *дом*. Эта конфигурация не является, однако, простой. Отрезок *высокий дом* является конфигурацией ранга 2 с результирующим словом *дом*, так как: 1) во всех фразах, где встречается слово *дом*, его можно заменить на *высокий дом* и 2) во всех фразах, где отрезок *высокий дом* не имеет частичного пересечения с отрезком типа *очень высокий*, который является конфигурацией ранга 1, *высокий дом* можно заменить на дом [9].

2. **Конфигурационные и неконфигурационные языки.** Будем рассматривать языки, порождаемые бесконтекстными грамматиками непосредственных составляющих [10]. Процесс порождения фразы такой грамматикой задает ее истинную систему составляющих. Ставится задача восстановить эту систему составляющих. Для простоты рассматриваются только такие грамматики, которые порождают каждую фразу одним единственным способом (так что у каждой фразы есть ровно одна истинная система составляющих).

Назовем языки, в которых любая составляющая любой фразы является конфигурацией языка, к о н ф и г у р а ц и о н н ы м и; языки, где хотя бы некоторые составляющие не являются конфигурациями,— н е к о н ф и г у р а ц и о н н ы м и. Приведем примеры языков того и другого типа. Поскольку, как будет видно из дальнейшего, все естественные языки, по-видимому, являются неконфигурационными, то примерами конфигурационных языков могут быть только искусственные языки или фрагменты естественного.

Рассмотрим фрагмент русского языка («язык» $P.1$), порождаемый следующей грамматикой [11]:

$\Phi \rightarrow C_{\text{им}}\ \Gamma_{\text{лич}}$
$C_{\text{им}} \rightarrow П\ C_{\text{им}}$
$\Gamma_{\text{лич}} \rightarrow \Gamma_{\text{лич}}\ C_{\text{предл}}$
$\Gamma_{\text{лич}},\ \Gamma^{*}_{\text{лич}} \rightarrow H\ \Gamma^{*}_{\text{лич}}$
$\Phi \rightarrow$ *светает*
$П \rightarrow$ *маленькая*
$\Gamma_{\text{лич}},\ \Gamma^{*}_{\text{лич}} \rightarrow$ *спит*
$H \rightarrow$ *тихо*
$C_{\text{им}} \rightarrow$ *девочка*
$C_{\text{предл}} \rightarrow$ *за шкафом*
$C_{\text{предл}} \rightarrow$ *на диване*

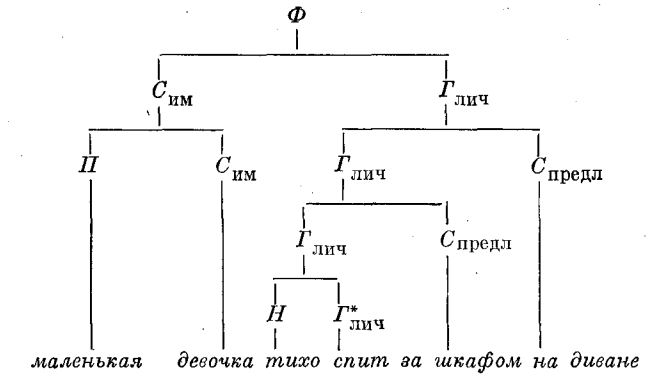
Пример фразы, порождаемой этой грамматикой:

---

[9] Мы воспользовались примером «наречие + прилагательное + существительное», который фигурирует в качестве основного во всех работах, связанных с понятием конфигурации. При достаточно полном учете фактов русского языка этот пример оказывается неверным; к сожалению, безупречные примеры найти весьма трудно (см. об этом ниже, в разделе 2).

[10] Об устройстве и принципе действия грамматик непосредственных составляющих см.: Н. Х о м с к и й, указ. соч. О бесконтекстных грамматиках см.: е г о ж е, О некоторых формальных свойствах грамматик, «Кибернетический сборник», 5, М., 1962.

[11] Предполагается, что смысл символов ясен из способа их развертывания, см.: Н. Х о м с к и й, Синтаксические структуры. Звездочка означает, что у данного символа возможностей развертывания меньше, чем у соответствующего символа без звездочки. Запятая стоит там, где два правила с одинаковыми левыми частями объединены в одно.



Язык *Р.* 1 является конфигурационным: можно показать, что все составляющие в этой и других фразах языка *Р.* 1 являются конфигурациями. Так, составляющие *тихо спит*, *тихо спит за шкафом*, *тихо спит за шкафом на диване*, *маленькая девочка* являются в языке *Р.* 1 конфигурациями ранга 1; вся фраза — конфигурацией ранга 2.

Покажем теперь, что русский язык в целом не является конфигурационным [12]. Ср. следующие три фразы:

(1) (*Иван* ((*лошадь Петра*) *не любит*))
(2) (*Лошадь* (*Петра не любит*))
(3) (*Он* (*рисует свою дочь*))

В этих фразах есть две составляющих, которые не являются конфигурациями русского языка. Это составляющая *лошадь Петра* во фразе (1) и составляющая *Петра не любит* во фразе (2). Рассмотрим отрезок *лошадь Петра*. Он не является конфигурацией ранга 1, так как замена его на любое слово во фразе (2) делает ее неправильной [13]. Этот отрезок может быть конфигурацией не-первого ранга; но для этого нужно, чтобы отрезок *Петра не любит* тоже был конфигурацией, притом более низкого ранга, чем *лошадь Петра*. Рассмотрим, однако, отрезок *Петра не любит*. Он не является конфигурацией ранга 1. Действительно, он может быть заменен только на слово, которое может быть сказуемым; однако замена его на непереходный глагол типа *спит* или краткое прилагательное сделает неправильной фразу (1), в которой оставшееся слово *лошадь* требует наличия переходного глагола, а замена его на сильно переходный глагол, например, *любит*, сделает неправильной фразу (2). Остается попробовать замену на глагол, который может быть как переходным, так и непереходным, например, *рисует*. Эта замена возможна как во фразе (1), так и во фразе (2); однако во фразе (3) такая замена дает неправильную фразу *Он Петра не любит свою дочь*, так что *рисует* также не может быть результирующим для отрезка *Петра не любит*. Отрезок *Петра не любит* может быть конфигурацией не-первого ранга (с результирующим *спит*); для этого нужно, чтобы отрезок *лошадь Петра* тоже был конфигурацией, притом более низкого ранга, чем *Петра не любит*. Однако это условие невыполнимо в силу сделанного ранее вывода, что отрезок *Петра не лю-*

[12] Неконфигурационными являются все фрагменты естественного языка, содержащие прерванные составляющие. Однако здесь они не принимаются во внимание, поскольку они не могут быть порождены бесконтекстной грамматикой непосредственных составляющих в смысле Хомского.

[13] Глагол *любить* отнесен здесь к сильно переходным (подобно глаголам *бить*, *иметь* и т. д.), т. е. фразы, где он встречается в личной форме без дополнения, считаются грамматически неправильными.

бит может быть только конфигурацией более низкого ранга, чем *лошадь Петра*. Следовательно, ни один из этих двух отрезков не является конфигурацией.

Ср. еще две фразы:

(4) *Приехал Миша и его товарищи*
(5) *Сегодня у нас много народу, потому что приехал Миша и его товарищи решили его навестить.*

Из фразы (4) следует, что отрезок *Миша и его товарищи* может быть только конфигурацией более низкого ранга, чем *приехал Миша*, а из фразы (5) следует, что соотношение рангов может быть только обратное. Следовательно, ни один из этих отрезков не является конфигурацией. Приведем пример, показывающий неконфигурационность английского языка. Ср. три фразы:

(6) ((*Machine time*) (*runs quickly*))
(7) ((*In the machine*) (*time* (*runs quickly*)))
(8) (*Time runs*)

Отрезок *machine time* является составляющей во фразе (6); отрезок *time runs* является составляющей во фразе (8). Однако эти отрезки не являются конфигурациями ранга 1: ни один из них нельзя заменить на слово во фразе (7). Они не являются и конфигурациями более высокого ранга, так как, с одной стороны, отрезок *time runs* должен быть конфигурацией более высокого ранга, чем отрезок *machine time*, ср. фразу (6), а с другой стороны, отрезок *time runs* должен быть конфигурацией более низкого ранга, чем *machine time*, ср. фразу (7).

Составляющих, которые не являются конфигурациями, в естественных языках, по-видимому, очень много. Правда, доказать, что некоторый отрезок не является конфигурацией, в общем случае довольно трудно: чтобы показать, что отрезок не является конфигурацией ранга 1, требуется перебор (в той или иной форме) всех слов, которые могут быть результирующими для этой конфигурации; когда же речь идет о конфигурации более высокого ранга, то необходимо, кроме того, предварительно установить список конфигураций всех предшествующих рангов.

Во всяком случае, полезно указать несколько примеров, когда отрезок и слово на первый взгляд кажутся синтаксически эквивалентными, а в действительности таковыми не являются. Так, сочетания наречия с прилагательным (типа *очень высокий*) обычно считаются регулярными конфигурациями ранга 1. Однако, например, в контекстах *более высокий*, *самый высокий*, *слишком высокий* и т. п. слово *высокий* нельзя заменить на *очень высокий*. Отрезок *очень высокий* не эквивалентен также и относительному прилагательному *каменный*: соответствующая замена невозможна, например, в сочетании *очень и очень высокий*. Заметим, что и отрезок *очень и очень* не является конфигурацией ранга 1 с результирующим *очень*, поскольку его едва ли можно подставить вместо *очень* во фразе *Это не очень высокий дом*. Отрезок *не очень* не является конфигурацией ранга 1 с результирующим *очень*, поскольку его нельзя заменить на *очень* в сочетании *отнюдь не очень*; отрезок *отнюдь не* не является регулярной конфигурацией ранга 1, поскольку *отнюдь не* нельзя заменить на *отнюдь* в сочетании *отнюдь не очень*, а *не* нельзя заменить на *отнюдь не* в сочетании *совсем не*. Отрезок *не высокий* не является конфигурацией ранга 1 с результирующим *высокий*, так как его нельзя заменить на *высокий* во фразе *Ему нужен не высокий дом, а маленькая избушка*. Отвлечемся теперь от существования наречий при прилагательных и рассмот-

рим словосочетания типа «существительное + прилагательное» во фразе без наречий. Можно найти много примеров, показывающих, что это словосочетание не эквивалентно существительному. Так, отрезок *черный сапог* нельзя подставить вместо слова *сапог* в сочетание *пара сапог*; отрезок *высокого дома* нельзя подставить вместо слова *дома* в сочетание *два дома*; отрезок *высокий дом* нельзя заменить словом *дом* в сочетании *красивый и высокий дом* (а отрезок *красный и синий* нельзя заменить на *красный* в сочетании *красный и синий шары*); отрезок *отчаянных трудностей* нельзя заменить словом *трудностей* во фразе *Для отчаянных трудностей не существует*. Ср. другие сходные факты: отрезок *дом приятеля* нельзя подставить вместо слова *дом* в сочетание *его дом*; *дома приятеля* нельзя заменить на *дома* во фразе *Я нашел себе вдали от дома приятеля*, и т. д.

Из рассмотренных примеров ясно, что алгоритм, который устанавливает во фразе только те составляющие, которые являются конфигурациями языка, не может дать для фраз естественного языка удовлетворительного анализа. Таким образом, при анализе естественного языка в целом понятие конфигурации неприменимо. Интересно, однако, проверить, чтó дает понятие конфигурации в применении к конфигурационным фрагментам естественного языка, так как даже и в этих фрагментах получение истинного анализа на основе одного только понятия конфигурации, как оказывается, не всегда возможно.

3. Совершенные и несовершенные конфигурационные языки. Назовем конфигурационный язык с о в е р ш е н н ы м, если в нем имеется самое простое из мыслимых соотношений между конфигурацией и составляющей, а именно, если составляющими фразы являются все те и только те ее отрезки, которые являются конфигурациями языка. Языки, в которых это условие не выполняется, назовем н е с о в е р ш е н н ы м и. Примером совершенного конфигурационного языка является «язык» арифметических формул со скобками, т. е. язык, отмеченными фразами которого являются выражения типа a, $(a + b)$, $(((a : b) + (c—d)) \times (c + d))$ и т. д. Составляющими (подформулами) такого языка являются все те и только те отрезки, которые сами являются отмеченными фразами; и конфигурациями (т. е. отрезками, которые можно заменить на букву) оказываются те же самые отрезки. Таким образом, составляющая всегда является конфигурацией, а конфигурация — составляющей. Типологически различных совершенных языков, по-видимому, очень немного. Совершенным является язык бесскобочной символики Лукасевича[14], арифметический язык без правых скобок[15]. Совершенным может быть также такой фрагмент естественного языка, где в каждом словосочетании компоненты взаимно предсказывают друг друга (связаны «отношением солидарности» по Ельмслеву[16]). К этому фрагменту принадлежат фразы типа *Два бригадира выполнили некоторые из обязательств*. Отношение взаимного предсказывания между словами аналогично здесь отношению между правой и левой скобкой в арифметическом языке.

Несовершенные конфигурационные языки гораздо более разнообразны. Прежде всего, несовершенны все языки, содержащие конфигурации более чем одного ранга. Действительно, из определения конфигурации

---

[14] См.: Я. Л у к а с е в и ч, Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики, М., 1959.

[15] О языке без правых скобок и близких к нему фрагментах естественного языка см.: Е. В. П а д у ч е в а, Некоторые вопросы перевода с информационно-логического языка на русский, «Научно-техническая информация», 1964, 2.

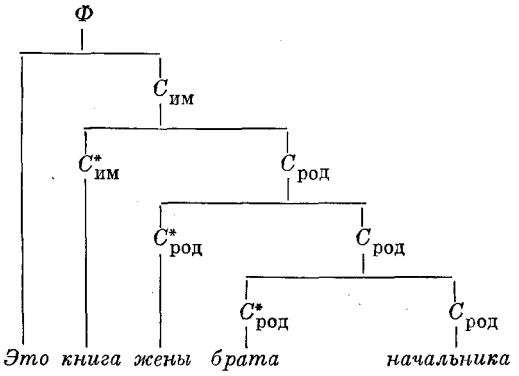
[16] См.: Л. Е л ь м с л е в, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», 1, М., 1960, стр. 284.

следует, что конфигурации разных рангов в некоторых фразах частично пересекаются друг с другом. Между тем составляющие одной системы не могут частично пересекаться. Следовательно, не все отрезки фразы, которые являются конфигурациями, могут быть ее составляющими. Ср. фразу *Это очень высокий дом*; в определенном фрагменте русского языка отрезок *высокий дом* — конфигурация (ранга 2); но он не является составляющей данной фразы. Возможны, однако, и такие несовершенные конфигурационные языки, где среди конфигураций одного только первого ранга имеются отрезки, которые не являются составляющими во всех или в некоторых фразах языка. Так, можно доказать, что в языке $P.$ 1 являются конфигурациями отрезки *за шкафом на диване* и *девочка тихо*, хотя эти отрезки не являются составляющими ни в одной фразе [17]. Рассмотрим другой конфигурационный фрагмент русского языка, в котором есть лишние конфигурации ранга 1. Ср. «язык» $P.$ 2, порождаемый следующей грамматикой:

$\Phi \rightarrow$ *это* $C_{\text{им}}$
$C_{\text{им}} \rightarrow C^*_{\text{им}} C_{\text{род}}$
$C_{\text{род}} \rightarrow C^*_{\text{род}} C_{\text{род}}$
$\Phi \rightarrow$ *светает*

$C_{\text{им}}, C^*_{\text{им}} \rightarrow$ *книга*
$C_{\text{род}}, C^*_{\text{род}} \rightarrow$ *жены*
$C_{\text{род}}, C^*_{\text{род}} \rightarrow$ *начальника*
$C_{\text{род}}, C^*_{\text{род}} \rightarrow$ *брата*

Пример фразы языка $P.$ 2:



В языке $P.$ 2 отрезки *книга жены* и *жены брата* являются конфигурациями, хотя они не являются составляющими рассмотренной фразы.

4. Языки с автоматическим и неавтоматическим свертыванием; языки без свертывания. Хотя в несовершенных конфигурационных языках простого совпадения между составляющей и конфигурацией нет, однако для некоторых из этих языков можно найти такую операцию, которая все-таки позволяет получить для каждой фразы ее истинный анализ. Этой операцией является с в е р т ы в а н и е конфигураций [18]. Как уже отмечалось, в языках с конфигурациями нескольких рангов множество всех отрезков фразы, которые являются конфигурациями языка, содержит частично пересекающиеся отрезки, и поэтому не является системой составляющих. Свертывание позволяет выделить в каждой фразе множество отрезков, которые не имеют частичных пересечений друг с другом. Про-

[17] Появление ложной конфигурации типа *девочка тихо* вполне закономерно: если слово *девочка* не встречается без слова *спит*, то сочетание (*Девочка* (*тихо спит*)) должно иметь тот же смысл, что и ((*Девочка тихо*) *спит*); ср. **Девочка тихая спит*. Однако формальная структура предложения допускает только одну расстановку скобок.

[18] См.: О. С. К у л а г и н а, указ. соч.

цедура свертывания такова: (1) рассматриваем произвольную простую конфигурацию ранга 1; (2) находим произвольное вхождение этой конфигурации в анализируемую фразу; (3) заносим эту конфигурацию в «накопитель конфигураций» и запоминаем ее результирующее слово; (4) в анализируемой фразе заменяем найденную конфигурацию результирующим словом. Результат этой замены называем у п р о щ е н и е м данной фразы. Дальше операции (1) — (4) повторяем над упрощением, получаем новое упрощение — и так до тех пор, пока в очередном упрощении не останется ни одного вхождения конфигурации ранга 1. Тогда переходим к конфигурациям ранга 2. Если после очередного свертывания какой-либо конфигурации ранга 2 во фразе (точнее, в очередном ее упрощении) появляется отрезок, который является простой конфигурацией ранга 1, то нужно свернуть эту конфигурацию ранга 1, а потом продолжать сворачивать конфигурации ранга 2. После того как свернуты конфигурации ранга 2, переходим к конфигурациям ранга 3 и т. д. Свертывание продолжается до тех пор, пока в очередном упрощении не останется ни одной конфигурации. Этот остаток называется н е п р и в о д и м ы м у п р о щ е н и е м. Далее производим следующие операции над накопителем конфигураций: (1) добавляем в накопитель неприводимое упрощение фразы и все ее слова; (2) в каждом из отрезков, содержащихся в накопителе, производим в обратном порядке развертывания результирующих на соответствующие им конфигурации. Ясно, что в конечном счете накопитель будет содержать множество отрезков фразы, которое удовлетворяет условиям 1) и 2) из определения системы составляющих, т. е. является некоторой системой составляющих этой фразы. Остается только проверить, всегда ли эта система будет истинной.

Приведем пример языка, в котором свертывание дает для каждой фразы истинную систему составляющих. Это «язык» $P.$ 3, который порождается следующей грамматикой:

$$\Phi \to С_{им}\, Г_{лич} \qquad С_{им} \to я$$
$$Г_{лич} \to Г_{пер}\, С_{вин} \qquad Г_{лич} \to сплю$$
$$Г_{лич} \to Г_{пер}\, П_{субст} \qquad Г_{пер} \to накормил$$
$$Г_{лич} \to Г_{пер}\, М \qquad С_{вин},\ С^{*}_{вин} \to человека$$
$$С_{вин} \to П\ С^{*}_{вин} \qquad П,\ П_{субст} \to голодного$$
$$М \to его$$

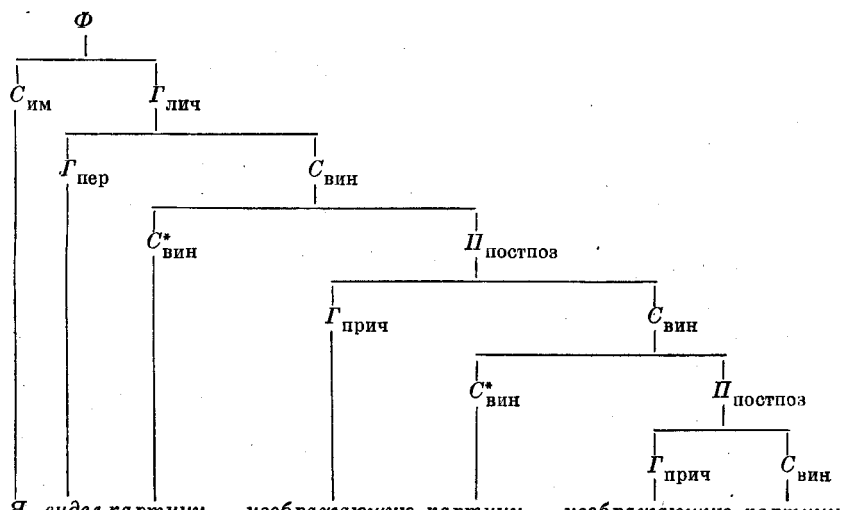
Эта грамматика порождает, в частности, фразы (*Он* (*накормил голодного*)) и (*Он* (*накормил* (*голодного человека*))), для которых свертывание конфигураций в соответствии с их рангами дает истинное разложение на составляющие. Отрезок *накормил голодного* является в языке $P.$ 3 конфигурацией ранга 2, вследствие чего он получает в двух этих фразах различный анализ.

Однако свертывание может и не давать истинной системы составляющих. Для всех фраз, которые содержат частично пересекающиеся конфигурации одного ранга, возможно несколько различных свертываний и, следовательно, несколько различных анализов. Поскольку в наших языках, по условию, все фразы имеют ровно один истинный анализ, то какие-то из этих анализов должны быть ложными. В частности, свертывание может дать несколько различных систем составляющих для фраз языка $P.$ 1: в одних системах предложные группы будут рассматриваться как подчиненные глаголу, в других — как однородные члены, а в третьих — то так, то иначе. Достаточно, однако, наложить на свертывание дополнительные ограничения — специально п р и с п о с о б и т ь его к грамматике языка $P.$ 1, — и мы сможем получать для всех фраз языка $P.$1

только истинные системы составляющих. А именно, достаточно потребовать, чтобы конфигурация *тихо спит* свертывалась раньше, чем *девочка тихо*, а конфигурация *спит за шкафом* — раньше, чем за *шкафом на диване*. Тогда ложные конфигурации не будут свернуты ни в одной фразе. В языке *Р.* 2 на свертывание должно быть наложено следующее ограничение: если во фразе имеется несколько вхождений конфигурации ранга 1, то первым должно свертываться всегда самое правое вхождение.

Рассмотрение этих примеров показывает, что даже в конфигурационных языках понятия конфигурации может быть недостаточно для установления истинного анализа: свертывание конфигураций в соответствии с их рангами может дать много лишних анализов, и чтобы их устранить, нужно приспособить свертывание к порождающей грамматике, руководствуясь не формальными соображениями, основанными на взаимозаменяемости отрезков, а чисто содержательными. Действительно, когда мы в языке *Р.* 1 потребовали, чтобы конфигурации *спит за шкафом* и *тихо спит* свертывались раньше, чем *за шкафом на диване* и *девочка тихо*, то мы сделали это потому, что в грамматике языка *Р.* 1, как нам известно, отрезки *за шкафом на диване* и *девочка тихо* не считаются составляющими; в языке *Р.* 2 мы потребовали, чтобы свертывание началось с самого правого вхождения конфигурации ранга 1, так как из грамматики известно, что развертывается всегда только правый компонент соответствующей составляющей.

Языки, в которых любое свертывание дает для каждой фразы правильный анализ, можно назвать языками с автоматическим свертыванием; языки, в которых требуется доопределение порядка свертывания для разных конфигураций данного ранга или для разных вхождений конфигураций данного ранга, можно назвать языками с неавтоматическим свертыванием. Приведем еще два примера языков с неавтоматическим свертыванием. Рассмотрим следующую фразу:



(1) *Я видел картину „изображающую картину „изображающую картину*

Можно выделить такой фрагмент русского языка («язык» *Р.* 4), в котором все составляющие фразы (1) будут конфигурациями[19]. Например,

[19] Знаки препинания не считаются составляющими фразы.

если взять фрагмент, в который, кроме фразы (1), входят фразы с именными группами типа *лягушку среднеевропейскую обыкновенную*, то слова *среднеевропейскую* и *обыкновенную* будут результирующими для конфигурации *изображающую картину*. Простыми конфигурациями языка *P*. 4 будут следующие отрезки: *изображающую картину* (ранг 1, результирующее — *обыкновенную*); *картину обыкновенную* (ранг 1, результирующее — *картину*); *видел картину* (ранг 2, результирующее — *спал*); *я спал* (ранг 1, результирующее — *светает*). Если свертывать во фразе (1) сначала все вхождения какой-то одной конфигурации (например, конфигурации *изображающую картину*), а потом переходить к другой конфигурации того же ранга, то получится неправильный анализ. Чтобы получить правильный анализ, нужно свертывать каждый раз самое правое вхождение конфигурации ранга 1, независимо от того, какая это конфигурация.

Ср. еще фразу (2): *Остались лишь относительно удачно укомплектованные группы.* Можно, по-видимому, выделить такой фрагмент русского языка, в котором отрезки *лишь относительно*, *лишь удачно*, *лишь укомплектованные*, *лишь группы*, *относительно удачно*, *относительно укомплектованные* будут конфигурациями ранга 1. Чтобы свертывание дало для фразы (2) правильный анализ — (*остались* (*лишь* (((*относительно удачно*) *укомплектованные*) *группы*))) — необходимо наложить на свертывание следующее ограничение: все вхождения конфигураций ранга 1, первым элементом которых не является *лишь*, должны свертываться подряд, начиная с самого левого; вхождение конфигурации с *лишь* должно свертываться последним.

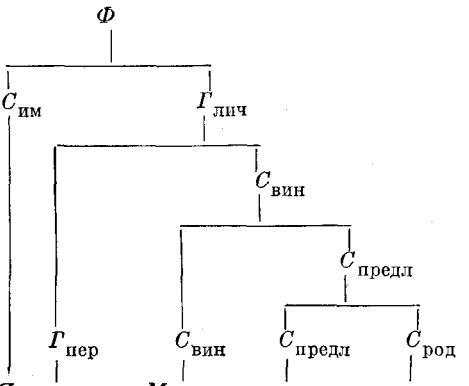
Упорядочение свертывания может определяться и более сложными правилами. В общем случае для получения правильного анализа нужно разделить конфигурации одного ранга на классы и задать порядок свертывания конфигураций разных классов и порядок свертывания разных вхождений для конфигураций одного класса (свой для каждого класса). Заметим, что на примере языка *P*. 4 видно отсутствие связи между рангом конфигурации и типом грамматической связи. Определительной и дополнительной связям могут соответствовать конфигурации одного ранга. Одного ранга могут быть конфигурации, соответствующие определительной и сочинительной, определительной и предикативной связи. Отсутствует также соответствие между рангом конфигурации и расположением соответствующей составляющей в дереве вывода фразы.

Возникает вопрос, для всякого ли конфигурационного языка возможно такое доопределение свертывания, которое позволяет по фразе обнаружить ее структуру. Ответ на этот вопрос в общем случае отрицательный. Рассмотрим «язык» *P*. 5, порождаемый следующей грамматикой:

$$\Phi \to C_{\text{им}}\ \Gamma_{\text{лич}}$$
$$\Gamma_{\text{лич}} \to \Gamma^{*}_{\text{лич}}\ C_{\text{предл}}$$
$$\Gamma_{\text{лич}} \to \Gamma_{\text{пер}}\ C_{\text{вин}}$$
$$\Gamma_{\text{лич}} \to \Gamma_{\text{пер}}\ M$$
$$C_{\text{вин}} \to C^{*}_{\text{вин}}\ C_{\text{предл}}$$
$$C_{\text{предл}} \to C^{*}_{\text{предл}}\ C_{\text{род}}$$
$$C_{\text{род}} \to C^{*}_{\text{род}}\ C_{\text{род}}$$
$$C_{\text{им}} \to \textit{я}$$

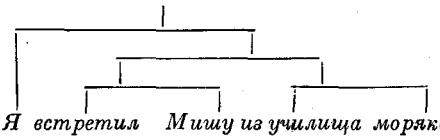
$$\Gamma_{\text{лич}} \to \textit{сплю}$$
$$\Gamma^{*}_{\text{лич}} \to \textit{вышел}$$
$$C_{\text{предл}},\ C^{*}_{\text{предл}} \to \textit{из училища}$$
$$\Gamma_{\text{пер}} \to \textit{встретил}$$
$$C_{\text{вин}},\ C^{*}_{\text{вин}} \to \textit{Мишу}$$
$$M \to \textit{тебя}$$
$$C_{\text{род}},\ C^{*}_{\text{род}} \to \textit{моряков}$$
$$C_{\text{род}},\ C^{*}_{\text{род}} \to \textit{шоферов}$$

Язык *P*. 5 конфигурационный. Ср. пример фразы языка *P*. 5:



(3) *Я встретил Мишу из училища моряков*

Простые конфигурации языка P. 5 таковы: 1) *училища моряков* — регулярная конфигурация ранга 1, результирующее — *училища* (ряд аналогичных конфигураций типа «существительное + существительное в род. падеже» не приводится); 2) *Мишу из училища* — конфигурация ранга 2 с результирующим *тебя*; 3) *вышел из училища* — конфигурация ранга 2 с результирующим *сплю*; 4) *встретил Мишу* — конфигурация ранга 1 с результирующим *вышел*. Легко убедиться, что никакое свертывание этих конфигураций, не противоречащее их рангам, не дает возможности получить для фразы (3) ее истинный анализ. Анализ, который можно получить для фразы (3) с помощью свертывания, таков:



Конфигурационные языки, для которых свертывание конфигураций в соответствии с их рангами не дает истинного анализа, можно назвать языками без свертывания.

Понятие конфигурации возникло в тот период развития лингвистики, когда считалось, что в точном описании языка можно использовать только те единицы, которые имеют операционное определение, основанное на чисто формальных преобразованиях текста. Понятие конфигурации рассматривалось как формальный аналог понятия словосочетания (или составляющей), основанный на одном только понятии множества отмеченных фраз. Как видно из сказанного выше, понятие конфигурации является таковым лишь для относительно узкого класса совершенных конфигурационных языков и языков с автоматическим свертыванием. К тому же подобная формализация в значительной мере фиктивна, поскольку мы пока не знаем способов задания множества отмеченных фраз, не использующих в той или иной форме понятия составляющей или словосочетания.

Заметим, что сейчас операционным определениям уже не придается такого большого значения. Дело в том, что попытки получить операционные определения для важнейших лингвистических понятий — таких, как слово, морфема, слог — обычно оканчивались неудачей, в том смысле, что объекты, получаемые с помощью определения, оставались очень далекими от тех, которые желательно было бы получить. С другой стороны, стало ясно, что огромное количество важных и практически необходимых языковых фактов можно описать и без операционного определения основных единиц [20].

[20] Ср.: N. Chomsky, The logical basis of linguistic theory, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, где утверждается, что операционные определения могут быть получены только для «неинтересных» понятий. Поиски операционных единиц оправданы, однако, там, где они связаны, например, с задачами расшифровки. Ср. в этой связи: Б. В. Сухотин, Экспериментальное выделение классов букв с помощью электронной вычислительной машины, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

5. Свертывание и порождение фразы. При построении порождающих грамматик язык рассматривается обычно как множество отмеченных фраз[21]. Однако во многих случаях гораздо более целесообразно рассматривать языки как множества фраз с их анализами, т. е. считать языки частично интерпретированными. Именно это содержание вкладывается в понятие «язык», когда говорится, что каждая фраза языка имеет некоторую истинную структуру, которую алгоритм анализа должен обнаружить с помощью формальных операций.

Применительно к языку как множеству отмеченных фраз вводится понятие эквивалентных грамматик: грамматики эквивалентны, если они порождают одно и то же множество отмеченных фраз. Поскольку понятие конфигурации основано на взаимозаменяемости отрезков в множестве отмеченных фраз, то оно может обеспечить анализ этого множества, в лучшем случае, с точностью до эквивалентности грамматик, которые его порождают. Иначе говоря, конфигурациями в данном множестве отмеченных фраз могут оказаться отрезки, которые являются составляющими с точки зрения хотя бы одной из порождающих его грамматик.

Среди грамматик, порождающих данное множество отмеченных фраз, можно выделить сильные (восстановимые с помощью свертывания, быть может, приспособленного) и слабые (не восстановимые). Так, заданная грамматика языка P. 5 является слабой. Ниже приводится сильная грамматика того же множества отмеченных фраз, которая при порождении фразы (3) приписывает ей тот самый анализ, который получает эта фраза при свертывании конфигураций:

$$\Phi \to C_{\text{им}} \Gamma_{\text{лич}} \qquad \Gamma_{\text{лич}},\ \Gamma^*_{\text{лич}} \to \Gamma_{\text{пер}} M$$
$$\Gamma_{\text{лич}} \to \Gamma^*_{\text{лич}} C_{\text{предл}} \qquad C_{\text{предл}} \to C^*_{\text{предл}} C_{\text{род}}$$
$$\Gamma_{\text{лич}},\ \Gamma^*_{\text{лич}} \to \Gamma_{\text{пер}} C_{\text{вин}} \qquad C_{\text{род}} \to C^*_{\text{род}} C_{\text{род}}$$

(все «лексические» правила те же, что и в прежней грамматике). Ясно, что эта грамматика, в отличие от предыдущей, является неестественной для данного множества отмеченных фраз.

6. Свертывание в сравнении с другими моделями синтаксического анализа. Вернемся теперь к вопросу об алгоритмах анализа для неконфигурационных языков. Одним из источников неконфигурационности языка являются, очевидно, некоторые виды неустойчивых отрезков, т. е. отрезков, которые в одних фразах являются составляющими, а в других — нет. Неустойчивые отрезки есть и в конфигурационных языках. Действительно, только конфигурации ранга 1 являются составляющими во всех фразах, а все составляющие более высоких рангов — это неустойчивые отрезки. Свертывание конфигураций в соответствии с их рангами является эквивалентом свертывания конфигураций без учета рангов, но с учетом контекста: конфигурация ранга 2 — это отрезок, который может быть составляющей данной фразы при условии, что в ней нет частично пересекающихся с ним отрезков, которые являются конфигурациями ранга 1.

Неконфигурационные языки отличаются от конфигурационных, в частности, тем, что контекст, который необходимо учитывать при анализе неустойчивых отрезков в этих языках, значительно многообразнее и сложнее того, который позволяет учесть простое упорядочение свертывания отрезков фразы. Вполне закономерно, поэтому, что попытки построить в виде свертывания синтаксический анализ неконфигурационных языков привели к изменению содержания понятия «конфигурация»:

[21] См.: Н. Хомский, Синтаксические структуры.

в естественном языке для анализа неустойчивых отрезков могут оказаться существенными характеристики слов, далеко отстоящих от данного отрезка; таким образом, из отрезка (или грамматической характеристики отрезка) конфигурация превратилась в набор произвольных структурных характеристик фразы. В конце концов термин «конфигурация» стал означать «шаблонное поисковое правило»[22], которое либо приводит к обнаружению какой-то составляющей, либо просто вырабатывает признаки, которые будут использоваться в других правилах.

Большим шагом вперед в разработке систем синтаксического анализа явилось осознание того, что дополнительные условия, которые необходимо принимать во внимание при анализе того или иного неустойчивого отрезка, можно обобщить и свести к единой системе ограничений, которые накладываются на структуру фразы в целом. Таким образом возникли алгоритмы, которые можно назвать к о н ф л и к т н ы м и[23]. Анализ фразы является в этих алгоритмах результатом наложения на фразу различных требований, которым должна удовлетворять структура этой фразы. Если алгоритмы свертывания имеют дело с отрезками фразы, которые являются составляющими во всех фразах (конфигурации ранга 1) или во всех фразах некоторого просто определяемого типа (конфигурации ранга 2 и выше), то конфликтные алгоритмы имеют дело с п о т е н ц и а л ь н ы м и с о с т а в л я ю щ и м и (или потенциальными словосочетаниями), т. е. с отрезками, которые являются составляющими (или словосочетаниями) хотя бы в некоторых фразах языка. Дополнительным условием, при котором потенциальная составляющая языка является действительной составляющей данной фразы, является получение допустимой системы составляющих для всей фразы в целом.

Одним из достоинств конфликтных систем анализа является то, что они используют информацию о предложении в виде, близком к ее представлению в обычных грамматиках; требуется лишь уточнение и дополнение, а не переход к принципиально иным единицам, который имеет место в алгоритмах свертывания в случае неконфигурационных языков[24].

*

Итак, свертывание конфигураций дает возможность получить анализ лишь для отдельных фрагментов естественного языка, но не для языка в целом. Тем не менее, простая модель синтаксиса, основанная на понятии конфигурации, представляет большой интерес для лингвистики. Эта модель не отражает многих существенных свойств естественного языка, но свойства, не отраженные моделью, выступают особенно отчетливо именно при сравнении естественного языка с этим простым эталоном[25].

[22] См.: И. А. М е л ь ч у к, указ. соч.

[23] См.: И. Л е с е р ф, Применение программы и модели конфликтной ситуации к автоматическому синтаксическому анализу естественных языков, «Научно-техническая информация», 1963, 10. Алгоритмы, основанные на сходных принципах, разрабатываются в Ленинграде под руководством Г. С. Цейтина. См. также: Л. Н. И о р д а н с к а я, Свойства правильной синтаксической структуры и алгоритм ее обнаружения (на материале русского языка), «Проблемы кибернетики», 11, М., 1964. В весьма абстрактной форме такой принцип построения алгоритмов анализа был изложен уже в известных работах И. Бар-Хиллела, см., например: Y. B a r - H i l l e l, Decision procedures for structure in natural languages, «Logique et analyse», 7, 1959.

[24] В собственно лингвистических работах термин «конфигурация» стал употребляться как синоним термина «грамматический тип словосочетаний». По-видимому, это обусловлено неестественностью тех единиц, которые являются конфигурациями в неконфигурационном языке.

[25] Автор выражает глубокую благодарность А. В. Гладкому, А. А. Зализняку, Вяч. В. Иванову и И. А. Мельчуку, которые ознакомились с рукописным текстом статьи и сделали ценные критические замечания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

В. П. ГРИГОРЬЕВ

ОБСУЖДЕНИЕ «ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ»

Давно назревшее усовершенствование русской орфографии вступило в решающую фазу. Увидели свет подготовленные «Предложения» — итог большой работы Орфографической комиссии. Эти результаты ожидают проверки и перепроверки, окончательной оценки и визы, которая сделала бы их орфографической нормой в виде Свода орфографических правил.

Можно, конечно, еще раз обсудить вопрос о том, какой или какие принципы являются ведущими в нашем правописании, как следует именовать эти принципы. Можно было бы также снова рассмотреть идеи сторонников письма «по звонам», адептов «перевода делопроизводства на латинский алфавит» и пр., и пр. Однако факт публикации «Предложений» придал всем этим вопросам несколько отвлеченный характер — задача сейчас выдвигается определенно прагматическая: подробно, пункт за пунктом, аргумент за аргументом обсудить предлагаемое, мобилизуя все возможные возражения, но не забывая о системе правописания, о ее искомой и уже достигнутой логике, о необходимости разрубить некоторые гордиевы узлы школьного преподавания с тем, чтобы несколько ближайших поколений советских людей могли «передохнуть немножко» после надоевших всем орфографических неурядиц. Словом, желательно или дать орфографический свод, действительно, «годочков этак на сто» [1], или по крайней мере сделать крупный шаг по направлению к нему.

Первые отклики на «Предложения» во многом настораживают. Большинство авторов в подборках, опубликованных в «Известиях», «Советской России», «Литературной газете» и «Литературной России», смешивает реформу орфографии с реформой звукового языка, а подавляющее большинство — не различает звук и букву. Если человек убежден, что в слове *революция* нормы литературного произношения требуют мягкого *ц*, то любая его аргументация против написаний *огурци*, *ципочки* и под. почти полностью обесценивается. Разумеется, реформа затрагивает интересы всех пишущих и читающих по-русски, но нагнетаемая в общей печати наивность многих из критических голосов ни в какой мере не должна нарушать нормальный ход всенародного обсуждения проекта: следует принимать во внимание лишь те мнения и аргументы, которые внушены авторам не субъективными представлениями о родном языке и его орфографических одеждах.

Это относится и к опасениям. Писательница Г. Серебрякова может быть спокойна за «лучшие поэтические произведения»: им не угрожает никакая

[1] См.: А. Калинин, Позвольте омрачить праздник, «Неделя» 20—26 IX 64, стр. 15.

опасность. От написания *циц*, *проч*, *лжош*, *доч* ни одна рифма не «рассыплется» и ни одна строфа не зазвучит по-другому. Миллионы советских граждан, конечно, «принуждены будут переучиваться», но хорошо уже и то, что одновременно придется вкусить от основ лингвистических знаний некоторым скоропалительным критикам из числа наших литераторов [2].

Благодетельное воздействие реформы распространится и на филологов. Так, есть надежда, что после утверждения нового свода В. Кирпотин уже не будет (в ряду норм литературной речи) «отлично слышать, отлично различать произношение — в одном случае *ци (революция)*, в другом — *цы (отцы, огурцы)*» и не рискнет утверждать, будто «одинаковость произношения *ци*... и *цы*... воспринимается как коверкающее, даже пародийное» («Известия» 8 X 64). Такая поразительная для филолога поврежденность слуха и чутья языка отчасти извиняет массовую лингвистическую безграмотность, столь мощно заявившую о себе в самом начале обсуждения проекта.

Среди тех, кто «не видит необходимости в какой-либо реформе», выделяется голос поэта С. Кирсанова («Лит. газ.» 1 X 64). Как известно, для многих поэтов графический рисунок слова оказывается куда менее существенным, чем его звучание. Другие (в том числе С. Кирсанов) стремятся широко использовать и разнообразные экспрессивные возможности написания слова. «Звуко-буквенная эстетика русского языка» исключительно важна для поэтического творчества [3]. Это справедливое замечание поэта должно быть тщательно учтено при окончательном редактировании проекта [4].

Но другие критические замечания С. Кирсанова не выходят за рамки обычного и привычного восприятия отдельных графем вне системы. Это касается, например, его утверждения о том, что «звук *я* в словах *заяц* и *заячий* прослушивается достаточно явно» [5]. Ему, как и всем противникам устранения *цы*, следовало бы вспомнить о написаниях *ножи*, *шило*, наряду с *очи*, *щи*, и внимательнее отнестись к хорошо продуманной аргументации этого раздела «Предложений».

Л. Леонов полагает, что публикация «Предложений» — это из «таких поводов, когда на площади в рельсу бьют» («Лит. газ.» 3 X 64). Свои соображения он в то же время называет «неквалифицированными». С этой самооценкой трудно не согласиться. Общий антинормализаторский пафос Л. Леонова оказывается на поверку слишком знакомым по типичному для некоторых писателей (вспомним бесславные обличения «нормировщиков» А. Юговым) чисто внешнему отношению к науке о языке, чтобы возникла потребность «горячей отповеди». Если снять стилистическую изощренность «необузданных нападок» Л. Леонова, то отчетливо выступят два его основных аргумента:

---

[2] Отдельные писатели (например, С. Тхоржевский, Б. Заходер, С. Кирсанов, Т. Семушкин, А. Адалис) сделали весьма существенные замечания к проекту.

[3] Ср. написания *желтый — желтый* у А. Блока, *чорный* и под. в рукописях С. Есенина, стремление к значимому своеобразию пунктуации у А. Вознесенского и др. подобные случаи.

[4] *Щеголиха* по новому правилу окажется ближе к *щегол*, чем к *щоголь*; *щолка* — ближе к *щолк*, *щолок* и *щолоч*, чем к *щель*. Подобные «мелочи» могут оказаться хорошей почвой для новой поэтической рефлексии. «Зрительная какофония» — явление временное, о чем писал Л. Успенский («Лит. газ.» 1 X 64). Написания, на первых порах «оскорбляющие глаз», довольно скоро становятся привычными.

[5] Несомненно, что многие критики «Предложений» искаженно воспринимают собственное произношение. Следует также иметь в виду, что в исполнении С. Кирсанова, зафиксированном грампластинкой из серии «Поэты читают свои стихи», за редкими исключениями не оглушаются конечные звонкие согласные (*глаз, лег, льдов, груд* и под.)

1. Задача языковедов сводится к тому, чтобы «лишь констатировать уже прижившиеся перемены». Больше того, мы должны быть счастливы тем, что нам, оказывается, «и не дано иной возможности вмешиваться в этот процесс, кроме как с совещательным голосом».

2. Нет никакой необходимости щадить «нежные мозги школьников и других перегруженных занятиями лиц», освобождая их от зубрежки бессмысленных или необязательных, или ненеизбежных орфографических исключений и исключений из исключений.

Увы, первый аргумент не нуждается ни в каком инотолковании, чтобы перенести эти мнимо-филологические рассуждения автора в плоскость социологии: они ей и принадлежат. Называются же они проповедью стихийности (хотя до неисповедимого божественного промысла здесь далеко) и давно уже оставлены лингвистикой. Кстати, их автору следует напомнить, что к обсуждению проекта, «этого общенационального дела», все-таки были приглашены литераторы: писатели Вл. Лидин и К. Чуковский — и что к тому же второй из них не только обладает «необходимыми сведениями» и филологическим «цензом с приложением печати», но и написал популярную книгу о языке «Живой как жизнь», в которой будто предвидел данное леоновское возражение. Можно только лишний раз горячо рекомендовать писателю эту книгу его коллеги, имеющего «постоянное творческое соприкосновение» со стихией родного языка, а также другую относящуюся к проблеме стихийного и сознательного в развитии языка лингвистическую литературу [6].

О втором аргументе Л. Леонова уже высказались многие преподаватели и сама Комиссия. Считать, что действующие правила не нуждаются по крайней мере в логическом упорядочении и целесообразном упрощении формулировок, было бы, действительно, слишком нелепо. Ведь речь идет не о грамматической системе русского, старославянского или латинского языка, где «ни убавить, ни прибавить» ничего нельзя (но и ту можно лучше или хуже, более адекватно или менее последовательно описать). Да и сам Л. Леонов не против уточнений в орфографии, хотя и не совсем ясно, что он конкретно имеет в виду, если не только *мыш*, но и *заец* вызывают его безапелляционную иронию. Поразительно, что аргументацию в пользу отдельных предложений Комиссии даже не считается нужным разбирать, и читатель вынужден довольствоваться очищенным от обоснований пусть и небезынтересным приговором да требованием «чего-нибудь толкового в защиту» взамен не опровергаемых мотивировок. В самом деле, в статье Л. Леонова есть только один «лингвистический» аргумент («насчет *огурцов*: если вместо них вырастут *огурци*, то я не стану есть таких *огурцей*!»), но и тот преподносится как каламбур. Принимать его всерьез — значило бы приписать писателю убеждение в том, что, переведя, скажем, русский язык на латинскую графику, мы тем самым придали бы ему и латинскую грамматику. Ср. также *языки*, *пироги*, *стихи*.

*

Трудно представить все последствия введения отдельных новых правил, пока не подготовлен полностью проект общего Свода. Его также следовало бы опубликовать для всеобщего обсуждения, и можно надеяться, что оно позволит существенно улучшить многие из формулировок, устранит оставшиеся противоречия и придаст Своду наиболее доступную для усвоения и пользования окончательную форму. Сейчас хотелось бы высказаться по предварительным итогам работы Комиссии, руководствуясь стремлением к усовершенствованию проекта.

[6] См., например, работы Л. П. Якубинского, Е. Д. Поливанова, Г. О. Винокура, А. М. Пешковского и др.

Один из основных теоретических вопросов всякой реформы правописания — вопрос о допустимых пределах и общей целесообразности воздействия новых правил орфографии на нормы литературного произношения и грамматические нормы [7]. Именно это волнует оппонентов «Предложений» больше всего (в большей части конкретных опасений — напрасно). Между тем сама проблема влияния письма на произношение исследована очень недостаточно, и отвести серьезный упрек в слабой разработке основ языковой политики, теории языковой эволюции советские языковеды не могут [8]. Та наивность, лингвистическая неискушенность многих откликов на проект, о которой говорилось выше, имеет своими корнями реальное и все более ощутимое отставание языковедческой теории.

Воздействует ли правописание на развитие орфоэпических норм? В общей форме ответ на этот вопрос может быть только утвердительным. Так, очевидно, немалую роль в распространении варианта [кий] в окончаниях прилагательных [9] сыграла именно орфография. С другой стороны, традиционно «окающий» характер нашей орфографии как будто не вызвал никаких «окающих» тенденций в литературном произношении «акальщиков» от рождения. Примеры того и другого ряда можно умножить, но пока никто еще не пробовал объяснить их в системе. Опубликованным «Предложениям» тоже недостает последовательности в соотнесении аргументации новых правил (как правило, очень хорошо продуманной) с системой норм литературного произношения.

Что из новых предложений действительно, а не мнимо затрагивает или способно затронуть эти нормы?

В случаях типа *въехал*, *субъект* новые написания будут способствовать распространению в качестве нормативного «мягкого» варианта произношения, равноправного пока с твердым [10].

Отмена двойных согласных в иноязычных словах (кроме *ванна* и под.) только укрепит доминирующий вариант литературного произношения.

Жаль, что Комиссия не провела обследования того, как произносятся написания *нн* в прилагательных и в приставочных и бесприставочных причастиях. Без статистической обработки материалов о произношении трудно судить о реальной возможности более радикального упрощения соответствующих правил действующего Свода и о всех последствиях даже тех робких нововведений, которые есть в «Предложениях». В самом деле, как произносится *нн* в *стеклянный*? Насколько точными являются рифмы типа *кованый — рискованный*? Не надуманны ли правила, заставляющие нас различать на письме формы *организованы* и *организованны*? Можно ли утверждать, что произношение [н:] в суффиксах прилагательных и причастий зависит только от места ударения в слове при общей тенденции произносить простой согласный? [11] Или [н:] «приобретает в русском языке значение особой фонемы»? [12]

От ответов на эти вопросы зависит оценка двух новых предложений: I, 9 — «Упростить написание *н—нн* в причастиях» и I, 14_4 — «Писать

[7] См.: В. П. Григорьев, Культура языка и языковая политика, «Вопросы культуры речи», 4, М., 1963, стр. 19.

[8] Едва ли не единственная за последние годы работа в этой области (А. Пумпянский, О влиянии правописания на английское литературное произношение. Автореф. канд. диссерт., М., 1963) выполнена не на русском материале и в теоретическом отношении отнюдь не бесспорна.

[9] См.: Н. Д. Андреев, Об одном эксперименте в области русской орфоэпии, «Вопросы культуры речи», 4, стр. 49—52.

[10] В правиле I, 1 не оговорено, остаются ли неизменными написания с элементом *интер-* (*интеръекция* и под.).

[11] См.: «Грамматика русского языка», I, М, Изд-во АН СССР, 1952, стр. 71.

[12] Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, [Л.], 1960, стр. 129.

деревяный, оловяный, стекляный». Современное состояние наших знаний все же как будто позволяет с достаточной уверенностью предполагать, что написания типа *организованый и стекляный* не окажут нежелательных воздействий на литературное произношение [13]. Если согласиться с этим (отчетливо не высказанным, но явно подразумеваемым) убеждением авторов «Предложений», то следовало бы подумать и о более радикальном решении вопроса о *нн* в русском правописании: писать двойное *н* в прилагательных и существительных (кроме заимствованных) только на стыке корня и суффикса (*длинный, туманный, странник, пленник*). Во всех остальных случаях, а также — что особенно облегчает дело — во всех причастиях писать всегда одно *н*, независимо от наличия приставки (*израненый, революционый, безветреный, ветреница, деревяный* [14], *дисциплинированый, многочисленый, нокаутированый, брошеный, учрежденый, заплаканый, вяленый, желаный, нежданый, увереный, воспитаник, ставленик, девочка воспитана и умна).*

Если такое решение вопроса покажется чересчур радикальным, можно пойти по иному пути: допустить факультативные написания одного *н* во всех указанных разрядах слов. Наконец, возможна и экспансия *нн* за счет *н* [15]. Естественное возражение: любой из этих путей связан с очень частотными графемами — не должно нас смущать. Слишком велики произвол и непоследовательность действующих здесь правил, чтобы можно было говорить о прочных орфографических навыках в разграничении *н* и *нн*. Выигрыш же для школы от радикального упрощения именно этого раздела будущего Свода значительно больше, чем, например, от несомненно весьма желательного введения тоже достаточно частотных написаний *отци, птици* [16].

Соображения частотности остановили Комиссию перед чисто орфографическим чередованием *е — и* в глагольных корнях, чрезвычайно мучительным для школы. Ликвидировать или по крайней мере ограничить это чередование возможно, хотя и трудно. Едва ли в настоящее время стоит подливать масла в огонь, предлагая и здесь радикальное решение. Приходится только отметить, что критерием частотности Комиссия пользовалась непоследовательно, и пожалеть, что не была определена стратегия усовершенствования правил, что до сих пор не установлены (хотя бы приблизительно) его этапы, что и эта комиссия, как все предшествовавшие ей, работала без перспективного плана, без достаточно строгого представления об очередности необходимых и желательных изменений. На леоновский сарказм: «Это уже не первый заход по русскому правописанию. Интересно — последний или имеется в замысле еще что-нибудь?» — Комиссия пока едва ли в состоянии дать конструктивный ответ. Кто-то должен ответить на резонный вопрос о том, когда, наконец, мы будем писать окончание *-ого* как *-ово* и будем ли вообще когда-нибудь так писать.

В четырех случаях (правила I, 13 — *о Василие, линие, о здание*; II, 1 — *предыстория;* II, 2а — *неширокий* и *не широкий;* II, 2б — *за глаза, заглаза*) Комиссия допускает факультативные написания. В принципе вариантные орфограммы нежелательны, так как они «подрывают устои» жесткой и необходимой орфографической нормативности.

---

[13] Произношение типа [йу́н : ый] и другие аналогичные факты, по-видимому, не имеют нормативного будущего.

[14] А также *клюквяный, соломяный* (что устранило бы еще одно исключение, в § 25 действующих «Правил») и *одинадцать* (см. § 60).

[15] Во всяком случае в правиле I, 9 надо сделать ясной судьбу адъективированных причастий.

[16] И, разумеется, больше, чем от устранения ь в конце слова после шипящих (*ноч, хочеш, береч, еш, наотмаш*).

Однако в качестве продуманного лингвистического и методического эксперимента факультативные написания хочется поддержать.

Методисты или сами школьники легко заменят пенсионера-*цыгана*, который подходил на *цыпочках* к *цыпленку* и говорил *цыц*, каким-нибудь *неженатым* водителем *Василием*, который *в общем* вернулся *с линии в предынфарктном состоянии*. И все же увлекательными приключениями цыгана и Василия зачитываться опасно. Стоит попробовать как-то приструнить этих явно безыдейных авантюристов, знакомство с которыми бездумно веселит ребят, но беспокоит взрослых и обнаруживает «бессилие» языковедов. Ниже предлагается в качестве основы для обсуждения, проверки, уточнения и отладки алгоритм, касающийся проблемы правописания наречий[17].

«Предложно-падежные конструкции пишутся раздельно (*за минуту до смерти*, *в километре от города*). Наречия с приставками — слитно (*заранее*, *чересчур*, *отроду*). С течением времени первые могут превращаться во вторые. Чтобы узнать, не стала ли предложно-падежная конструкция наречием, необходимо поставить такие вопросы:

1. Не является ли в современном языке часть, следующая за предлогом (приставкой), падежной формой существительного, употребляющегося отдельно?

Если не является, это — наречие (*подспудом*, *вдоволь*, *воткрытую*, *порусски*, *вдвое*, *впятых*). Если является, то ставится второй вопрос.

2. Не имеет ли эта часть при себе пояснительных слов?

Если не имеет, это — наречие (*бежать безоглядки*, *устал досмерти*, *заглаза хватит*, *нажать доотказа*, *бросился наверх*, *смаху ударил*, *намиг задумался*, *стоять навытяжку*, *свалился подоткос*, *перейти реку вброд*, *раздаться вширь*; *заграницу*, *заграницей*, *иззаграницы*; *надом*, *надому*; *напамять*, *попамяти*; *исподмышек*; *бок обок*, *безгоду неделя*, *час отчасу*; *вовсеоружии*). Если имеет, это — предложно-падежная конструкция (*до смерти отца*, *на верх горы*, *за границей атмосферы*, *на исходе дня*, *на веки вечные*)».

Еще несколько замечаний.

О правописании частиц. Не лучше ли принять для всех частиц дефисное написание? Отделение словообразующих частиц *кое-*, *кой-*, *-либо*, *-нибудь* и, особенно, омонимичной *-то* создаст известные неудобства. Кроме того, разве эти частицы не «входят в состав целых слов», что специально оговаривается в самом предлагаемом правиле (I, 12)?

О правилах переносов (II, 4). Здесь не учитываются случаи, когда перенос совпадает с дефисом. Более существенным оказывается не очень необходимое в школе и в полиграфической практике обилие запрещений. Не следует ли формулировать в Своде правила переносов как рекомендации, а не категорические требования? Ведь степень неопределенности в подавляющем большинстве переносов и при слоговом принципе оказывается высокой. Отсутствие на письме обозначаемого ударения еще более увеличивает неопределенность произношения. Так стоит ли терроризировать школьников, и без того страдающих от методического педантизма? Тем более, что в типологии орфографии известны случаи относительно либерального подхода к переносам.

О правописании сложных прилагательных. Можно было бы все-таки предложить ориентировочное правило: все сложные прилагательные

[17] Соответствующие правила, предложенные Комиссией (II, 2б), явно недоработаны. Разряды слитных написаний сформированы по самым различным критериям. Правила трудны для запоминания и применения.

с соединительной гласной писать слитно, кроме трехкомпонентных и содержащих в своем составе «сложные аффиксы» (*литературно-художественный* и под.). Аргументы Комиссии против унификации не кажутся непреодолимыми. Частотность сложных прилагательных в общем языке невелика и новое правило не привело бы к сколько-нибудь существенным помехам при чтении. Разграничение сочетаний наречия с прилагательным от сложных прилагательных в основном производится терминологически, в конечном счете — путем обращения к словарям. Ссылку на другие славянские орфографии не следует переоценивать: она была бы вполне убедительной лишь в том случае, если бы мы питали какие-то надежды на стихийное слияние всех славянских языков в общеславянский литературный язык. Словосложение же и инкорпорация с точки зрения орфографии — явления типологические, а не генетические.

Приходится слышать и читать: надо ли менять орфографию? Каким будет эффект от реформы, выраженный в сэкономленных часах школьной программы? На усовершенствование нашего правописания толкает сама жизнь. Язык в школе изучают через орфографию. Непоследовательность, противоречивость, произвол отдельных разделов действующего Свода приводят к тому, что уроки русского языка насыщаются схоластической зубрежкой, заучиванием без понимания. Логика языка оказывается погребенной под орфографическим несовершенством, изобилием бессмысленных исключений. Реформы орфографии — это не только лингвистическое, но и педагогическое требование. Новый Свод даст необходимый толчок к обновлению методики преподавания русского языка, позволит покончить с «орфографическим террором», поможет ввести разумную иерархию ошибок, приведет к распространению и углублению лингвистических знаний — неотъемлемой составляющей в росте культуры советского общества.

Что необходимо сделать сейчас, на новом этапе работы Комиссии? Во-первых, определить общие перспективы усовершенствования русского правописания. Во-вторых, наметить иерархию возможных предложений. В-третьих, что особенно важно, предварить заключительный тур обсуждения опубликованием в газетах серии статей, подробно разъясняющих принципы и задачи нововведений в их системе. Само собой разумеется, что наряду с новой редакцией «Предложений» на всеобщее обсуждение должен быть вынесен и новый Свод орфографических правил. Чтобы не повторять ошибки первого тура дискуссии, внутренние материалы работы Комиссии следует сначала всесторонне обсудить в кругу специалистов и лишь затем, без излишней поспешности, обнародовать полностью согласованный текст документов. Такой нормальный порядок дискуссии, можно надеяться, восстановит содружество нашей публицистики и сатиры с наукой о языке.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. Н. ПРОКОПОВИЧ

ГЛАГОЛЬНО-МЕЖДОМЕТНЫЕ ФОРМЫ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX в.

В системе русского глагола особое место занимают формы типа *бац*, *бух*, *верть*, *прыг*, *стук*, *хлоп*. Хотя в определении этих форм нет единства, исследователи единодушно подчеркивали их глагольный характер, указывая при этом на способность таких образований (как и всех форм verbum finitum) выступать в предложении в роли сказуемого и управлять зависимыми словами (Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, В. В. Виноградов и др.)[1]. Однако такие формы, как *бац*, *бряк*, *стук*, *шлеп* и др., с одной стороны, и такие, как *верть*, *прыг*, *толк* и под., с другой, рассматривались в целом, без учета особенностей, присущих каждой из этих групп. Между тем формы первой группы могут употребляться как в роли сказуемого, т. е. в функции спрягаемого глагола, так и в роли междометия (звукоподражания), формы же второй группы употребляются только в роли сказуемого. В количественном отношении эти группы примерно одинаковы.

Первую группу составляют формы, преимущественно связанные с звукоподражательными основами. Таких форм в русском литературном языке XIX в. отмечается немного: *бац*, *бряк*, *бултых*, *бух*, *глядь*, *грох*, *ек*, *звяк*, *кап*, *ляп*, *пых*, *скрип*, *стук*, *топ*, *трах*, *хвать*, *хлоп*, *чик*, *чмок*, *щелк*, *шлеп*. Ср. их употребление в функции глагольного сказуемого и в качестве междометия:

«Вот и мальчишки; он *бац снегом* — мимо: сноровки нет» (Гончаров, Обломов) — «Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры,— как не так! ...Мой гренадер приложился... *бац*!... мимо,— только что порох на полке вспыхнул» (Лермонтов, Бэла); «Да сам опять *зубами скрип*, да еще трубку распечатал» (Лесков, Очарованный странник) — «Не успел он еще успокоиться, как слуху его сказался далекий шум шагов. Прислушивается— это не походка одинокого путника. *Скрип*, *скрип*, скоро, скоро и много, очень много — должна быть целая толпа» (Лажечников, Ледяной дом); «Все мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! Ууу...варвар! И *шлеп его по щеке*!» (Чехов, Клевета) — «Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и *ш-ш-ш-шлеп* — казак, ехавший несколько правее

---

[1] В последнее время А. В. Исаченко высказал точку зрения, согласно которой формы типа *бац*, *хлоп*, *трах* определяются как «сказуемостные междометия (звуковые жесты)», которые не имеют «никаких специфически глагольных морфологических показателей», «абсолютно атемпоральны и лишены каких бы то ни было „видовых" значений» («Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология», ч. II, Братислава, 1960, стр. 507—512). Эта точка зрения справедливо подверглась убедительной критике в статье А. А. Реформатского «Глагольные формы типа *хлоп*» (ИАН ОЛЯ, 1963, 2).

и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю» (Л. Толстой, Война и мир, I); «Ночью лиса, лежа под окном, *стук* в стену *хвостом* и чужим голосом говорит...» (Афанасьев, Народные русские сказки, Лисичка-сестричка) — «*Стук, стук, стук!* стучится она в избу к другому мужику» (там же, Лиса).

В первых примерах этих пар рассматриваемые образования выступают в качестве глагольных форм, сохраняя номинативность, выражая прошедшее время совершенного вида (ср. *бац* и вполне возможное в приводимом контексте *бацнул*) и сохраняя присущее глаголу управление (*бац снегом*). Во вторых примерах *бац, скрип, шлеп* и т. д. выступают в качестве междометий (звукоподражаний), лишены номинативности, не соотносительны с формами прошедшего времени совершенного вида, не имеют при себе зависимых слов. Следовательно, образования первой группы представляют собой омонимы.

Весьма любопытно при этом, что междометные образования (второй член омонимического ряда) разделяют в ряде случаев судьбу междометий вообще, субстантивируясь и выступая в предложении в роли подлежащего: «В зале раздаются *чмок, чмок, чмок...*» («Московский наблюдатель», 1837, май, кн. 2); «*Бац, бац, бац*,— раздалось в сенях, и голос умолк» (Слепцов, Трудное время).

Интересно также и то, что они могут выступать в особой синтаксической функции при глагольном сказуемом. Например: «(Репетилов) Сейчас... растолковать прошу, Как будто знал, сюда спешу, *Хвать*, об порог *задел* ногою, И растянулся во весь рост» (Грибоедов, Горе от ума); «Вон как в балетах: все танцует, танцует, найдет на такое место — вдруг *хлоп! пропал*» (Слепцов, Трудное время); «Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю *бац* — из Ливен *приезжает* старушка с небольшим мальчиком» (Лесков, Леди Макбет Мценского уезда); «И с этим словом хотела встать на ноги, да *трах — и просунулась*» (Лесков, Воительница). Здесь рассматриваемые образования употребляются при глаголе-сказуемом и лишены лексического значения [2].

Вторую группу составляют глагольные формы, как правило не связанные с звукоподражательными основами. Этих форм в русском литературном языке XIX в. также немного: *верть, дерг, кувырк, мах, морг, плюх, порх, прыг, свис, скок* [3], *толк, трях, тык, хап, хлысть, цап, шарк, шасть, шварк, шмыг, юрк*. В исследованном материале они отмечаются только в функции глагольного сказуемого, соотносительны с формами прошедшего времени совершенного вида и имеют свойственное глаголам управление: «А Волк Вдруг *скок К нему* тут *на полати*, Да вот его и проглотил...» (Крылов, Комар и волк); «Внучка лекарки прямо к себе на лестницу и в избу. *Шасть за нею* и Василий» (Лажечников, Ледяной дом); «...подъехали к Богородскому ночным временем, а мителица, вьюга поднялась... Мишутка сам после рассказывал: *свис раз, другой*, нет толку — ветром относит» (Писемский, Старая барыня);

---

[2] Ср.: Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 265. Следует заметить, однако, что необходимо отграничивать подобные образования от глагольных форм *бац, трах* и др. Ср. также: А. И. Германович, Глаголы типа «толк», «шасть», «Изв. Крымск. пед. ин-та им. М. В. Фрунзе», XIV. Кафедра русск. яз., Симферополь, 1949; Р. Д. Швец, Грамматическая характеристика глагольно-междометных форм в современном русском и украинском языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1954.

[3] Среди рассматриваемых бесприставочных глагольных форм интересно приставочное образование *вскок*, отмеченное в «Нравоучительных баснях и сказках» В. Майкова (XVIII в.): «По счастью сена стог стоит завеян снегом; Хоть он поставлен был высок, Однако же медведь с разбегу *вскок*...» («Медведь и волки»).

«...он крепится, крепится, наконец, не вытерпит, и вдруг, без картуза, зимой, *прыг с к р ы л ь ц а* на двор...» (Гончаров, Обломов); «А это же что? Не гребенка?» — говорят, да *тык м е н я* в нос *г р е б е н к о й*» (Чехов, Интеллигентное бревно).

Отличаясь друг от друга возможностью иметь омонимичные междометные образования, глагольно-междометные формы обеих групп характеризуются наличием общих для них глагольных признаков. Прежде всего это довольно частые повторы при употреблении этих форм (чаще они отмечаются для форм второй группы, несколько реже — для первой): «И знай: едва весна вернется И заиграет жизнь в лесах,— Щур отряхнется, встрепенется И в гости к соловью *мах — мах*! (Тургенев, Из письма А. А. Фету от 18 II 1869); «Наконец, встал (заяц.— *Е. И.*), *прыг — прыг* к двери, на пороге оглянулся — да и был таков!» (Тургенев, Живые мощи); «...а она это *дерг — дерг* себя за губенку — то, и хочет, вижу, что-то сказать...» (Лесков, Воительница); «Питался больше рыбою, Сидит на речке с удочкой Да сам себя то по носу, То по лбу — *бац* да *бац*!» (Некрасов, Кому на Руси жить хорошо); «Англичане левшу сейчас *хлоп — хлоп* по плечу и как равного себе — за руки» (Лесков, Левша); «...лошадь-то бежит — трюк, трюк, а топор-то ей по спине — *стук — стук*; вот стукал, стукал, да и отсек ей зад» (Афанасьев, Народные русские сказки, Не любо — не слушай). Ср. также образование *цап-царап*: «Так иногда лукавый кот, Жеманный баловень служанки, За мышью крадется с лежанки... Разинет когти хитрых лап И вдруг бедняжку *цап-царап*» (Пушкин, Граф Нулин).

Таким образом, рассмотренные глагольно-междометные формы входят в систему современного русского глагола, хотя и обладают известными особенностями (усеченная форма, отсутствие форм словоизменения). Их особое место в ней является результатом исторического развития видо-временных отношений. Они соотносительны с формами прошедшего времени совершенного вида на *-л*, отличаясь от них особым модальным значением и яркой экспрессивной окрашенностью. Кроме того, самый факт наличия *в кругу глагольно-междометных форм примерно половины таких, которые* не имеют омонимов в среде междометных образований, служит доказательством глагольности рассматриваемых форм [4].

По свидетельству исследователей (А. А. Потебня, В. В. Виноградов), глагольно-междометные формы присущи преимущественно народно-разговорной речи, чрезвычайно богатой различными модальными значениями и оттенками и разнообразными экспрессивными наслоениями. Проникая в русский литературный язык и прежде всего в язык художественной литературы, они приносят с собой характерную для них в живой разговорной речи яркую модальность. В рассматриваемых формах обеих групп наряду с присущим всем спрягаемым формам глагола значением действия, происходящего в действительности (изъявительное наклонение), выражается модальное значение полной неподготовленности, неожиданности, мгновенности действия. Это отличает рассматриваемые формы от соотносительных глагольных форм прошедшего времени совершенного вида. Ср.: *Он п р ы г н у л на лошадь* и «...он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, *прыг* сзади

[4] См. показательное в этом отношении замечание А. А. Потебни: «...морг! прыг! дрыг! — отглагольны по значению; по крайней мере, невозможно предположить, чтобы такие глаголы как моргать, прыгать произошли от морг! прыг!» («Из записок по русской грамматике», IV, М.— Л., 1941, стр. 189). А. А. Шахматов усматривал генетическую связь рассматриваемых форм с древнерусским аористом; другие исследователи (в частности, Б. Дельбрюк, в наше время — Л. А. Булаховский) возводили их к формам повелительного наклонения.

его на лошадь...» (Лермонтов, Бэла); *Он чмокнул дядю в лоб* и «Вдруг из-за перегородки выскакивает мамзелька в платье, ловкая такая, собой красивая, и прямо *чмок* дядю в лоб» (Писемский, Питерщик).

Модальность, эмоциональная окрашенность и связанное с этим своеобразие стилистического употребления рассматриваемых форм способствует сохранению их в литературном языке.

*

На протяжении XIX в. глагольно-междометные формы постепенно становятся принадлежностью языка русской художественной литературы, входят в круг его стилистических средств. Основы для такого их использования заложены в предшествующие эпохи и, в частности, в XVIII в. Уже в этот период наблюдается известная ограниченность сферы их употребления. Так, рассматриваемые формы представлены в «Сказках» А. А. Аблесимова, в сатирической поэме В. А. Майкова «Елисей или раздраженный вакх», а также в его «Нравоучительных баснях и сказках», в «Собрании разных песен» М. Д. Чулкова, в баснях И. И. Дмитриева и других произведениях того времени, тесно связанных по языку и стилю с устным народным творчеством, а также с народно-разговорным языком.

А между тем, в комедиях Д. И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль», ярко отражающих народно-разговорную речь, глагольно-междометные формы не использованы. Единичны они в комедиях Я. Б. Княжнина. Лишь одна глагольно-междометная форма отмечена в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: «...офицер бежит уже к наместнику... и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как *шасть* курьер в двери...» («Спасская полесть»). Примечательно, что эта форма употреблена в речи рассказчика. Отмеченные факты свидетельствуют о неравномерности стилистического использования глагольно-междометных форм в русской художественной литературе XVIII в.

Обращает на себя внимание довольно широкое употребление рассматриваемых форм в мемуарной литературе того времени, а именно в «Записках» А. Т. Болотова. Здесь отмечен ряд именно таких основ глагольно-междометных форм, которые впоследствии (в русском литературном языке XIX в.) были или чрезвычайно редки, или же вовсе не употребительны: «Итак, не долго думая, *ров*-таки я, что было мочи, и сорвала тем со стены всю полку...» (XIV, п. 145); «Я таки не долго думая, вскочила и накинув на себя платьишко, *черк* к церкви...» (там же); «...что ж я сделал? ...таки не долго думая, *сиг* из кареты в опущенное с моей стороны окно, и дай бог ноги!» (I, п. 9). Все эти формы, как видно из контекста, использованы в речи того или иного рассказчика, которым является, кстати, и сам автор рассматриваемых «Записок».

Основы глагольно-междометных форм такого типа в других произведениях русской литературы XVIII в., по нашим наблюдениям, единичны: «Он руку *сов* в карман...» (Аблесимов, Сказка XII); «Рыбак лишь кинул в омут уду, Тут щука приплыла, и уду *трях*...» (Майков, Рыбак и щука); «С последним словом прыг на шею И *чок* два раза в лоб, примолвя: „Как ты мил!“» (Дмитриев, Модная жена).

Употребление глагольно-междометных форм в русском литературном языке XIX в. нельзя назвать широким. Об этом свидетельствует довольно ограниченный круг основ, а также и то, что сферой их употребления, по нашим наблюдениям, в основном является художественная литература. Здесь, в свою очередь, можно наметить несколько тесно друг с другом связанных и постоянно взаимодействующих линий их использования.

Употребляясь в произведениях устного народного творчества, глагольно-междометные формы соответственно представлены и в жанрах художественной литературы, примыкающих к фольклору: в сказках, баснях. Они используются в «Сказках» А. С. Пушкина: «Вдруг слышу крик и конский топ... Подъехали к крылечку. Я поскорее дверью *хлоп* И спряталась за печку» («Жених»)[5]; «И к царевне наливное, Молодое, золотое, Прямо яблочко летит. Пес как прыгнет, завизжит... Но царевна в обе руки *хвать* — поймала» («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»). Ср. их в сказках А. Н. Афанасьева: «Лиса распустила лапы, а петух *порх* на дубок» («Лиса и петух»); «Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, *хвать* — дверь на крючке» («Конь, скатерть и рожок»).

Глагольно-междометные формы использует в своих баснях И. А. Крылов: «„Еще левей возьми, еще левее шаг!“ И — *бух* Осел, и с Филином в овраг» («Филин и Осел»); «Тут Рыцарь *прыг* в седло и бросил повода...» («Рыцарь»).

Вторая линия проявляется в употреблении рассматриваемых форм в произведениях тех писателей, которые сознательно сближали литературную речь с народно-разговорной речью своего времени. Наиболее ярко это заметно в творчестве Н. В. Гоголя, который создает «небывалый, неслыханный по естественности язык»[6]. Ср. в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и *брясь* по полу — лапа с железными когтями отскочила...» («Майская ночь или утопленница»); «Схватил топор и изрубил ее в куски; *глядь* — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка» («Сорочинская ярмарка»).

Уже в творчестве Н. В. Гоголя вторая линия использования рассматриваемых форм переплетается не только с первой, но и с третьей, последующей линией, раскрывающей особенности их употребления в произведениях художественной литературы, связанных с формой сказа. В «Вечерах» Н. В. Гоголь вводит образ рассказчика[7] — издателя повестей, пасичника Рудого Панька, который в предисловии к первой части знакомит читателей с другим рассказчиком — дьяком Фомой Григорьевичем; в былях, рассказанных им, довольно много глагольно-междометных форм: «Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? *Глядь* — краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется» («Вечер накануне Ивана Купала»); «У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, *хвать* королей по усам всех козырями» («Пропавшая грамота»); «Гром пошел по пеклу; на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись шапка — *бух* деду прямехонько в лицо» (там же).

С особенностями употребления глагольно-междометных форм у Н. В. Гоголя можно поставить в связь их использование в творчестве Н. А. Некрасова, все произведения которого, как известно, тесно связаны по языку и стилю с устным народным творчеством. Особенно показательна в этом отношении поэма «Кому на Руси жить хорошо»: «Постойте! я вас выручу! Вдруг объявила бойкая Бурмистрова кума, И побежала к барину; *Бух* в ноги: „Красно солнышко! Прости, не погуби“!» (ч. 2, III); «Сижу я — так рассказывал Сынок мой — на пригорочке, Откуда ни возьмись Волчица преогромная И *хвать* овечку Марьину!» (ч. 3, V); «Филипп Ильич прогневался, Пождал, пока поставила Корчагу на шесток, Да *хлоп*

[5] По свидетельству Б. В. Томашевского, сказка «Жених» написана балладной строфой в характерном русском народном стиле.

[6] В. Стасов, Училище правоведения сорок лет тому назад, «Русская старина», XXX, январь, 1881, стр. 414—415.

[7] Об особенностях образа рассказчика в «Вечерах» Н. В. Гоголя см. в книге В. В. Виноградова «Этюды о стиле Гоголя», Л., 1926.

меня в висок!» (ч. 3, II); «Мужик какой-то крохотный Ходил, ободья пробовал... А обод как распрямится — *Щелк* по лбу мужика!» (ч. 1, II). Как видно, глагольно-междометные формы используются в речи рассказчицы (2 и 3 примеры), а также в авторской речи (1 и 4 примеры).

Третья линия связана с утверждением в русской реалистической литературе формы сказа. В XIX в. сказ, по своему происхождению связанный с устным народным творчеством, получает широкое распространение. Возникает образ рассказчика — основного действующего лица сказа. С течением времени образ рассказчика укрепляется и в то же время несколько усложняется, соотносясь в ряде случаев в большей или меньшей степени с образом автора[8]. В зависимости от этого возникает различие в формах сказа в разных произведениях и у различных писателей.

Наблюдения показали, что сказ в своем постепенном развитии оказал определенное влияние на употребление глагольно-междометных форм. В этом отношении характерен, например, ряд произведений И. С. Тургенева и Н. С. Лескова. В каждой из повестей И. С. Тургенева, составивших цикл «Записки охотника», автор-рассказчик, повествуя о происходящих с ним событиях, встречах, как правило, включает в это повествование рассказы описываемых им героев. Эти рассказы представляют собой, таким образом, своеобразные вставные новеллы в форме сказа, широко отражающие живую разговорную речь. В них среди других форм и конструкций известное место принадлежит и рассматриваемым глагольно-междометным формам.

Например: «Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без докладу ко мне в кабинет,— и *бух* мне в ноги...» («Ермолай и мельничиха», рассказ помещика Зверкова); «И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина... И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг *вертъ* — да прямо ко мне» («Живые мощи», рассказ Лукерьи).

В повести «Стучит!», в которой нет вставных новелл в форме сказа, рассматриваемые формы входят в речь автора-рассказчика.

Подлинный мастер сказа Н. С. Лесков, который «писал не пластически, а рассказывал...»[9], создал своеобразный образ автора-рассказчика: то наблюдателя и слушателя со стороны других рассказчиков — действующих лиц («Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Полунощники» и др.), то активного участника описываемых событий и собеседника своих героев («Воительница» и др.). Используя языковые средства для создания образа рассказчика, Н. С. Лесков привлекает и глагольно-междометные формы: «...только что я достал кошелек, а мещанин *цап* его, да и швырнул за перегородку» («Овцебык»); «На ту пору барыня со свечкой и *хлоп* в детскую» («Житие одной бабы»); «Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и *хвать* молодца за ноги» («Леди Макбет Мценского уезда»); «А она сквозь слез улыбается и частит: — Ни-ни-ни: это он, а я особая,— да с этим словом *порх* за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную» («Запечатленный ангел»); «Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку,— *юрк* под одеяльце...» («Тупейный художник»); «Я как про часы услыхал — весь возгорелся: скорее у дяди руку *чмок*, надел на себя гостиное платье и готов» («Грабеж»); «Но только что мы к нему передом оборотились,— он как пригнется, бездельник, да как кот между нас *шарк*!» (там же).

---

[8] Подробно см. об этом в книге В. В. Виноградова «О языке художественной литературы», М., 1959, стр. 122—123.

[9] М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи, М., 1941, стр. 92.

Наиболее широко Н. С. Лесков использует глагольно-междометные формы в очерке «Воительница» (25 случаев употребления). Наряду с другими языковыми средствами они создают колоритный образ рассказчицы — петербургской сводницы Домны Платоновны. Необыкновенная живость изложения, яркая эмоциональная окрашенность, характерные для ее рассказов, во многом обязаны рассматриваемым формам. Например: «А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол *кап-кап*, как гороховины. С радости или с горя — никак не разберу, с чего эти слезы»; «Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается. „Не троньте!“ — говорит, и *хап* ее в руку»; «„А вот, — говорю,— милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулок направо...“ — да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он *дерг* меня за саквояж. „Наше,— говорит,— вам сорок одно да кланяться холодно“ — да и *мах* от меня»; «Наш это, что с ружьем-то ехал, *бац* из одного ружья — пистолет лопнул, а стрельбы нет, *бац* из другого — пистолет опять лопнул, а стрельбы нет. Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом *хап* меня под руки-то из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить».

С «Воительницей», относящейся к раннему периоду творчества писателя (1866), интересно сравнить более поздний рассказ «Полунощники» (1890), где в речи рассказчицы глагольно-междометные формы употребляются ничтожно малое число раз (всего лишь три случая). Здесь мы сталкиваемся с одним из случаев неравномерного использования стилистических средств в разных произведениях одного писателя, что, видимо, связано с эволюцией его индивидуального слога.

Три линии использования глагольно-междометных форм свидетельствуют о том, что основной сферой их употребления в XIX в. была художественная литература. Характерные прежде всего для живой разговорной речи, они и здесь сохраняют свойственную им яркую модальность и эмоциональную окрашенность. Именно это и делает возможным их широкое стилистическое использование и вводит в круг изобразительных средств языка художественной литературы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

М. М. МАКОВСКИЙ

ПУТИ АНАЛИЗА ЛЕКСИЧЕСКИХ РЕЛИКТОВ И ИННОВАЦИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ИЗОГЛОСС

(На материале германских языков)

1. Бурное развитие лингвистической географии в последние десятилетия, ставшее возможным главным образом в результате широкого внедрения принципа сплошного сбора и сопоставления материала в различных пунктах исследуемой языковой территории[1], а также благодаря использованию топонимических и статистических данных[2] и новых (в частности, структурных) методов анализа[3], позволяет приблизиться к решению тех извечных лингвогеографических «загадок», которые в наши дни столь же актуальны, как и в период зарождения ареальной лингвистики. Мы имеем в виду такие «белые пятна» ареальной лингвистики, как отделение «своих» от заимствованных элементов и от реликтовых лексических образований и установление непротиворечивых лексических изоглосс между диалектами одного языка или различных родственных языков, интерпретация исторического соотношения лексических пластов и их компонентов в отдельных пунктах изучаемой языковой области и их отделение от более поздних лексических напластований[4].

Теоретические работы, специально посвященные рассмотрению лингвистической сущности и особенностей понятия реликта, практически отсутствуют. Между тем, с проблемой лексических реликтов приходится сталкиваться всякий раз, когда устанавливаются изоглоссы отдельных лексем или интерпретируется лингвистический статус ареально ограниченных вокабул. В большинстве исследований обычно считается, что реликтовость той или иной лексемы находится в прямой зависимости от широты

---

[1] Анализ методики и методологии установления изоглосс см.: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.— Л., 1956, стр. 114 и сл. (см. особенно § 2, стр. 118); ср. также В. М. Жирмунский, О племенных диалектах древних германцев, сб. «Вопросы германского языкознания», М.— Л., 1961; S. G. W. van der Meer, Interpretatie van isoglosse. Bijdrage tot de methodik van het middeleews dialectonderzoek, «Handelingen van het XXII Nederlands philologencongress», Groningen, 1952.

[2] Ср., в частности, следующие важные в теоретическом отношении работы: H. Karlgren, Die Tragweite lexikalischer Statistik, «Språkvetenskapliga sällskapets i Upsala förhandlingar», 1958—1960; L. Papp, Application de la statistique linguistique aux recherches de dialectologie historique, Budapest, 1962; F. de Tollenaere, Nieuwe wege in de lexicologie, Amsterdam, 1963.

[3] Этот принцип реализуется весьма односторонне — в основном в плане фонологии и частично грамматики. См., например: U. Weinreich, Is a structural dialectology possible?, «Word», X, 2—3, 1954; R. P. Stockwell, Structural dialectology: a proposal, «American speech», 34, 1959; E. Stankiewicz, On discreteness and continuity in structural dialectology, «Word», XIII, 1, 1959; G. Francescato, Dialect borders and linguistic systems, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists», Cambridge (Mass.), 1962.

[4] О возможности использования лексики в ареальных исследованиях см.: Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М., 1964, стр. 17—25.

или узости языковой территории (ареала), которой присуща эта лексема; при этом не учитываются возможные инновации и смещения диалектных границ.

Одним из первых вопрос об ареальной дифференциации лексики в пределах германской языковой области поставил Х. Циммер. Опираясь только на материал древних письменных памятников и никак не соотнося его с данными дальнейшего диалектного развития лексики германских языков, Х. Циммер не учитывал того факта, что распределение лексем в древних памятниках объясняется не обязательно той или иной их диалектной принадлежностью, но в ряде случаев может обусловливаться чисто текстологическими моментами (история переписки текстов, эмендации и т. д.)[5]. Отсутствие тех или иных лексем в памятниках еще не говорит о том, что они были чужды им и особенно тем языковым ареалам, откуда происходят эти памятники[6]. К тому же подбор примеров у Х. Циммера, отличающийся произвольностью и непоследовательностью, не отражает реальной картины распределения лексем в различных древних германских языках (так, например, к исключительно восточногерманским причисляются такие слова, как гот. *wahstus*, *sniumundo*, *aukan*, *faihufriks* и др., которые, как известно, находят параллели в древнеанглийских языковых памятниках).

В свете так называемой бургундской гипотезы Л. Тоблера на основе совпадений словаря некоторых частей Швейцарии (Валлис, Граубюнден, Пьемонт, Форарлберг, частично Берн) со словарными единицами нижненемецкого и скандинавского ареалов делался вывод о наличии в изучаемых алеманских областях нижненемецкого (по Л. Тоблеру — бургундского) суперстрата и предполагалась этническая близость населения нижненемецких и некоторых верхненемецких земель[7]. «Бургундская теория» Л. Тоблера, подвергшаяся вскоре после ее появления резкой критике со стороны его ученика А. Бахмана, вызывает возражения и в плане интересующей нас проблемы. В работе Л. Тоблера не доказано, в частности, что рассматриваемая им лексика является исконно нижненемецкой, что на нижненемецкой языковой территории она не была реликтом некогда общенемецких слов или, наоборот, не возникла в результате инноваций, проникших в нижненемецкую область из других немецких ареалов[8]. Ex silentio нельзя доказать, как это делает Л. Тоблер, что отсутствие рассматриваемых слов в других немецких областях было лингвистически значимым. При этом Л. Тоблер исходит из определенного конечного (синхронного) языкового состояния вне связи его со всей дальнейшей или предшествующей историей языка. Вполне понятно поэтому, что его выводы весьма произвольны и не вытекают из образцово подобранного им обширного и интересного материала[9].

---

[5] См.: H. Z i m m e r, Ostgermanisch und Westgermanisch, ZfdA, XIX, 1876.

[6] Ср., например: G. L. B r o o k, The relation between the textual and the linguistic study of Old English, сб. «The Anglo-Saxons», London, 1959; H. M i c h i e l s, Über englische Bestandteile altdeutscher Glossenhandschriften, Bonn, 1912; C. L e y d e c k e r, Über Beziehungen zwischen ahd. und ags. Glossen, Bonn, 1911.

[7] См.: L. T o b l e r, Die lexikalischen Unterschiede der deutschen Dialekte mit besonderer Rücksicht auf die Schweiz, «Festschrift zur Begrüssung der XXXIX Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner», Zürich, 1887; см. также: «Jahrbuch für schweizerische Geschichte», XII, стр. 185—210.

[8] Ср. в связи с этим вопросом работу: T. V a l t a v u o, Der Wandel des Worträume in der Synonymik für *Hügel*, «Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki», XX, 1959; ср. также: F. K a u f m a n n, Zur Frage nach der Altersbestimmung der Dialektgrenzen, ZfdPh, XXXIX, 1907.

[9] Большинство последующих исследователей в этой области — С. Зингер, Ф. Маурер, частично Э. Кольб — пользовались в основном фактическим материалом, приводимым у Л. Тоблера. См., например: F. M a u r e r, Nordgermanen und Aleman-

Через 37 лет после работы Л. Тоблера С. Зингер сделал попытку показать, что многие из слов, приводимых Л. Тоблером в качестве ареально ограниченных, некогда были распространены на большей части немецкой территории, т. е., по мнению С. Зингера, являются реликтами (он устанавливает определенные «Randgebiete»)[10]. Хотя работе С. Зингера присущи в основном все недостатки исследования Л. Тоблера, он, в отличие от последнего, специально подчеркивает, что наличие сходных лексических явлений в пограничных районах само по себе не дает права делать какие-либо выводы об этнической близости народов, населяющих эти районы. Такие выводы, несмотря на резкую критику в отношении подобных же построений Ф. Маурера[11], в совсем недавнее время были снова повторены Э. Кольбом в специальной монографии «Алеманско-северогерманская лексика». Даже если исходить из применяемого Э. Кольбом метода территориальной представленности лексем, произвольность его выводов видна уже из того материала, который он приводит для подтверждения своего тезиса: рассматриваемые Э. Кольбом слова нередко встречаются на большей части германской языковой территории. Пытаясь избежать очевидных противоречий, Э. Кольб нередко либо вовсе не дает английские или нижненемецкие соответствия разбираемых им слов [ср., например, *Nuele* (стр. 126), *Imen* (стр. 134), *sulchen* (стр. 139) и др.], либо толкует языковые факты в выгодном для его концепции плане [в частности, объявляет все английские соответствия «алеманско-скандинавских» слов заимствованиями из скандинавского, не доказывая этого в отношении конкретных слов (см. стр. 12—13), дает произвольное этимологические и звуковое объяснение нижненемецких параллелей к «алеманско-скандинавским» словам с целью отделения первых от этих последних (см., например, стр. 23—26: *nuefer*)].

Ареальные методы изучения лексических реликтов широко применяются и в других исследованиях, в том числе — в работах известного диалектографа, автора «Словаря рейнских диалектов» И. Мюллера и швейцарского лингвиста М. Шадровского[12]. Именно на отсутствии или наличии того или иного языкового элемента в диалектах строят свою теорию реликтов (уделяя преимущественное внимание их фонологической структуре) представители так называемой венской диалектологической школы (Э. Кранцмайер, Ф. Ройтингер, М. Хорнунг и др.)[13]. Показательно, что этот метод применяется как для обоснования нереликтового характера лексики (Э. Кольб), так и для опровержения этого, т. е. для доказательства существования в рассматриваемых случаях реликтовых образований (С. Зингер, Г.-Фр. Розенфельд).

---

nen, Strassburg, 1942, стр. 89 (в последующих изданиях своей книги Ф. Маурер после критики Г.-Фр. Розенфельда снял алеманско-скандинавские лексические соответствия); E. K o l b, Alemannisch-nordgermanisches Wortgut, Frauenfeld, 1956.

[10] См.: S. S i n g e r, Verlorene Worte, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», Jg. 19, 1924, стр. 225 и сл.

[11] См.: H.-Fr. R o s e n f e l d, Zu den alemannisch-nordgermanischen Wortgleichungen, «Neuphilologische Mitteilungen», LI, 3—4, 1950.

[12] Ср.: J. M ü l l e r, Restworte und ihre Probleme, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», I, 1921; M. S z a d r o w s k y, Nordische und alemannische Wortspanen, «Beiträge zur Sprachwissenschaft und Volkskunde. Festschrift E. Ochs», Lahr, 1951.

[13] Ср.: E. K r a n z m a y e r, Historische Lautgeographie der gesamtbairischen Dialektraumes, Wien, 1956; е г о ж е, Die Sprachaltertümer in den Mundarten der Tiroler Hochtäler, «Zeitschrift für Mundartforschung», XXVII, 1961; е г о ж е, Die bairischen Kennwörter und ihre Geschichte, Wien, 1960; M. H o r n u n g, Mhd. *trôr* als mittelbairisches Reliktwort für «Honigtau», «Zeitschrift für Mundartforschung», XXVII, 4, 1961; F. R o i t i n g e r, Ein sterbendes Wort des Bairisch-Österreichischen, там же, XXIII, 3, 1955.

2. При анализе лексики в древнеанглийских языковых памятниках обращает на себя внимание то обстоятельство, что для обозначения определенных понятий в разных памятниках используются разные лексемы. Встречаются также лексемы, вообще распространенные в древнеанглийской литературе, но в части памятников используемые с особым значением. Лексемами, типичными исключительно для «северной» группы памятников [The Lindisfarne gospels; The Rushworth gospels (R_1 и R_2); Bede's Ecclesiastical history of the English people; The Vespasian Psalter and hymns; Ritual Dunelmensis и др.], являются, например, следующие: *beran* «бить»; *bilwit* «простой, добродушный»; *cwiðan* «lamentare»; *edwitan* «ругать»; *elnung* «zelus»; *feolan* «прятать» (а также *falo* «трубка, полое пространство»); *feorh* «душа, жизнь»; *gedd*, *geddung* «проповедь, длинная речь»; *glendran* «жадно глотать»; *hreof* «страдающий проказой»; *lybb* «снадобье»; *scearn* «навоз»; *sweor* «колонна»; *ysel* «искра» и др. (список 1). Словами, встречающимися только в глоссах (изданных Т. Райтом и Р. Вюлкером, А. Напиром, Боутервеком и др.), являются, например, следующие: *gēap* «кривой, согнутый»; *heorÞa* «кожа»; *hramsa* «дикий лук»; *hrum* «грязь»; *hun* «передняя часть корабля или экипажа» (*hunÞyrel*); *lenctimæ* «весна»; *reost* «режущая часть плуга», *scia* «crus» и др. (список 2)[14].

Сами по себе такие случаи, естественно, еще ни о чем не говорят. Однако картина резко меняется при диахроническом «развертывании» приведенных списков в пределах английской и остальной германской языковой территории. Оказывается, что оба лексических ряда в своей совокупности, комплексно представлены (за единичными исключениями), с одной стороны, только в современных северных английских диалектах

---

[14] Среди других нами были использованы следующие лексикографические работы (отсутствие в приводимых нами лексических рядах ссылки на тот или иной словарь означает, что в данном словаре изучаемое слово не приводится). Для английского языка: J. Bosworth, T. N. Toller, An Anglo-Saxon dictionary, Oxford, I—II, 1956; C. W. M. Grein, Sprachschatz der angelsächsischen Dichter, neu hrsg. von J. J. Köhler, Heidelberg, 1912; H. Kurath, S. M. Kuhn, Middle English dictionary, Ann Arbor, 1952 и сл.; W. A. C. Craigie, A dictionary of the older Scottish tongue, Chicago, 1931; J. Wright, The English dialect dictionary, I—VI, London, 1896—1905 (сокр. EDD); W. Grant, The Scottish national dictionary, Edinburgh, 1931 и сл.; для немецких диалектов: A. Birlinger, Schwäbisch-augsburgisches Wörterbuch, München, 1864; P. Christa, Wörterbuch der Trierer Mundart, I—II, H onnef a. Rhein, 1927; H. Fischer, W. Pfleiderer, Schwäbisches Wörterbuch, I—VI, Tübingen, 1904—1936; M. Lexer, Kärntisches Wörterbuch, Leipzig, 1862; E. Martin, H. Lienhart, Wörterbuch der elsässischen Mundarten, I—II, Strassburg, 1899—1907; J. Müller, Rheinisches Wörterbuch, Bonn — Berlin,1928 и сл.; K. Müller-Fraureuth, Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten, I—II, Dresden, 1914; E. Ochs, Badisches Wörterbuch, Lahr, 1925 и сл.; J. A. Schmeller, G. K. Frommann, Bayerisches Wörterbuch, München, 1872—1877; F. J. Stalder, Versuch eines schweizerischen Idiotikon, I— Basel, 1806; II— Aarau — 1812; «Schweizerisches Idiotikon», begrundet von F. Staub und L. Tobler, Frauenfeld, 1881—1961; Ø. Mensing, Schleswig-holsteinischen Wörterbuch, Neumünster, 1929—1943; R. Wossidlo, H. Teuchert, Mecklenburgisches Wörterbuch, Neumünster, 1937 и сл.; M. F. Follmann, Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten, Leipzig, 1909; W. Jungandreas, Niedersächsisches Wörterbuch, Neumünster, 1953 и сл.; F. Hoffmann, Niederhessisches Wörterbuch, Marburg, 1926; H. Böning, Plattdeutsches Wörterbuch für das Oldenburger Land, Oldenburg, 1941; W. Mitzka, Deutscher Wortatlas, I—XI, Giessen, 1955—1961; «Deutsche Wortforschung in europäischen Bezüge», Giessen, I — 1958; II — 1962; для диалектов скандинавских языков: W. F. K. Christie, Norsk dialektlexicon, «Bergens museums årbok», Historisk-antikvarisk rekke, I, 1937; H. Vendell, Ordbok över de östsvenska dialekterna, Helsingfors, 1904—1907; J. Kalén, Ordbok övér Fageredsmålet, Göteborg, 1923; P. N. Peterson, Ordbok över Valldamålet, Lund, 1946; J. Jørgensen, Lollandsk ordbog, København, 1943; J. C. S. Espersen, Bornholmsk ordbog, København, 1908; R. Cleasby, G. Vigfusson, An Icelandic-English dictionary, Oxford, 1874.

(Йоркшир, Дарбишир, Нортумберленд, Линколншир и т. д.), а с другой стороны, только в эрминонском (южнонемецком) языковом ареале[15].

Приводим соответствия для слов первого списка: сев.-англ. диалектн. *to berry* «to beat» (EDD, I, стр. 246), швабск. *beren* «schlagen» (Fischer, I, стр. 864), швейц. *beren* «schlagen» (Id., IV, стр. 1459); *bilewit* «простой» (OED, s. v.), баварск. *Bilwez*, *Bilbez* (Schmeller, I, стр. 230); *wite* «ругать» (EDD, IV, стр. 522), баварск. *Weiz*, *Iteweiz* «ругань»; эльзасск. *queisen* «wimmern, winseln» (Martin-Lienhart, 2, стр. 212); швейц. *ölen* «necken» (Id, I, стр. 181); *to feal* «to hide» (EDD, II, стр. 314), баварск. *Fälboden* «Zwischenboden», *Fälrippe* «Fleisch zwischen zwei Rippen» (Schmeller, I, стр. 703); *feerie* «clever, active, nimble», *fere* «strong, healthy» (EDD, II, стр. 324, 335), баварск. *Ferch* (Schmeller, I, стр. 751), швабск. *Ferch* (Fischer, II, стр. 1090) «Mark, Leib und Leben»; *yed* «a fib» (EDD, VI, стр. 574), швабск. *geuden* «prahlen» (Fischer, III, стр. 581), швейц. *geuden* (Id., II, стр. 125); швейц. *Glander* «Gier» (Id., II, стр. 631); *reef* «cutaneous eruption, the itch, the mange» (EDD, V, стр. 76), нем. диалектн. (сев. и южн.) *Reff* «Schimpfwort» (Id., VI, стр. 646; Fischer, V, стр. 233); сев.-англ. диалектн. *lib* (EDD, III, s. v.), швейц. *luppen* «castrare» (Id., III, стр. 996, 1353), баварск. *Lupp* (Schmeller, I, стр. 1312); *sharn* «навоз» (EDD, V, стр. 359), швейц. *Schoren* (Id., II, стр. 682), эльзасск. *Schorn* (Martin-Lienhart, I, стр. 266); *swire* (EDD, V, стр. 889), швейц. *Schwiren* (Id., VI, стр. 638); *easle*, *izle* «искра» (EDD, III, стр. 334), швабск. *Usel* (Fischer, VI, стр. 312), тирольск. *Üssel* (Schöpf, Tirolische Idiotikon, стр. 786).

Ср. соответствия для слов второго списка: *gowpen* «the hollow of the hand» (EDD, II, стр. 579, 698), швейц. *Gauf* «Hohle Hand» (Id., II, стр. 127), швабск. *Gauf* (Fischer, III, 97), эльзасск. *Gauf* (Martin-Lienhart, I, 199); швейц. *Herden* «кожа» (Id., II, стр. 1602); *ramsons* «wild garlic» (EDD, V, стр. 29), баварск. *Ramsen* (Schmeller, II, стр. 101), швабск. *Ramse* (Fischer, V, 123—124); *room* «грязь» (EDD, V, стр. 149), швейц. *Ram* «Russ» (Id., VI, стр. 884), швабск. *Ram* «Schmutz» (Fischer, V, стр. 119); *hound* «передняя часть корабля, экипажа» (EDD, III, стр. 248), швейц. *Hon* (Stalder, II, стр. 50); баварск. *Länz* «весна» (Schmeller, I, стр. 1495); *reest* «режущая часть плуга» (EDD, IV, стр. 81), швабск. *Riester* (Fischer, V, стр. 344), баварск. *Riester* (Schmeller, II, стр. 161), эльзасск. *Riester* (Martin-Lienhart, II, стр. 296); *shy* (EDD, V, стр. 422), швейц. *Scheie*.

Вряд ли можно предположить, что одинаковые наборы лексем на различных временных срезах языка и в разных ареалах германской языковой области были обусловлены чистой случайностью. Об этом же свидетельствует и рассмотрение более широкого языкового материала. Так, в проведенном нами специальном анализе (часть примеров, исследованных при этом, мы привели выше[16]) рассмотрено более 200 лексем, встречающихся в своей совокупности только в древнеанглийском, современных североанглийских диалектах и, с другой стороны, алеманском ареале немецкого языка (эта изоглосса частично захватывает и скандинавскую языковую область)[17]. Были выявлены также случаи, когда слова, не

[15] Некоторые алеманско-английские лексические и синтаксические параллели (подобранные с целью облегчить освоение английского языка швейцарцами и носящие весьма случайный характер) даются в статье: E. R ü e g g e r, Englisch und Schweizerdeutsch, «Orbis», III, 2, 1954; ср. также: E. M ü l l e r, Wortgeschichte und Sprachgegensatz im Alemannischen, Bern — München, 1960.

[16] Частично этот материал (более 40 лексем) приведен в работе: М. М. М а к о в с к и й, Вариантность лексем в древнеанглийских глоссах как признак диалектной принадлежности словаря, сб. «Этимология», I, М., 1963.

[17] О том, что различные древнегерманские племена (в частности, алеманы) посылались римлянами на Британские острова в качестве военных наемников до переселения туда англосаксов (и, следовательно, впоследствии могли войти с ними в тесный контакт), свидетельствуют показания древних авторов. Так, алеманский король Эрокус

встречающиеся в древнеанглийском, но засвидетельствованные в современных североанглийских диалектах, находят соответствие только в эрминонском ареале (ср. совр. сев.-англ. *to mitch* — швейц. *mûchen* «воровать»; совр. сев.-англ. *mug* «мелкий дождь» — швейц. *maugeln*; совр. сев.-англ. *mink* «halter» — баварск. *minz* «яловая (о корове)» и др.).

Исследование показало также, что определенные лексические ряды встречаются только в североанглийской и в нижненемецкой языковых областях (конечно, окончательное решение вопроса об исконной принадлежности этих слов тому или иному ареалу возможно только на основе диахронного рассмотрения всего лексического комплекса, в который они входят).

Ср. др.-англ. *cog* «небольшой корабль» (BCS, 1200). Совр. сев.-англ. диалектн. *cog* «a hollow wooden vessel», «a kind of craft» (EDD, I, стр. 693); н.-нем. (бременск.) *Kogge* «eine Art Schiffe», н.-сакс. (Berghaus, s. v.) *Kog* «корабль»; др.-англ. *dyð* «кизяки» (Wrt. Voc., II, 78,9; 31, 49), ср. совр. сев.-англ. *dithe*, *dythe* (EDD, II, стр. 92), н.-нем. (видингхардский диал.) *dize* (P. Jensen, s. v.), н.-нем. (моринтский диал.) *dizze*, вост.-фриз. *dit* (J. Schmidt-Petersen, s. v.); др.-англ. *feht* «руно» (Wrt. Voc., 237, 19; OET, стр. 438), сев.-фриз. *fäght* «Vlies»; др.-англ. *fysan* «стремительно нестись», совр. сев.-англ. диалектн. *to fease* (EDD, II, стр. 316), ср. н.-нем. *fusen* «schnell laufen» (Rappenau); др.-англ. *glind* «забор» (BCS, 208; 821), ср. н.-нем. (ганноверский диал.) *Glind* «Bretterzaun», *Glinnen* «Riegel»; др.-англ. *ile* «ступня» (ср. исл. *il* «sole of the foot»), ср. н.-нем. (видингхардский диал.) *il* (P. Jensen, s. v.), голл. *eelt*, вост.-фриз. *ell* «Schwielenhaut» (J. Schmidt-Petersen, s. v.); др.-англ. *mot* «частица», совр. сев.-англ. диалектн. *mote* «a particle» (EDD, IV, стр. 71), вост.-фриз. *mot* «Stück oder Theil» (Koolman), голл. *moot* «кусок» и др.

Приведенные факты, позволяют сделать некоторые общие и частные выводы. Лексика того или иного языка или территориального диалекта, видимо, не представляет собой хаотической и беспорядочной массы, слова не существуют изолированно, оторванно друг от друга, они не могут свободно и независимо выходить из языка и заменяться новыми. Представляется, что лексические единицы обычно связаны между собой множеством прямых и опосредствованных зависимостей и являются неотъемлемыми звеньями той лексической ткани, которая присуща только данному языку или диалекту и которая в конечном итоге на данном временном срезе определяет наличие именно данного набора специфических конститутивных элементов словаря, выступающих именно в данных значениях [18].

(Erocus), по сообщению Аврелия Виктора, в качестве предводителя вспомогательного отряда сопровождал в Британию Констанция (Constantius) и царствовал после его смерти: «*Quo* (Constantius) *mortuo, cunctis qui aderant adnitentibus, sed praecipue* Eroco Alamanorum Rege, *auxilii gratia* Constantium comitato, *imperium capit*» (Epitome de Caesaribus, 41, 3). Многие германские наемники, как сообщает Зосимус (Hist., I, 68, 3), навсегда поселились в Британии. См.: E. O b e r m e i e r, Die Sueben in der antiken Literatur, Göttingen, 1948; U. K a h r s t e d t, Claudius Ptolemaeus und die Geschichte der Südgermanen, «Mitteilungen der prähistorischen Kommission der Akademie der Wissenschaften in Wien», 3, 1939; A. P l e t t k e, Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen, «Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen», III, 1, Hildesheim, 1921; A. G. v a n H a m e l, De oudste keltische en angelsaksische Geschiedsbronnen, Amsterdam, 1911 (во второй и третьей из приведенных работ даются интересные археологические сведения относительно контактов англосаксов с прочими древнегерманскими племенами на континенте и на Британских островах).

[18] Формально это можно представить следующим образом: лексический элемент *a* в данном языке или диалекте остается живым и продуктивным лишь в случае наличия в этом языке или диалекте элементов *b*....*n* того же набора и выходит из употребления, меняет свое значение или становится малопродуктивным при вхождении в данный лексический набор элемента (элементов) *c*...*n* другого набора, а также в том случае, когда элемент *b* по тем или иным причинам выходит из употребления или одновременно

Лексические элементы входят обычно в определенное лексическое окружение, определенную парадигматическую модель той или иной конфигурации (не только в пределах синонимического ряда или даже семантического поля, но и вообще в рамках того или иного лексического набора, присущего данной замкнутой языковой общности). В связи с этим во всех построениях в отношении ареального распределения лексики, как нам представляется, следует исходить из ее комплексного рассмотрения, а не из изучения ее отдельных, изолированных звеньев (лексем). Именно атомистический подход к лексике является основным недостатком большей части специальных работ в этой области.

Вполне понятно, что некоторые элементы того или иного лексического набора, специфичного для определенного ареала, в результате смещения диалектных границ или лексического заимствования могут встречаться и в ареалах, где лексическое окружение будет иным. Например, приведенные выше слова *beran*, *Gauf*, *Reff*, *Schīgen* (швейц. *Scheie*) встречаются частично и в нижненемецких диалектах, что, конечно, никак не свидетельствует об их общенемецком характере. Многие из приведенных выше древнеанглийских слов встречаются также в различных древних германских языках, но не входят в этих языках в те же лексические наборы, которые были выделены нами для североанглийского и эрминонского. Вообще факт наличия слов в каком-либо диалекте или языковом памятнике без учета определенного лексического окружения не дает оснований для их отнесения к тому или иному ареалу.

Необходимо отметить, что определенный набор лексем можно признать специфичным для того или иного ареала только тогда, когда лексемы, входящие в этот набор, одновременно представлены не менее чем на двух временных срезах изучаемого языка или диалекта (особенно показательны случаи, когда мы имеем дело, с одной стороны, с наиболее ранним из зафиксированных временных срезов и, с другой стороны, наиболее поздним временным состоянием). Если же данный лексический набор в своей совокупности не представлен на разных временных уровнях данного языка, но может быть получен в результате суммирования лексем, манифестирующихся независимо друг от друга в данной языковой области в различные периоды языкового развития, то такой «диахронический набор» нельзя признать типичным для изучаемой области, ибо в этом случае перед нами могут быть случайные, не связанные между собой лексические образования. Например, в древнесаксонских языковых памятниках находим значительное число лексем, соотносимых с теми, которые образуют лексический ряд в североанглийских диалектах.

Однако нельзя признать, что эти древнесаксонские слова образуют целостную лексическую структуру, ибо при диахроническом рассмотрении оказывается, что ни на одном этапе развития языка они в своей совокупности не встречаются в нижненемецкой области. В этом плане более показательны случаи, когда лексический ряд, установленный на

является компонентом лексического набора другого состава. (Подробно вопрос о лексической системе будет рассмотрен нами в подготавливаемой к печати работе «Лексико-семантические константы и теория лексической аттракции».) Как можно видеть, лексический набор устанавливается обычно следующим образом: произвольно берется ряд слов, типичный для ареально ограниченной части древних памятников (в нашем случае — древнеанглийских), затем ареальная принадлежность этих слов проверяется путем диахронического «развертывания» их в рамках современных диалектов того же языка или диалектов родственных языков. Подробнее см.: М. М. Маковский, Сравнительно-историческая диалектография англской лексики.., I — О методах анализа, «Этимология», II, М., 1964; ср. также: G. Widmark, Ordgeografi och språkhistoria, «Svenska landsmål och svenskt folkliv», 1—4, Stockholm, 1963; E. Pulgram, Structural comparison, diasystems and dialectology, «Linguistics», 4, 1964.

основе двух временных состояний языка (скажем, в североанглийском), находит соответствие в ареале, в котором представлен лишь более поздний временной срез (ср., например, в алеманском). Отметим, что в данный ареально ограниченный лексический набор могут входить и слова, которые в одном из двух сравниваемых ареалов на современном этапе развития языка стали общелитературными: ср. др.-англ. *idel* «superfluus», совр. англ. литерат. *idle* и швейц. *Eidel* (*Neidel*) «сливки»; др.-англ. *leg* «пламя», совр. сев.-англ. диалектн. *lowe*, но нем. литерат. *Lohe* (список 1).

Если слово, входящее в определенное окружение в одном ареале (например, в англском), не встречается в другом ареале, обладающем тем же лексическим окружением (например, в алеманском), но обнаруживается в совершенно ином окружении в третьем ареале (скажем, в нижненемецком), то это, очевидно, свидетельствует о том, что указанное слово следует все же считать принадлежностью второго ареала: в этом случае, видимо, изучаемое слово проникло в третий ареал как заимствование из первого (например, др.-англ. *hruse* «земля» выступало в строго определенном окружении в древнеанглийском, в нижненемецком обнаружено в виде *Ruse* и отсутствует в алеманском, где имеется лексическое окружение, сходное с тем, в которое включается *hruse* в древнеанглийском). Слова, представленные в разных окружениях в нескольких ареально различных диалектах хотя бы на двух временных срезах развития языка, не могут считаться ареально ограниченными и, очевидно, восходят к «общегерманскому» состоянию.

В свете сказанного открываются только две возможности рассмотрения соотносительных связей лексических рядов, манифестируемых в различных ареалах германской языковой области: либо все элементы этих рядов являются генетически родственными, либо они заимствованы в указанных ареалах из одного источника, что опять-таки говорит о близости заимствующих языков [19]. Следует отметить, что заимствование в том или ином языке необходимо определять только в рамках вхождения или невхождения его в те или иные лексические наборы, в противном случае нельзя избежать произвольных построений. Так, др.-англ. *sǫng* «кровать» обычно считается заимствованием из скандинавского, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно входит в англско-эрминонскую изоглоссу (см. выше список 1): ср. др.-англ. *sǫng*, баварск. *sängen* «sammeln», *Sange* «Büschel», совр. сев.-англ. диалектн. *saeng* «a heap or bed of hay», шотл. *single* «á handful of gleaned corn».

Известны факты большой устойчивости лексических наборов в генетически однородном окружении. Можно указать, в частности, на большую степень сохраняемости лексики в балканских языках, где наблюдается напластование целых генетически иноязычных однородных лексических слоев (ср., например, греческий, турецкий, румынский языковые слои в болгарском языке). Можно сослаться на английский язык, в котором после норманского завоевания наблюдалось столь массовое проникновение французских лексических инноваций, что целые пласты исконно германской лексики английского языка оказались вытесненными или, по крайней мере, стилистически оттесненными соответствующими пластами французских слов (ср. пары типа *joy* — *mirth*), которые, находясь в окружении французской же лексики, настолько привились в английском языке, что сейчас уже не выделяются как иностранные. Известно, что многие ино-

[19] Ср.: T. Torbiörnsson, Lånord och språkhistoria, «Hum. Vetensk.- Samf. i Uppsala årsbok», 1943; E. Lewy, Zu den Lehnworten und zur Sprachgeographie, «Antropos», XLV, 1, 1950. Интересный материал об общих заимствованиях содержится в кн.: E. Miettinen, Zum mundartlichen Fortleben mhd.— mnd. Lehnwortgutes romanischer Herkunft, Helsinki, 1962.

странные слова, попадая в инородное лексическое окружение при заимствовании, меняют свою функциональную нагрузку, употребляясь либо терминологически, либо в смещенном значении («ложные друзья переводчика»). Интересно в связи с этим, что английские территориальные диалекты, подвергшиеся иностранному языковому влиянию и смешению между собой в значительно меньшей степени, чем так называемый «литературный язык», до сих пор сохранили значительную часть старой германской лексики (естественно, в исконно германском окружении). Ср. в сев.-англ. диалектн.: нортумб. *bisn*, совр. шотл. *bysen*, литерат. англ. *example*; нортумб. *dæge*, совр. шотл. *dey*, литерат. англ. *servant*; нортумб. *hlynn*, совр. сев.-англ. диалктн. *linn*, литерат. англ. *torrent*; нортумб. *stefn*, совр. сев.-англ. диалектн. *stevvon*, литерат. англ. *voice* и т. д. Если структурная целостность того или иного языка или диалекта на данном этапе его развития не допускает каких-либо лексических изменений, они вряд ли могут произойти, несмотря ни на какие внешние и даже внутренние влияния, которые могут оказаться решающими для изменения лексической структуры другого языка[20]. Известны языки, которые почти лишены заимствований и имеют весьма консервативный лексический строй (например, китайский), в то время как в других языках мы находим как бы лексический конгломерат из самых различных языков (ср., например, индонезийский). В связи с этим вряд ли можно согласиться с традиционным положением о том, что лексика является якобы наиболее проницаемой и изменчивой областью языка: дело вовсе не в лексике вообще, а в лексической организованности, силе структурного сцепления отдельных лексических элементов на данном этапе развития конкретного языка или диалекта.

Одно и то же слово вполне может существовать в лексической структуре различного состава, но в этом случае обычно имеет различную степень стабильности и жизнеспособности или несет неодинаковую функциональную нагрузку (ср. различное семантическое развитие однокорневых слов в различных окружениях, например от корня «тянуть»: др.-англ. нортумб. *timen* «потомство», но нем. *Zaum* «узда»). Не подлежит также сомнению, что в отдельных языках в силу тех или иных причин могут меняться (расширяться или суживаться) значения некоторых слов, входящих в данный лексический пласт, причем протяженность самого данного пласта в различных родственных языках может быть неодинаковой на разных этапах их развития. Однако именно определенный минимальный набор лексем, образующий лексическое окружение того или иного слова, является основной характеристикой его специфичности в данном ареале; изменение этого минимального набора лексем в одном из сравниваемых диалектов безусловно свидетельствует о том, что данная языковая область, некогда единая (или близкая) с той или иной языковой территорией, на данном языковом срезе больше не входит в прежний ареал.

Рассмотренные выше факты подводят к определению понятия лингвистического реликта (в частности, лексического). Прежде всего необходимо отметить, что о реликтах, очевидно, можно говорить лишь по отношению к какому-то первопачальному состоянию, где данный элемент не является реликтом. Таким состоянием, очевидно, следует считать цепочку взаимосвязанных языковых явлений, неотъемлемой частью кото-

[20] Ср.: M. L e r o y, Sur le concept d'évolution en linguistique, Bruxelles, 1950; J. v a n G i n n e k e n, De oorzaken der taalverandringen, Amsterdam, 1930; K. J a e s c h k e, Beiträge zur Frage des Wortschwundes im Englischen, Breslau, 1931 (дается литература вопроса); M. D e n b y, Decay and death in English vocabulary, «Transactions of the Yorkshire dialect society», IV, pt. XXIII, 1957; Э. А. М а к а е в, Понятие системы языка, «Уч. зап. I МГПИИЯ», М., 1957.

рой являлся изучаемый языковой элемент в тот или иной период развития языка. В связи с этим в отношении изучаемых германских языков следует признать, что имеются по крайней мере три первоначальных языковых состояния (три «точки отсчета»), по отношению к которым можно говорить о реликтах. Это, во-первых, индоевропейская языковая система, во-вторых, общегерманская языковая система и, в-третьих, те узкие ареально ограниченные языковые микросистемы, которые первоначально (в относительном смысле) сложились в пределах отдельных германских языков и их диалектов после распада общегерманского состояния. Вполне понятно, что языковой элемент, являющийся реликтом с точки зрения индоевропейской языковой общности, может не быть реликтом в общегерманском плане или в конкретных германских (или других индоевропейских) языках, входя в них в определенную языковую систему (независимо от того, охватывает ли эта система более узкую или более широкую территорию).

Мы говорим, что отдельные языки одной семьи (скажем, германские) являются все же разными языками именно потому, что в каждом из них имеется определенный набор и комбинация тех или иных языковых элементов (в частности, лексических), хотя, разумеется, все эти языки первоначально восходят к одному общему языковому состоянию. С другой стороны, общегерманский языковой элемент на определенной части германской (или у́же — немецкой, английской и т. д.) языковой территории может быть реликтом (т. е. не входить в первоначальную ареально ограниченную микросистему), а на другой части той же территории быть неотъемлемой частью языковой ткани того или иного диалекта. Реликт — это не обязательно архаизм[21] или явление малопродуктивное и находящееся на грани исчезновения. Очень употребительное и продуктивное слово, типичное для какой-либо территории, при ближайшем рассмотрении может оказаться инновацией в той лексической системе, в том лексическом окружении, где оно существует в рассматриваемый период. С другой стороны, малопродуктивное слово, выходящее из употребления в той или иной области, может быть исконной частью языковой микросистемы, присущей этому ареалу. Примером на первый случай могут служить приведенные выше слова *beren*, *Gauf*, *Reff*, *Schīgen*, примером на второй случай — слово *Ferch*.

Все сказанное, как нам представляется, дает возможность следующим образом определить лингвистический реликт (в частности, лексический или семантический). Реликт — это остаточное языковое явление (фонетическое, морфологическое, семантическое, лексическое), выпавшее в силу определенных языковых, исторических и этнических причин из первоначальной системы (или микросистемы) языка и существующее в несвойственном ему изначально языковом окружении (независимо от ареального распространения и функциональной нагрузки)[22]. Ясно, что явление, пред-

[21] Ср., например, определение реликтов (Restwörter) у Э. Прокоша (E. Prokosch, Restwörter, «Modern philology», XXVI, 4, 1929), где основное внимание уделяется фонетической характеристике рассматриваемого явления. Ср., с другой стороны: C. de Boer, «Innovation» en matière d'analyse linguistique, «Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen», Afd. letterkunde, 79, 1, serie A, 1935.

[22] См. об этом: Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики; его же, Проспект общегерманского словаря, М., 1965 (в печати). О взаимодействии различных факторов в процессе развития языка см.: J. Vachek, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», XI, 1962.

ставляющее собой реликт с точки зрения первоначальной системы, реально существует как инновация в пределах качественно и количественно иных (по сравнению с первоначальным набором) языковых систем. Отметим, что процесс заимствования лексики, естественно, является противоположным по отношению к ее структурной целостности, что еще раз подчеркивает высказанное только что положение. Мы имеем дело с реликтом только в таких случаях: 1) если вся первоначальная система элементов, неотъемлемой частью которой является изучаемая лексема, претерпела глубокие изменения или полностью разрушена; 2) если анализируемое слово выпало из первоначальной системы, продолжающей существовать в том или ином ареале. Таким образом, возможности и надежность определения реликтов находятся в прямой зависимости от возможностей восстановления первоначальной системы (в относительном смысле), компонентом которой являлось изучаемое слово (в частности, и от полноты имеющегося языкового материала в различных временных срезах и ареалах). Следует указать, что большое значение для определения реликтового характера слова (и отдельных частей слов) имеет этимологический анализ [23].

Если слово в данном значении этимологизируется с привлечением только элементов лексического пласта (окружения), в который оно входит (независимо от того, обнаруживаются ли эти последние в том же микроареале или в микроареале, связанном с ним изоглоссами), то изучаемое слово с большой степенью вероятности можно признать исключительной принадлежностью всей данной языковой территории (совокупности нескольких микроареалов) и никак нельзя считать реликтом «общеязыкового» состояния. При этом нельзя забывать, что в чисто семасиологическом плане различие значений не всегда свидетельствует о том, что сравниваемые слова не имеют ничего общего, и обратно — сходство в значениях слов с одинаковой фонематической структурой не обязательно говорит об их генетической близости [24].

В качестве примера такой этимологии приведем нортумбрийское слово *bisene* «слепой», входящее в приведенный выше англско-алеманский лексический ряд.

Bisene «caecus». Lind. Mt, IX, 27; IX, 28; XI, 5; DG_1, 77, 28 (DG_2 *blindan*); 275, 3 (DG_2 *blind*); ср. в совр. сев.-англ. диалектн. (к югу от Нортумберленда): *bysen*, *bisson* «blind» (EDD, I, стр. 275); ср. в швейц. *Bise* «северный ветер»; «туман» (особенно в кантоне Гларус): «D'Bis ist so digg g'lege^{n} das^{s}-me^{n} nüd e^{n} stigg, nüd d'Hand vor ^{d}em G'sicht g'sih^{n} het» (Staub — Tobler, Schweiz. Id., IV, стр. 1683), др.-в.-нем. *bisa* (Notker, I, 17, 16; 39, 4). Ср. Grimm, Dt, Wb., I, стр. 1398. Ср. также швейц. *bis* «verwirrt». Ср. семасиологические параллели: лат. *aquilo* «северный ветер» (*aquilus* «темный») > лит. *ãklas* «слепой»; греч. καικίας «северный ветер» > лат. *caecus* «слепой» (WP, I, стр. 328).

Весьма полезным может оказаться словообразовательный анализ лексем в различных ареалах [25].

---

[23] Ср.: J. Paulhan, La preuve par l'étymologie, Paris, 1953; E. Pulgram, Family tree, wave theory and dialectology, «Orbis», II, I, 1953; Y. Malkiel, Etymology and the study of word families, «Word», X, 1954; O. Szemerényi, Principles of etymological research in the Indo-European languages, «II Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft», Innsbruck, 1962.

[24] Ср.: F. Wood, Semasiological possibilities, «American journal of philology», XIX — 1898, XX — 1899.

[25] Ср.: Ж. Ж. Варбот, О словообразовательном анализе в этимологических исследованиях, сб. «Этимология», М., 1963, особенно стр. 207; W. Doroszewski, Kryteria słowotwórcze w etymologii, «Poradnik językowy», 1953, 5; 1954, 2, 3.

3. Если на данном этапе развития того или иного языка (или диалекта) не засвидетельствовано слово, входящее в определенный лексический набор в родственном языке, то наличие такого же лексического инвентаря в первом из указанных языков с большей степенью вероятности дает возможность утверждать, что изучаемое слово является для него специфичным, и, таким образом, позволяет при установлении изоглосс учитывать ареалы, в которых те или иные лексические единицы не представлены. С другой стороны, применение принципа давления системы очень полезно в отношении слов, встречающихся только в единичных глоссах и топонимах, а также ἅπαξ λεγόμενα, которые, таким образом, не только приобретают права гражданства в изучаемом языке, но и могут быть отнесены к определенной языковой области (примеры см. в указанной выше нашей работе о методах анализа) [26]. В отношении ἅπαξ λεγόμενα, слов, представленных только в топонимах и в единичных памятниках, целесообразно до проведения ареального анализа сделать проверку правильности их орфографического оформления, значения и возможности существования в изучаемом языке вообще (ghost-words) [27]. Здесь важны не только этимологический анализ и учет возможности народной этимологии, но и определенная палеографическая обработка текстов [28].

Для определения необходимости эмендаций, корректирования того или иного образования в тексте предлагается следующая методика. Прежде чем приступить к корректированию формы X на Y необходимо решить следующие три вопроса:

1. Если форма X ошибочна и должна корректироваться на $*Y$, можно ли подобную ошибку (X вместо $*Y$) найти в других местах текста? Таким образом, рассматриваемая ошибка может быть или не быть возможной для изучаемого текста. Первый из случаев мы обозначим через A, а второй через a. Например, в рукописи «Lindisfarne Gospels» наблюдаются ошибки только двух видов: смешение графически сходных знаков (J, XVII, 36: *cumpadi* вместо *compadi*; J. XXI, 16: *gehala* вместо *gehald*; Mt, VIII, 8: *drihter* вместо *drihten*) и пропуск отдельных букв (ср. Lk, II, 9: *sod* вместо *stod*; Mk, XV, 38: *toreded* вместо *torended*).

2. Если форма X не ошибочна и не должна корректироваться, то имеются или нет какие-либо данные вне рассматриваемого текста, подтверждающие эту форму? (В частности, необходимо обратить внимание на то, манифестируется ли изучаемое образование на более поздних этапах развития изучаемого или родственного языка.) Обозначим первый из этих случаев b, а второй B.

3. Имеются или не имеются данные, подтверждающие форму $*Y$ в изучаемом тексте? Обозначим эти случаи соответственно C и c. При различной комбинации перечисленных возможностей (ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc) выясняется, что случаем, в котором эмендация $X > *Y$ наиболее оправдана, являются ABC; менее оправдано (хотя вполне возможно) корректирование в случаях ABc, AbC, aBC. Эмендация не оправдана в случаях Abc, aBc, abC, abc. Очень важно выявить графическую вариантность древних лексем (например, древнеанглийских). Это позволяет определить, существовало ли искажаемое переписчиками слово в

[26] Ср.: Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5; ср. также: A. D. Hall, R. E. Fagen, Definition of a system, сб. «General systems», I, Ann Arbor, 1956 (ср. также: II — 1957, III — 1958); L. Bartalanffy, An outline of the general systems theory, «The British journal of philosophy of science», I, 2, 1950.

[27] Ср.: J. Quinn, Ghost words, obscure lemmata and doubtful glosses in Latin-Old English glossary, «Philological quarterly», 1961, 40, 2. A. Ross, A theory of emendation, «Speculum», IX, 2, 1934.

[28] Ср.: H. D. Meritt, Facts and lore about Old English words, Stanford, 1960.

рассматриваемом языке, что решающим образом влияет на возможности его дальнейшего сопоставления.

В некоторых случаях для объяснения глосс или ἅπαξ λεγόμενα приходится обращаться к интерпретации латинского оригинала, проводя так называемое сравнение «по цепочке». Приведем несколько примеров.

В Lind. Mt, 24, 48 читаем *wraðo ł suigiunc* — лат. *moram*). Здесь глоссатор, видимо, руководствовался толкованием *moram* как *ĭpedimentum* [ср., например, глоссу *mora* — *inpedimentum* («Glossaria Latina», I, 376, 357), причем, очевидно, принял *ĭpedimentum* за *pedamentum* (ср. лат. глоссу CGL, 2, 568, 47: *pedamentum* — *fulcimentum*). В связи с этим становится ясным, что слово *wraþ* — это широко представленное древнеанглийское слово со значением «подпорка» (ср. WW, 245, 27: лат. *fulcimentum* — *wraþe*). Интересно встречаемое в «Lindisfarne Gospels» слово *word* — лат. *rubum* (Lk, VI, 44). Как показывает фактический материал, это не «ghost-word».

Ср., с одной стороны, и.-е. корень **urdho* «терновый куст», иран. **vrdi* (перс. *gul* «роза»). арм. *vard*, греч. (F)ρόδον «роза» (WP, I, стр. 316) и, с другой стороны, Lind., XX, 37: лат. *rubum* —др.-англ. *heape*; Corp — Gl, 255: лат. *rubum* — *lignum spinosum*; Wrt. Voc., I, 138, 37: лат. *rubus* — др.-англ. *heoþbrymel*; I, 269, 37: лат. *rubus* — др.-англ. *þyrne*. Ср. также: Cambr. Psalter, 88, 32, 33: лат. *vositabo in uirga iniquitates eorum* — др.-англ. *ic neosie on w o r d e unrihtwisnysse*. Слово представлено также в значении «родственник по крови» (видимо, по ассоциации «кровь от укола терния»): ср. «Regula Benedicti» (hrsg. von Schröer), LXIX: *Miclan is to warnienne þæt nan broðor ne gedyrstlae þaet he oþerne oþþe mid wordum bewerige, oþþe mid ænigum anginne geealgige, þeah him w o r d gemæne sy* — лат. *etiamsi quavis consanguinitatis propinquitate iugatur*. Ср. лексический вариант *readо* в указанном месте Lind. (Lk, VI, 44). Ср. совр. норв. *ōr*, *ōl* «Ribes». Осен правильно возводит норв. *ōr*, *ōl* к др.-сканд. **orðr*. Учитывая др.-англ. *word*, можно предположить праформу **worða* (ср.: Aasen, Ordbog, 556, а также: Ross, Orbog, 562; Rietz, Sv. Dial.-lex., 480a). Ср. также средне-лат. глоссы: CGl. III, 579, 28—30: 28 *uisdim*: *isquiamo*, 29. *uerrugarum*: *camesicinus*, 30. *uuarentia*: *rubia*; Cod. Brux., 46, 24: *uuarentia* — *rubia*; гот. *uizdila* «sandix» (Gundermann, ZfdWf., VIII).

*

Мы рассмотрели несколько возможностей анализа реликтов и инноваций при диалектологическом исследовании. Вполне понятно, что в соответствии с характером исследуемого языкового материала должны применяться те или иные из приведенных критериев в отдельности или определенная комбинация их. Характер языкового материала не только подсказывает правомерность использования тех или иных методов анализа, но и в первую очередь сам является источником появления того или иного исследовательского аппарата.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

Г. Ф. БЛАГОВА

ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТАРОУЗБЕКСКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА

Как известно, тюркология не располагает надежными данными о реальных связях современных говоров узбекского языка с говорами «чагатайского» периода [1], а равно и достоверными сведениями о реальной связи письменного языка с живыми говорами XV и смежных с ним веков [2]. В то же время современная узбекская диалектология достигла того уровня, когда она уже не может обходиться без широкого использования фактов истории языка в целях объяснения как отдельных диалектных явлений, так и становления и развития современных диалектов и говоров Узбекистана [3]. Вопросы развития диалектов узбекского языка тесно связаны со сложной и пока еще только ставящейся проблемой диалектной основы языка староузбекской («чагатайской») литературы рубежа XV—XVI вв., имеющей важное значение для выяснения вопроса об истоках узбекского литературного языка. Для разрешения этой проблемы потребуется детальное и, так сказать, «послойное» изучение памятников староузбекской литературы с учетом всего многообразия рукописей и списков.

В то же время изучение диалектной основы языка староузбекской литературы рубежа XV—XVI вв. невозможно без привлечения материалов современной узбекской диалектологии.

Предлагаемая статья представляет собой попытку историко-сопоставительного исследования на материале староузбекского письменного языка и современных узбекских диалектов с целью выявления различных диалектных элементов в староузбекском письменном языке рубежа XV—XVI вв.

Не предполагая «начинать . . . историю изучения узбекских говоров с XV в.» [4], мы сочли возможным в то же время привлечь в качестве одного из объектов историко-сопоставительного исследования языковой памятник рубежа XV—XVI вв., дающий наилучшие возможности для такого сопоставления. Это «Бабур-наме» — одно из наиболее объемистых прозаических произведений староузбекской литературы этого времени, которое благодаря своему жанру и разнообразию использованных в нем стилистических приемов сконцентрировало в себе богатейший грамматический материал. О близости языка «Бабур-наме», отличающегося, по общему признанию, естественностью, точностью и гибкостью, к живому языку своего времени может свидетельствовать уже тот факт, что современный читатель-узбек воспринимает это произведение, не испытывая особой потребности в языковых комментариях и словарях.

Другим объектом предлагаемого историко-сопоставительного исследования послужили данные современной узбекской диалектологии. При использовании этих данных необходимо иметь в виду те разновременные и частые смешения и смещения в этническом составе населения Среднего Узбекистана, из которых одно (из числа последних) с уверенностью датируется рубежом XV—XVI вв. [5]. В результате процессов «гибридизации», происходивших в различных узбекских коллективах по-разному и с неодинаковой интенсивностью в разные периоды истории [6], в современном Узбекистане,

---

[1] См. В. В. Решетов, Состояние и задачи узбекской диалектологии, сб. «Вопросы узбекского языкознания», Ташкент, 1954, стр. 115.

[2] В. В. Решетов, Узбекский язык, ч. I, Ташкент, 1959, стр. 21.

[3] О трудностях узбекской исторической диалектологии см.: В. Решетов, Ш. Шоабдураҳмонов, Ўзбек диалектологияси, Тошкент, 1962, стр. 24.

[4] В. В. Решетов, Состояние и задачи узбекской диалектологии, стр. 115.

[5] См.: «История Узбекской ССР», I, кн. 1, Ташкент, 1955, стр. 373; Б. Х. Кармышева, Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков, «Сов. этнография», 1960, 1.

[6] Е. Д. Поливанов, Говор кышлака Кыят-Конграт Шаватского района (в Хорезме), «Сб. научн. трудов [Узб. НИИ культурного строительства]», I, 2, Ташкент, 1934, стр. 4.

по свидетельству И. А. Батманова, «мы не имеем нигде сплошной языковой территории... Сплошь и рядом на одной территории совмещаются языки разных групп, и часто говор отрывается территориально от того типа, по имени которого он классифицируется» [7]. Поскольку «сплошь и рядом население одного небольшого района и даже отдельного кишлака складывалось исторически из представителей различных и диалектальных групп» и «поскольку родственные говоры оказывались в самом различном языковом окружении, появлялась масса местных особенностей» [8].

Если учитывать всю исторически обусловленную сложность и пестроту диалектного состава современного узбекского языка, то представляется нецелесообразным ограничиваться сопоставлением данных истории узбекского языка с фактами только тех говоров, которые «отходят к „юго-восточной, или чагатайской группе" турецкого языкового мира» [9], или (в иных терминах, подразумевающих некоторые коррективы в составе указанной группы) одного только «карлуко-чигиле-уйгурского» диалектного комплекса [10].

Напротив, для наших целей представляется необходимым привлечь к сопоставлению факты почти любого из современных узбекских говоров и диалектов, отвлекаясь при этом от тех различий, которые устанавливаются между группами узбекских говоров различными классификационными схемами. Вместе с тем мы далеки от мысли приписывать языку, отраженному в «Бабур-наме», связи непосредственного родства со всеми теми говорами, в которых сохранились те или иные грамматические формы, наблюденные в этом произведении. В то же время подчеркнем, что в своих сопоставлениях мы исходим именно из грамматических явлений, которые, как известно, обладают высокой степенью устойчивости в диахроническом плане, а равно и в синхроническом — при взаимодействии родственных диалектов. Именно благодаря своей устойчивости грамматические явления, взятые на отдаленном от современного состояния синхронном срезе, дают бо́льшие основания (чем, скажем, факты лексики) соотносить эти явления с определенной территорией современного их распространения.

При сопоставлении оказалось возможным выявить некоторые языковые факты, нашедшие отражение в памятниках староузбекской литературы и в то же время сохранившиеся в современных диалектах при полной или почти полной утрате этих фактов современным узбекским литературным языком, причем внимание фиксировалось на тех из них, которые принадлежат к различным отделам грамматической системы, имея при этом закономерный характер (последнее подразумевает большой лексический охват) [11]. Выявить такие факты в современных узбекских говорах тем более интересно, что язык староузбекской литературы, как это уже не раз отмечалось, в ключевых явлениях своей грамматической системы близок к «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности», составляющей основу современного узбекского литературного языка.

Совпадение языковых фактов, отмеченных, с одной стороны, исследователями в тех или иных современных говорах, а с другой, зафиксированных в «Бабур-наме», свидетельствует о сложности взаимоотношений узбекских говоров в процессе их исторического развития, а также о неравномерности эволюции их грамматических систем. Именно эта неравномерность позволяет одним диалектам и говорам сохранять специфические языковые явления, в то время как другие говоры их утратили (в связи с этим интересно отметить тот факт, что и говоры, претерпевшие метисацию в наиболее сильной форме, удерживают, тем не менее, ряд архаических черт, присущих им издревле [12]).

---

[7] И. А. Батманов, Вопросы классификации узбекских говоров сб. «Проблемы языка» [Узб. НИИ языка и литературы], Ташкент, 1934, стр. 17.

[8] А. К. Боровков, Узбекские говоры Наманганской области, «Научн. труды [Таш. гос. ун-та]», Нов. серия, вып. 211, филол. науки, кн. 24, 1963, стр. 3, 4.

[9] Е. Д. Поливанов, Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка, ИАН СССР, VII серия, Отд-ние гуманит. наук, 1929, 7, стр. 5–7, примеч. 3.

[10] См.: В. В. Решетов, Карлуко-чигиле-уйгурская языковая общность узбекского языка, «Уч. зап. [Таш. ГПИИЯ]», VII, 1963; его же, Ўзбек тилининг корлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси, журн. «Ўзбек тили ва адабиёти масалалари» (далее — ЎТАМ, с 1963 г.— ЎТА), 1960, 5.

[11] О необходимости максимально дифференцировать отдельные диалектные признаки при использовании методики изоглосс см.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.— Л., 1964, стр. 22 и сл.

[12] Яркий пример этому приводит Е. Д. Поливанов в своей книге «Узбекская диалектология и узбекский литературный язык» (Ташкент, 1933, стр. 26—27, примеч. 3 к стр. 6). В настоящее время, однако, в ретроспективном плане не всегда представляется возможным провести четкую грань между собственно архаическими языковыми явлениями и специфически диалектальными. В ряде случаев остается открытым вопрос: архаическое ли явление, присущее данному говору, поддерживается соседящей с ним инодиалектной стихией, или же это явление представляет собой результат воздействия инодиалектной стихии. С необходимости учитывать также «возможность

Факты современных узбекских диалектов, которые удалось соотнести с соответствующими языковыми явлениями в «Бабур-наме», могут быть картографированы [13]; при этом целесообразно произвести отбор тех признаков, картографирование которых могло бы дать наиболее наглядные результаты. Картографирование позволяет выявить характер распределения признаков на карте, а также интенсивность этого распределения. Из-за «неизученности основной и важной части говоров ташкентско-ферганского типа» [14] карты распространения избранных нами языковых явлений по необходимости имеют пока предварительный характер, тем более что произведенное ниже сопоставление фактов истории и диалектологии узбекского языка не претендует на полноту охвата специфических явлений, характерных для староузбекского письменного языка и уцелевших в тех или иных современных узбекских говорах. Приводимые ниже карты — при условии дальнейшей совместной работы историков языка и диалектологов — могут быть существенно уточнены и дополнены как в смысле выявления еще ряда важных совпадающих черт, так и в плане всестороннего охвата современных диалектных фактов, что позволит в будущем представить на картах изоглоссы обозначенных языковых признаков.

Переходя к сопоставлению языковых фактов «Бабур-наме» и диалектных особенностей современного узбекского языка, остановимся прежде всего на специфических явлениях падежного склонения. Факты синтаксической заменяемости падежей и скрещения падежных значений (причем не только внутри той или иной группы падежей) достаточно широко отражены в «Бабур-наме»; с несколько меньшей полнотой сопоставимые явления представлены в современных говорах.

И в «Бабур-наме», и в говорах — по всей территории их распространения [15] — обычен неопределенный падеж для обозначения направления при глаголах движения, а также для выражения времени; кроме того, в «Бабур-наме» этот падеж используется для выражения местонахождения (*бу уйлар ҳам чуқур йерлар вақиъ бўлубтур* [16] «Эти дома тоже расположены в лощинах»; *Самарқанд муйассар бўлса биримиз Самарқанд ўлтурғай йина биримиз Хисарда* 70_{10-11} «Если будет дарован богом Самар-

параллельного развития, ограничивающую круг предполагаемых древних генетических связей и позднейших взаимодействий контактного характера», см.: В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 25.

[13] Идея картографировать такие соотносимые признаки подсказана чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунским. За указания на необходимость такого картографирования, ценные советы и конкретные замечания по картографированию автор выражает искреннюю признательность В. М. Жирмунскому и благодарит Э. Р. Тенишева, чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононова, чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренникова, Х. Даниярова, Э. Н. Наджипа, О. А. Лаптеву, М. М. Маковского, которые также ознакомились с работой и высказали ряд ценных замечаний.

[14] Ш. Шаабдурахманов, Узбекский литературный язык и узбекские народные говоры. Автореф. докт. диссерт., Ташкент, 1963, стр. 13. См. также: В. Решетов, Ўзбек тили диалектларини монографик ўрганиш, ЎТАМ, 1960, 1, стр. 37.

[15] См., например: Ш. Афзалов, Ўзбек тилининг Паркент шеваси. Канд. диссерт., Тошкент, 1952, стр. 93; А. Шерматов, Ўзбек тилининг Қарши шеваси. Канд. диссерт., Тошкент, 1960, стр. 117; Х. Данияров, Бахмалский говор узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1955, стр. 8; Ҳ. Ғуломов, Ўзбек тилининг Жиззах шеваси, «Ўзбек диалектологиясидан материаллар» (далее — ЎДМ), I, Тошкент, 1957, стр. 84; С. Иброҳимов, Ўзбек тилининг Бешкент райони шевалари юзасидан кузатишлар, там же, стр. 283; Ш. Носиров, Ём шеваси ҳақида, ЎДМ, II, Тошкент, 1960, стр. 232; Б. Жўраев, Шаҳрисабз шевасининг баъзи бир морфологик хусусиятлари, ЎТАМ, 1959, 1; Б. Джураев, Шахрисябзский говор узбекского языка, Ташкент, 1964; С. Туляков, Наманган шаҳар шевасида эгалик ва келишик қўшимчалари, в сб. «Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари» (далее — АТМ), 4, Тошкент, 1962, стр. 502 (приводимые в последней работе примеры свидетельствуют, однако, о появлении заместительной долготы в случае опущения показателя дательно-направительного падежа у основ, оканчивающихся на *-а*, *-о*); St. Wurm, Der özbekische Dialekt von Andidschan, Brunn — München — Wien, 1945 («Sitzungsberichte [der Akademie der Wissenschaften in Wien]». Philosoph.-hist. Kl., 224, 3. Abhandl.), стр. 38. Ссылки на эти работы и приводимые ниже монографические описания других узбекских говоров после первого их упоминания будут заменяться в тексте статьи указанием на соответствующий говор.

[16] «Бабер-намэ или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским]», Казань, 1857, стр. 441, строки 12—13. Впредь это издание обозначается сокращенно БН, цитируемая страница указывается настрочной цифрой, строка — подстрочной. При передаче примеров из БН в целях большей наглядности схождений и расхождений его языка с современными узбекскими говорами применяется транслитерирование (с элементами транскрибирования) на основе современной узбек-

канд, один из нас воссядет в Самарканде, еще один из нас — в Хисаре». В последнем примере функциональный параллелизм неопределенного и местного падежей рельефно подчеркивается благодаря опущению глагола *ўлтур-* в конце фразы).

Использование винительного в функции родительного, часто встречающееся в БН, свойственно почти всем говорам узбекского языка [17] (за исключением говоров кыпчакского диалекта). В БН представлено и обратное явление — употребление родительного падежа в функции винительного для обозначения прямого объекта: *Хожа Аҳрар м е н и н ҷ сизга йибардилар* (144_{10-11}) «Ходжа Ахрар послали меня к Вам»; *Х о ж а қ а з и й н и н ҷ араға салиб* (22_9) «Сделав Ходжу казия посредником». Это явление, по свидетельству Я. Г. Гулямова, исключительно редкое для современных говоров (однако встречающееся и в современном литературном языке), в то же время отмечается исследователями именно в андижанском говоре, а также в ташкентском и бухарском диалекте [18].

Заслуживает внимания тот любопытный факт, что использование родительного в функции винительного характерно для Керовского списка БН; в Хайдарабадской рукописи в соответствующих случаях часто бывает представлен винительный падеж [19]. Казалось бы, из этого вытекает вывод о диалектной принадлежности переписчика рукописи, коренной для списка Г. Я. Кера [20], и, следовательно, о большей близости Хайдарабадской рукописи к оригиналу БН. Однако такому заключению препятствуют факты как самого староузбекского языка, так и современных диалектов. Прежде всего можно сослаться на аналогичное употребление родительного в языке старшего современника Бабура — Алишера Навои [21] и, кроме того, на другие факты самостоятельного (т. е. вне определительного словосочетания) и тем самым необычного для современного языка функционирования этого падежа: родительный встречается в БН в качестве именной части составного сказуемого (*чаҳар дањ м и р з а н и ҷ б ў л ғ а й д ў дањ а н и ҷ* 213_3 «четыре части пусть будут [принадлежать] мирзе, две части — ему»; *бу бейт а н и ҷ д у р* 206_{21}, 207_{20} «это двустишие — его»).

С другой стороны, сохранившееся в современном андижанском говоре употребление родительного падежа в функции винительного также свидетельствует о том, что это явление не было привнесено переписчиком и может предположительно рассматриваться как принадлежащее средневековому говору, к которому был близок язык литературы рубежа XV—XVI вв. В связи с этим следует обратить внимание и на тот примечательный факт, что Захир-эд-дин Мухаммед Бабур ссылался именно на средневековый говор Андижана как на близкий к языку литературы своего времени (БН3_{7-8}).

ской графики. Диалектный материал приводится здесь в тех подчас сугубо индивидуальных транскрипциях, которые варьируются от одного исследования по узбекской диалектологии к другому.

[17] См., например: В. В. Р е ш е т о в, Об одном узбекском падеже, «Тюркологический сборник», I, М.— Л., 1951; А. М а м а т о в, Келишик қўшимчаларининг Андижон шевасида қўлланиши, «Уч. зап. [Таш. ГПИИЯ]», VII; Я. Г. Г у л я м о в, Морфология ташкентского говора. Канд. диссерт., М., 1954, стр. 28; И. Ф а р м о н о в, Ўзбек тилининг Ўш шеваси. Канд. диссерт., Тошкент, 1960, стр. 113; С. И б р о ҳ и м о в, указ. соч., стр. 232; О. Ш а р и п о в, Ўзбек тилининг Поп шеваси. Канд. диссерт., Тошкент, 1962, стр. 112; А. Ш е р м а т о в, указ. соч., стр. 110 и сл.; Б. Д ж у р а е в, Шахрисябзский говор узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1959, стр. 15; Ш. Н о з и р о в, Қўқон шевасида келишик категорияси, ЎТА, 1963, 2, стр. 41.

[18] См.: М. М и р з о е в, Бухоро диалектининг морфологик хусусиятларига доир, ЎТА, 1964, 2, стр. 40; St. W u r m, указ. соч., стр. 39—40, 84, 85, 104, 112, 125. С. Ибрагимов в своей рецензии на работу Ст. Вурма «Der özbekische Dialekt von Andidschan» (ЎТА, 1964, 1, стр. 68) отрицает возможность употребления родительного в функции винительного, не приводя фактов в подтверждение своим словам и исходя, как нам кажется, из имеющего распространение взгляда на это явление как на «грубую ошибку» (А. М а ъ р у ф о в, Ўзбек адабий тилидаги икки келишик формаси ҳақида, ЎТАМ, 1958, 1, стр. 46). Ср. также: Е. Д. П о л и в а н о в, Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка, стр. 519, где «случаи неправильного употребления *-niŋ* в значении accusativi» в ташкентском говоре считаются возникшими в последнее время — «под влиянием школы литературного языка».

[19] См.: Г. Ф. Б л а г о в а, К вопросу о подлинности текста «Бабур-наме» по Керовскому списку, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», XLIV, М., 1961, стр. 96.

[20] Видимо, именно диалектной принадлежностью переписчика можно объяснять изредка встречающееся в БН употребление *қашти* (72_{10}, 86_{22}) вместо *қачти*.

[21] См.: К. Қ а р и м о в, «Фарҳод ва Ширин» достонида келишикларнинг қўлланиши, сб. «Тилшунослик масалалари», I, Тошкент, 1960, стр. 128.

Характер глагольного управления, заметно отличного от нынешнего состояния этого синтаксического явления, обусловливал, в частности, в БН употребление винительного падежа адресата действия при глаголе *тила-* «желать, просить; призывать» (*Шайбани ханни кумак тилабтур* 54_{22} «призывал на помощь Шейбани-хана»), который в современном узбекском языке управляет исходным падежом. Такое употребление можно сопоставить с использованием винительного падежа в функции исходного (равно как и в функциях местного и дательно-направительного), отмеченным в андижанском говоре А. Маматовым. Обратное явление — использование исходного падежа в функции винительного — зарегистрировано в паркентском и каршинском [22], территориально очень удаленных друг от друга; употребление дательно-направительного в функции винительного встречается, с одной стороны, в андижанском и кокандском (т. е. на востоке основной территории узбекского языка), иногда также в джизакском, входящем в ташкентскую диалектную группу, а с другой стороны — в хазараспском [23], т. е. на крайнем западе рассматриваемой территории.

Синтаксическая взаимозаменяемость дательно-направительного и местного падежей в языке БН имеет ограниченное действие: местный падеж в функции дательно-направительного здесь не отмечен; дательно-направительный же довольно часто используется для обозначения местонахождения, например, при глаголе *йаса-* «сделать, устроить», а также в составе именного сказуемого (*ҳамма Ала ҳўрғанни ичига еди* 261_8 «все были внутри Ала-кургана»; ср. самарк.-бухарск., пайшанбинск. *ман уйгэ едым*). Обратимся к современным говорам. Синтаксическая взаимозаменяемость дательно-направительного и местного падежей, в общем не свойственная ташкентской и ферганской группе говоров, в восточной и средней части Узбекистана не составляет сколько-нибудь компактного ареала, хотя и отмечена в андижанском (А. Маматов полагает, что взаимозаменяемость этих падежей здесь — результат многозначности управляющего глагола: *Чорсида/Чорсига тушаман*), уйчинском, ниязбашинском [24], изредка — в джизакском, на севере наблюдена в говоре г. Туркестана. Взаимозаменяемость этих падежей широко представлена на западе и юго-западе территории узбекского языка — в говорах самаркандско-бухарской подгруппы (наличие dativus-locativus на *-гэ* . . . Е. Д. Поливанов считал одной из основных особенностей этих говоров), в каттакурганском (городском), пайшанбинском (в двух последних говорах допустима замена местного падежа дательно-направительным, но не наоборот), в говорах долины Кашкадарьи и Сурхандарьинской области, в говорах Бешкентского района, в шахрисябзском [25] и каршинском (в последнем дательно-направительный, выступая в функции местного, практически вытеснил его).

Причинное значение дательно-направительного падежа, которое Э. В. Севортян считает архаическим [26], для БН является обычным (*кунлар ғайат қисқалиққа илгариги кыши йаруқ чақта хавал алдиға келдилар* 245_{20} «Так как дни были очень коротки, передовые пришли к ущелью засветло»). Использование дательно-направительного падежа в этом же значении наблюдается в андижанском говоре. С этим употреблением сопоставимо функционирование дательно-направительного вместо исходного

[22] См.: А. Шерматов, Қарши шевасининг баъзи морфологик хусусиятлари, ЎДМ, II, стр. 184.

[23] См.: Ю. Джуманазаров, Морфологические особенности хазараспского говора узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1961, стр. 9; В. Решетов, Ш. Шоабдураҳмонов, указ. соч., стр. 210. Ср. взаимозаменяемость винительного и дательно-направительного падежей, наблюденную в произведениях Навои (К. Каримов, указ. соч., стр. 129, 130).

[24] См.: А. Ю. Алиев, Ўзбек тилининг Уйчи шеваси. Канд. диссерт., Тошкент, 1959, стр. 90; Н. С. Гафурова, Ниязбашинский говор узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1962, стр. 14; е е ж е, Ўзбек тилининг Ниязбоши шеваси, ЎДМ, II.

[25] См.: Е. Д. Поливанов, Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка, стр. 521 (№ 18) и 531; е г о ж е, Образцы несингармонистических (иранизованных) говоров узбекского языка, I, «Докл. АН СССР», [Серия] В, 5, 1928, стр. 93; М. Мирзоев, Ўзбек тили Бухоро шевасининг хусусиятларига доир, ЎТАМ, 1959, 1, стр. 36; Я. Г. Гулямов, указ. соч., стр. 52; Н. Ражабов, Каттақўрғон шевасининг баъзи бир морфологик хусусиятлари, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги серия. 129 — Ўзбек тилшунослик масалалари, 1963, стр. 166; е г о ж е, Пайшанба шевасининг баъзи бир хусусиятлари, ЎТАМ, 1960, 4, стр. 44; Б. Джураев, Некоторые фонетические особенности шахрисябзского говора, «Узбек давлат университетининг асарлари», Янги серия, 91, 1959, стр. 148.

[26] См.: Э. В. Севортян, Категория падежа, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», II, М., 1956; е г о ж е, К истории падежной системы в тюркских языках, «Уч. зап. ВИИЯ», 6, 1948.

падежа в говоре Вуадиля, в паркентском, хазараспском, найманском говоре Катта-Кургана [27] (и, наоборот, исходного в значении дательно-направительного в хазараспском и андижанском): приведенная особенность, таким образом, оказалась представленной, с одной стороны, на востоке, а с другой — на западе и на крайнем западе территории узбекского языка.

Форма показателя исходного падежа с гласным верхнего подъема *-дин/-тин*, единственно возможная в БН, уцелела в карабулакском, манкентском, иканском и туркестанском говорах [28], спорадически она употребляется в андижанском, наманганском [29], ошском, папском, бустанликском (на картах — г. Газалкент) и ниязбашинском говорах, в кураминских говорах Ташкентской области [30]. На карте 1 показано, что на основе этого признака север, восток и центр территорий узбекского языка объединяются в один довольно компактный (хотя и «прерывистый») ареал; в качестве обособленного островка этого ареала на крайнем западе можно рассматривать кишлаки Оккум и Шанги Гурленского района Хорезмской области, где так же спорадически употребляется форма на *-дин* [31]. Чертой, на основе которой можно сопоставлять язык БН и андижанский говор, является употребление глухих вариантов «местного и исходного падежей *-та* и *-тан* [для БН *-тин*.— *Г. Б.*] не только после глухих, как это мы видим в большинстве узбекских говоров, но и после как гласных, так и звонких согласных» [32]. Например: *ушбу жанибтин* (2_9) «вот с этой стороны», *Хўжендтин* (73_{17}), *Самарқандтин* (65_{12}, 85_{11}) (ср. также *Самарқандта* 84_{23}, 85_6; *Хўжендқа* 69_{23}, 74_{21}, *Самарқандқа* 73_{17}, *манқа* 127_{22}, 128_{21}, 141_2 «мне», *санқа* 132_{20} «тебе», *анқа* 124_{21}, 135_5, 139_{16} «ему»).

В БН (как и в некоторых современных говорах, расположенных преимущественно на западе территории узбекского языка, например в хазараспском, в найманском говоре Катта-Кургана) отражена синтаксическая заменимость исходного падежа местным (*Ҳинд фатҳида сўң* [33] «после покорения Индии»); в наманганском городском говоре имеет место падение конечного *-н* в показателе *-дән*, восполняемое заместительной долготой.

Из особенностей прилагательных отметим аффикс, образующий относительные прилагательные: в БН это *-лиқ/-лиғ/-лиң*. Именно в таком виде (т. е. *-лъқ* с его фонетическими вариантами; В. В. Решетов считает эту форму принадлежностью йекающих говоров) этот аффикс, сохранившись в андижанском, ошском, ферганском, кокандском [34], в говорах Наманганской области (А. К. Боровков), в говоре Вуадиля (здесь — в виде *-лъй*) [35], образует тем самым довольно компактный ареал на востоке территории «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности» так же, как и на севере этой территории, где этот аффикс зафиксирован К. К. Юдахиным в карабулакском, манкентском, иканском говорах; Е. Д. Поливановым — в говоре г. Туркестана. К этому ареалу тяготеют *-лиғ*, встречающееся иногда в паркентском, и *-лий* ташкентского говора. На западе указанной территории этот признак (*-лъқ* и варианты) представлен в шахрисябзском и каттакурганском городском говоре. Использование аффикса относительных

---

[27] См.: Ҳ. Ўзоқов, Водил шеваси морфологиясидан, АТМ, 3, стр. 386; М. Валиев, Ўзбек тилининг Найман шеваси (Каттақўрғон найманлари материаллари буйича). Канд. диссерт., Самарқанд, 1963, стр. 143.

[28] См.: Е. Д. Поливанов, Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка, стр. 519, 521; К. К. Юдахин, Некоторые особенности карабулакского говора, ЎДМ, I, стр. 35; его же, Қорабулоқ ва Манкент шеваларидан текст намуналари, «Уч. зап. [Таш. ГПИИЯ]», VII; его же, Уйгурско-узбекские языковые связи, «Изв. АН КазССР», Серия уйгуро-дунганской культуры, 1, 1950, стр. 28; В. Решетов, Ш. Шоабдурахмонов, указ. соч., стр. 213.

[29] См.: St. Wurm, указ. соч., стр. 41; В. В. Решетов, О наманганском говоре узбекского языка, сб. «Акад. В. А. Гордлевскому к его 75-летию», М., 1953, стр. 228; С. Туляков, указ. соч., стр. 503.

[30] См.: Ё. Ғуломов, К. Н. Назаров, Бўстонлиқ район ўзбек шевалари ҳақида, «Научн. труды [Таш. гос. ун-та]», Нов. серия, 260, филол. науки, кн. 25, 1964, стр. 177, 178; В. В. Решетов, Кураминские говоры Ташкентской области. Автореф. докт. диссерт., Ташкент, 1952, стр. 41.

[31] См.: Ф. А. Абдуллаев, Узбек тилининг Хоразм шевалари, Тошкент, 1961, стр. 240.

[32] А. Маматов, указ. соч., стр. 151. См. также: Ш. Носиров, Қўқон шеваси фонетикаси, ЎТА, 1964, 1, стр. 61.

[33] «The Bābar-nāma», ed. by A. Beveridge, Leyden — London, 1905, л. 826a, строки 4—5.

[34] См.: Ш. Шоабдурахмонов, Таянч шаҳар шеваларнинг фонетик системаси, «Уч. зап. [Таш. ГПИИЯ]», VII, стр. 73—77.

[35] См.: Ҳ. Узоқов, Водил шевасининг баъзи лексик хусусиятлари, там же, стр. 126.

прилагательных в целях так называемого «синтаксического словообразования»[36] отмечается в БН (например: *бу а т а л и қ ў ғ у л л у қ Танбалға арқаланиб мундақ харакатлар бунйад қилдилар* 92_8 «эти о т е ц с с ы н о м творили такие поступки, имея за спиной Тенбеля»). Сохранившись как языковой факт в некоторых современных говорах, «синтаксическое словообразование» претерпело здесь, однако, изменения в своей семантике: присоединяясь к парным словам, этот аффикс передает лишь признак обладания обоими предметами, которые выражаются парными словами (так в ташкентском, каттакурганском городском, папском, в хорезмских говорах).

Притяжательные местоимения и притяжательные прилагательные на *-ниңки*, интересные тем, что они отличаются полной прозрачностью своего образования, отмечаются в БН (*бизниңки* 101_{20}); по настоящее время сохранились они в северной части территории «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности» — в карабулакском и иканском говорах, где к тому же представлено специфическое — атрибутивное — употребление притяжательного прилагательного[37] (такое употребление не зафиксировано в памятниках староузбекского языка); в восточной части этой территории — в андижанском—формы *мениңки*, *сениңки* встречаются очень редко; на крайнем западе— в говоре Хазараспа — Янгиарыка употребляется форма на *-иңки*[38], поддерживаемая соседством с туркменским языком, в котором она имеется; аналогичная форма свойственна также уйгурскому языку. Встречающееся в языке Бабура (особенно в языке его поэзии) относительное прилагательное *бурнағи*, производное от наречия *бурна*, которое в функции послелога широко употребительно в БН (см., например, 281_{20}, 282_3, 324_9, 438_9 и др.), при картографировании его в современных говорах (за неполнотой сведений о *бурнағи* при этом использовалось и *бурна*) обнаруживает любопытный разброс по территории узбекского и соседящих близкородственных языков (см. карту 1).

Обращение к диалектным материалам позволяет дать вероятное толкование пока не объясненному явлению, типичному для языка БН: прилагательное *йахши*, употребляясь в функции определения к глаголам действия, получает здесь аффикс множественного числа *-лар*[39], который имеет «подчеркивающее или усиливающее значение»[40]. Например: *алар ҳам аз киши била йахши тўхтаб кун улаңдин й а х ш и л а р атқуладилар* (114_{9-10}) «Они тоже с небольшим числом людей удачно расположились и очень хорошо постреляли (во врагов) с солнечной стороны»; *анда Фаридун Хусайн мирза хейли й а х ш и л а р барибтур* (208_{3-4}) «Феридун Хусейн мирза там [в битве при Рабат-и Дузд] держался чрезвычайно хорошо». Трудно согласиться с отнесением *йахшилар* к той «особой группе наречий», к образованию которой приводит «семантическое обособление аффикса *-лар* ~ *-läp*»[41]: этому толкованию препятствуют хотя бы уже случаи, когда аффикс *-лар*, сохраняя свое подчеркивающее или усиливающее значение, присоединяется к именному компоненту устойчивого (или полуустойчивого) глагольного сочетания, имеющего при себе определение *йахши*: *Зу-н-нун Арғун бавужуд-и хаст ва бахиллик й а х ш и х и з м а т л а р қилди* (53_{8-9}) «Несмотря на свою скупость и скаредность Зу-н-Нун очень хорошо услужил [мирзе]».

Необычное использование *-лар* в глагольном определении *йахши* можно сопоставить с употреблением частицы *-ла* в андижанском и ошском, отчасти в ташкентском говорах, а также в узбекских кишлачных подговорах районов Оша, Карасу, Куршаба, Аравана, Джалал-Абада, Сузака, в подговорах кишлака Хакка Мархаматского района и населенных пунктов Ходжаабад, Булакбаши, Кургантепа, Пастки, Карасу, Аим, Манак, где эта частица может присоединяться к прилагательному (например, *й а х ш и й л а узум қиса кәраг бу йил*), числительному, местоимению, наречию, послелогу,

---

[36] Термин Н. К. Дмитриева.

[37] См.: К. К. Ю д а х и н, Некоторые особенности карабулакского говора, стр. 47, 50, а также: е г о ж е, Қорабулоқ ва Манкент шеваларидан текст намуналари, стр. 21. Атрибутивное употребление этой формы отмечено также в диалектах татарского языка, см.: Д. Г. Т у м а ш е в а, Восточный диалект татарского языка и его отношение к татарскому литературному языку и другим его диалектам, «Вопросы диалектологии тюркских языков», Казань, 1960, стр. 49; Н. Б. Б у р г а н о в а, Особенности говора татар нагорной стороны ТАССР, «Материалы по диалектологии», Казань, 1955, стр. 58—59.

[38] См.: Ф. А б д у л л а е в. Келишик аффиксларининг генезисига доир (II), ЎТАМ, 1962, 2, стр. 68.

[39] Так, К. Броккельман фактически трактует *йахшилар* как субстантивированное прилагательное, переводя *yaḫšïlar išlädi* Ilm. 300_{12} (H 234_4 *bardï*) как «er hatte G u t e s getan» (см. его «Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens», Lf. 1—7, Leiden, 1951—1954, стр. 281).

[40] Ср.: T. K o w a l s k i, Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes *-lar*, *-lär* in den Türksprachen, Kraków, 1936, стр. 16.

[41] А. М. Щ е р б а к, Грамматика староузбекского литературного языка, М.— Л., 1962, стр. 119.

глаголу [42]. Примечательно, что частица *-ла*, таким образом, имеет весьма характерный своей локализованностью (как это можно видеть на карте 1) и чрезвычайно плотный ареал, охватывающий именно крайний восток территории узбекского языка — говоры андижанско-шерхонского и ошского диалектов; обособленным островком этого ареала на крайнем западе является пос. Манак в Хорезмской области. Частица *-ла*, свойственная уйгурскому языку, встречалась уже в письменных памятниках XI в. [43]. Вполне допустимо, что при переписке БН стараниями инодиалектного переписчика на месте незнакомой частицы *-ла* (по свидетельству А. Маматова, в других — кроме перечисленных — узбекских говорах указанная частица не употребляется) появился аффикс *-лар* [44]. При таком объяснении легко понять, кстати, и приведенный выше случай перемещения частицы *-ла*[*р*] от глагольного определения к именному компоненту составного глагола.

Сопоставления в области числительных показывают прежде всего, что написания некоторых количественных числительных без удвоения корневого согласного (типа *ики*) в БН поддерживаются диалектным произношением, причем такое произношение отмечается в самых разных районах территории узбекского языка (см., например, карабулакский, паркентский и найманский говор Катта-Кургана). Зафиксированные в БН количественные числительные высших разрядов *бир туман* «10 000», *лек* «100 000» еще сохраняются, например, в папском и найманском говорах (старшее поколение), см. *лэк* в шахрисябзском. Один из способов передачи приблизительного подсчета — присоединение аффикса *-ча* непосредственно к количественному числительному [45], широко распространенный в БН (*унча* 430_2, *йигирмача* 188_9, *ўтуз-қирқча* 103_9, *йуз-йуз эликча* 277_2), наряду с более поздними способами наблюдается и в отдельных современных говорах, в частности в папском и ташкентском. Другой способ передачи приблизительного подсчета, широко представленный в БН,— путем сочетания количественного числительного со словом *чағлиқ/чақлиқ* (*йуз чақлиқ* 136_9, *мин чағлиқ* 437_{22}) — также известен ряду говоров. Нанесенный на карту 1 этот признак не имеет четко локализованного ареала, будучи представлен в центре рассматриваемой территории ташкентским говором (*йуз чғлуг/чғлъй*) и к востоку от него — папским (*ончоғлий*), на западе — джушским (*вон чахлы*) [46] и найманским говором Катта-Кургана (*жийирмə чақлы*), на крайнем западе Узбекистана — хорезмским (*йийърмə чақлъ*; ср. *өнчəлли* в ургенчском) и на северо-западной его окраине — кыркским (*минг чоқлы*) [47]; в «Узбекско-русском словаре» (М., 1959, стр. 156) с пометой «областное» дается также *йигирма беш ж о в л и қ* «примерно 25»; интересно отметить, что в охватывающей территорию узбекского языка с востока киргизской языковой стихии употребительно *он чақты*, а на севере, в казахском — *он шақты*.

Указательные местоимения в форме, присущей староузбекскому языку: *бул*, *ул*, *шул*, при нанесении их на карту 1 также составляют более компактный ареал на территориях, расположенных к западу от центральных областей, употребляясь в джизакском, галляаральском, пайарыкском, бахмалском (Каракишлакский район Самаркандской области, где отмечена возможность параллельного использования *о/ол*, *шо/шол*), в самаркандском [48], в найманском говоре Катта-Кургана (здесь используются на равных правах *бы/был*, *шы/шыл*, *ы/ыл*), карнабском и в джёкающем говоре Ширабадского района (в последнем сосуществуют параллельные формы *бо/бол/бул*, *шо/шол/шул*, *во/*

---

[42] См.: А. М а м а т о в, *-ла* ва унинг Андижон шевасидаги хусусиятлари ҳақида, «Сборник научных трудов аспирантов САГУ», IV, Ташкент, 1958; И. Ф а р м о н о в, Ўш шевасида *-ла* юкламаси, ЎТАМ, 1958, 2; е г о ж е, Ўш шевасининг баъзи бир морфологик хусусиятлари, ЎТАМ, 1960, 3, стр. 45.

[43] См.: С. М у т а л и б о в, XI аср ёзма едгорликларида феъл категорияси, Ташкент, 1955, стр. 32—33.

[44] Иной же переписчик или издатель текста вовсе опускал непонятное ему *-ла* (~ *-лар*?) в этой необычной функции; так случилось, например, в фрагменте БН, изданном И. Н. Березиным (см. его кн. «Турецкая хрестоматия», Казань, 1857, стр. 85 и 98; ср. соответственно БН 4, 13).

[45] Этот способ представлен также в языке памятников древнетюркской письменности (см., например: С. Е. М а л о в, Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951, стр. 63 и др.).

[46] См. А. А х м е д о в, Джушский говор узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., Ашхабад, 1962; е г о ж е, Жўш шевасининг баъзи бир морфологик ва лексик хусусиятлари, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги. серия, 129, стр. 173.

[47] См.: Т. З. М и р с о а т о в, Ўзбек тилининг қирқ шеваси, ЎДМ, I, стр. 240; Ш. Ш о а б д у р а ҳ м о н о в, Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари, Ташкент, 1962, стр. 187; Ф. А. А б д у л л а е в, указ. соч., стр. 159.

[48] См.: Е. Д. П о л и в а н о в, Образец языка самаркандских узбеков, сб. «Проблемы языка», Ташкент — Самарканд, 1935.

/вол/о); на крайнем северо-западе — в кыркском, где наблюдаются *шол/шул/бул, ол/ул* [49]; допустимо предположить, что в перечисленных говорах этот архаический для современного узбекского языка признак сохранился благодаря влиянию соседящих казахского и каракалпакского языков (*ол, бул, сол*). Лишь в отдельных пунктах этот признак отмечается на севере (карабулакский), в центре [подговор квартала Кызыл-Куёш в г. Ташкенте — *бу(л), у(л)* [50], ниязбашинский] и на востоке — в ошском (*шул*), кокандском (*у/ул, бъ/бул, шу/шул*) [51], андижанском — в словосочетании *ул-буллаpингизди олди:зми?*; в наманганском, где староузбекская форма восстанавливается при плеонастическом присоединении к указательным местоимениям аффиксов 3-го лица ед. числа — *бул-и-си, ул-и-си*; с этим можно сопоставить хазарасписские «стяженные» формы *бъламъ* (*бул ҳам*), *ҳуламъ* (*ул ҳам*), *шуламъ* (*шул ҳам*), употребляющиеся субстантивно, а также форму *ҳо:л/о:л* при указании на отдельный предмет [52]; ср. в туркменском *ол/о, шол/шо, хол/хо*.

Личные местоимения 1-го и 2-го лиц ед. числа с узкой огласовкой, наблюдаемые в языке БН (в косвенных формах здесь иногда бывает представлена и широкая огласовка) и свойственные, по свидетельству В. В. Решетова, современным джекающим говорам, при картографировании образуют плотный ареал в восточных районах Узбекистана: они встречаются в андижанском, в кыпчакском говоре Янгикурганского района Андижанской области [53], в каракалпакском говоре узбекского языка, ферганском и ошском говорах, а также в папском (в последнем параллельно употребляются *мен/ман, сен/сан*). По мере продвижения к западу локализация этого признака становится гораздо менее плотной: в центре Узбекистана *мен, сен* зафиксированы в кураминских говорах Ташкентской области, на западе — в найманском говоре Катта-Кургана и на крайнем западе — в мангытском [54].

Предикативные показатели 1-го и 2-го лиц ед. числа в узбекских говорах чаще всего выступают с широкими гласными *-а, -э*. Учитывая это наряду с положением Е. Д. Поливанова и К. К. Юдахина: «звуки *о, ӧ* и *е* могут стоять только в первом слоге слова, что является существенным признаком узбекского языка» [55], все же трудно допустить чтение *-ман, -сан* для предикативных показателей 1-го и 2-го лиц ед. числа в БН [56], где эти показатели так же, как и соответствующие личные местоимения, пишутся через «йай» [57]. Широко представленный в БН показатель 1-го лица мн. числа *-биз* наблюдается в ряде современных говоров, чаще всего, однако, распространяясь не на все парадигмы спряжения, но затрагивая лишь спряжение тех или иных временных форм. Распределение на карте этого признака, разместившегося в виде разрозненных островков на востоке (кыпчакский говор Янгикургана, кокандский и папский) и в центре (ташкентский, ниязбашинский), на западе дает несколько более компактную картину — найманский говор Катта-Кургана, карнабский, каршинский (*-пиз*), говоры Бешкентского района, говоры района Кассана Сурхандарьинской области (группа пулатинских говоров) [58]; на крайнем северо-западе несколько особняком стоит кыркский. Такое территориальное распределение этого признака позволяет сопоставлять формант *-биз/-пиз* с показателем *-пыз*, использующимся в составе лишь некоторых временных форм казахского языка. Указанное частичное распределение признака (уместно отметить к тому же факультативное употребление *-бъз/-ъбъз* в качестве показателя принадлежности 1-го лица мн. числа в карнабском, ташкентском говорах и в бухар-

[49] См.: Т. З. Мирсоатов, Қирқ шевасидан намуналар, «Уч. зап. [Таш. ГПИИЯ]», VII, стр. 88, 89, 92 и сл.

[50] См.: S t. W u r m, The Uzbek dialect of Qïzïl Qujaš, «Bull. of the School of Oriental and African studies», XII, pt. 1, 1947, стр. 93.

[51] См.: К. К. Юдахин, Тексты, ЎДМ, II, стр. 43; Ш. Носиров, Қўқон шевасининг баъзи морфологик хусусиятлари, ЎТА, 1964, 3, стр. 60 (картографировать этот признак в кокандском не удалось, так как клише карт было изготовлено раньше выхода в свет ЎТА, 3).

[52] См.: А. Маматов, Эгалик категорияси ва унинг ифодаланиши (Андижон шеваси материаллари асосида), «Сборник научных трудов аспирантов САГУ», IV, стр. 232; Ф. А. Абдуллаев, Келишик аффиксларининг генезисига доир (III), ЎТАМ, 1962, 4, стр. 56; Ю. Жуманазаров, Ҳазорасп шевасидаги кўрсатиш олмошларининг баъзи хусусиятлари, ЎТАМ, 1961, 3.

[53] См.: Ф. Абдуллаев, Ўзбек тилининг қипчоқ шеваси, ЎДМ, I.

[54] См.: А. Ишаев, Манғит шеваси фонетикасидан материаллар, АТМ, 5, 1963, стр. 556.

[55] К. К. Юдахин, Некоторые особенности карабулакского говора, стр. 32.

[56] Как это предлагает А. М. Щербак (указ. соч., стр. 169).

[57] Ср. диалектные формы *кәлāмин, кәмāймин* (В. Эгамов, Галля-аральский говор Самаркандской области. Автореф. канд. диссерт., Самарканд, 1954, стр. 18), а также казахск. *-мын, -сын*.

[58] А. Шерматов, Ўзбек тилининг Косон район шевалари, «Уч. зап. [Таш. пед. ин-та им. Низами]», 42, 1, 1963, стр. 452.

ском диалекте [59]) в современных говорах не дает тем не менее оснований для объяснения случаев функционирования предикативного показателя 1-го лица мн. числа *-биз* действием прогрессивной ассимиляции, т. е. *еббъв* < *ебмиз*, как их истолковывают в своих диссертациях Н. Раджабов и М. Валиев. Иллюстрируя переход *бм* > *бб* все тем же вышеприведенным единственным случаем и вовсе не упоминая о случае *пм* > *пп*, Н. Раджабов, например, оставляет без объяснения приводимые им же случаи использования показателя *-бъз* в формах *ъшлъйбъвде*, *болярбъз*, *қълайқянбъз* и т. д. Естественнее предположить, что дело здесь не в прогрессивной ассимиляции, а в неравномерном развитии самой грамматической системы говора, причем сохранению этого признака могло способствовать соседство казахского языка.

Как известно, широко распространенная в староузбекском (и соответственно богато представленная в материалах БН) группа морфологически родственных форм, производных от глагольного имени на *-гу*, оставила в современном узбекском литературном языке след в виде разрозненных форм, принадлежащих разным разрядам имен. В некоторых из современных узбекских говоров от этой группы уцелело большее количество форм, чем в литературном языке. Как можно видеть на карте 2, распространение форм этой группы не составляет, однако, сколько-нибудь компактного ареала: с одной стороны, это крайний запад территории узбекского языка — хазараспский говор южнохорезмского диалекта, где имя действия на *-гу* удерживает за собой более широкую сферу употребления, как это отмечено и в уйчинском говоре — т. е. на востоке указанной территории. В хазараспском, кроме того, форма на *-гьль/-гъль*, *-қълъқ* сохранилась в атрибутивной функции [60]; в языке БН форма на *-гулук* могла к тому же выполнять и субстантивную и предикативную функции. Предикативное употребление формы на *-гулъ* представлено на западе распространения узбекских говоров — в карнабском (*бяргулъмясдъ*, *бъгулъмясдъ*); там же употребляются формы типа *мянъ бългу-въм* (=литерат. *мening bilganim*), которые Н. Раджабов трактует как «глагол прошедшего очевидного времени» [61]. В хорезмских говорах употребительны формы на *-гьдьйн*, *-гьсьв* и *-гьчь*. В западной же части рассматриваемой территории — в бахмалском, в говорах Галляаралского района, в джушском, каршинском, джёкающих говорах долины Кашкадарьи и джёкающих говорах Ширабадского района отмечена малоизученная еще форма типа *барғычыдим* (ср. *борәйчийди* в шахрисябзском) [62], возникшая, по-видимому, из старой формы *-ғучи еди*.

Сохранение некоторыми современными узбекскими говорами формы на *-гу* и ее производных, а также другие факты (сюда относят и употребление показателя исходного падежа *-дин*), особенно значительные в области фонетики, трактуются исследователями узбекских диалектов как свидетельство «наличия несомненного уйгурского элемента в составе говора» [63], причем этот элемент возводится не к новоуйгурскому языку, а к «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности» или к хронологически более давним пластам языковой подпочвы [64].

Форма на *-гай*, представленная в языке БН полной парадигмой спряжения, на карте современных диалектов Узбекистана не имеет сколько-нибудь компактного ареала: во всей своей парадигме эта форма употребительна, с одной стороны, на западе — в джушском, на крайнем западе — в огузских и кыпчакских говорах Хорезмской области, а с другой — в кураминских говорах Ташкентской области (т. е. в инодиалектном

[59] См.: К. Назаров, Притяжательные аффиксы в узбекских народных говорах. Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1963, стр. 14.

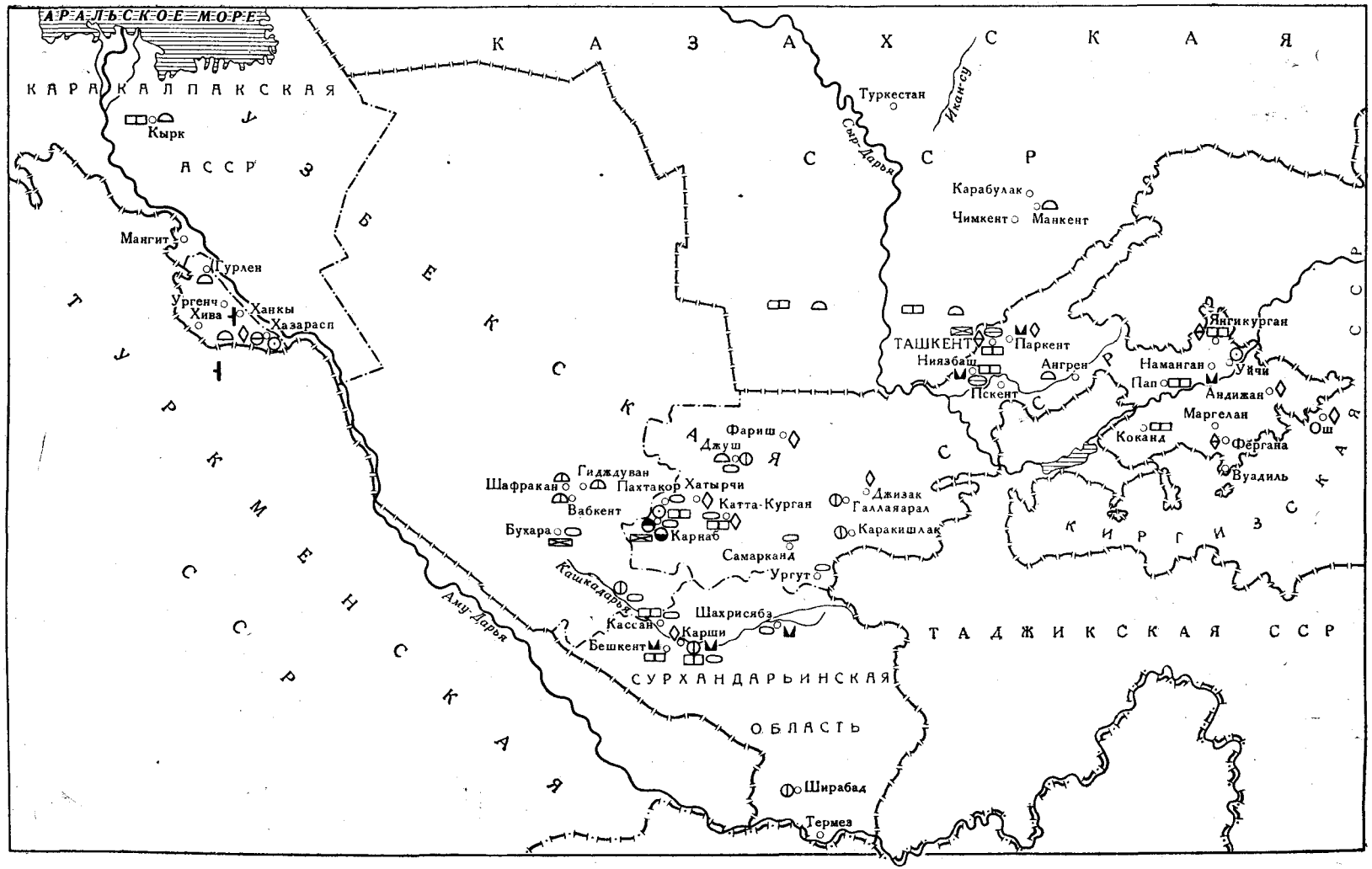
[60] См.: Ю. Жуманазаров, Ҳазорасп шевасининг баъзи бир феъл формалари, ЎДМ, II, стр. 147, 149.

[61] См.: Н. Ражабов, Қарнаб шевасида феъл категорияси, «Ўзбек давлат университетининг асарлари», Янги серия, 77 — Ўзбек тилшунослиги кафедраси, 1958, стр. 10.

[62] См.: Х. Дониёров, Желашган диалектнинг характерли морфологик хусусиятлари, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги серия, 102, 1960, стр. 54; А. Маматқулов, Шеробод район ж-ловчи шевасидаги феъл майллари, АТМ, 2, 1961, стр. 222.

[63] В. В. Решетов, О наманганском говоре узбекского языка, стр. 218. Возможно, что к числу «языковых форм, истоки которых следует искать в караханидской языковой традиции» (В. В. Решетов, Состояние и задачи узбекской диалектологии, стр. 122), относится сложное склонение субстантивированных указательных местоимений в андижанском: *бунисини*, *унисини*, *бунисига*, *шунисида* и т. д. (А. Маматов, Келишик қўшимчаларининг Андижон шевасида қўлланиши, стр. 140; его же, Эгалик категорияси ва унинг ифодаланиши, стр. 232—233).

[64] Ср.: В. В. Решетов, Опорный диалект при образовании узбекского национального диалекта, «Вопросы диалектологии тюркских языков», I, Баку, 1958, стр. 27. См. также: И. А. Батманов, Вопросы классификации узбекских говоров, стр. 34; А. К. Боровков, К характеристике узбекских «умлаутных» и «уйгуризованных» говоров, сб. «Белек С. Е. Малову», Фрунзе, 1946, стр. 29.


АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
КАРАКАЛПАКСКАЯ
АССР
Кырк
Мангит
Гурлен
Ургенч
Хива
Ханкы
Хазарасп
Туркестан
Икансу
Сырдарья
Карабулак
Чимкент
Манкент
ТАШКЕНТ
Паркент
Ниязбаш
Ангрен
Пскент
Янгикурган
Наманган
Уйчи
Пап
Андижан
Маргелан
Коканд
Ош
Фергана
Вуадиль
Фариш
Джуш
Гиждуван
Шафракан
Пахтакор
Хатырчи
Катта-Курган
Вабкент
Бухара
Карнаб
Самарканд
Джизак
Галлаяарал
Каракишлак
Ургут
Кашкадарья
Амударья
Шахрисябз
Кассан
Карши
Бешкент
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ширабад
Термез
ТАДЖИКСКАЯ ССР
КИРГИЗСКАЯ ССР
УЗБЕКСКАЯ ССР
ТУРКМЕНСКАЯ ССР
КАЗАХСКАЯ ССР

Карта 2

массиве, расположенном в центре распространения «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности»); на северо-востоке эта форма отмечена в манкентском говоре, на северо-западе — в кыркском (к сожалению, опубликованные материалы не позволяют установить степень употребительности формы на *-ғай* в этих говорах). Сохранению этого признака в указанных говорах, возможно, способствовала расположенная к северу от Узбекистана близкородственная стихия казахского языка, где уцелела полностью парадигма спряжения формы на *-ғай*. На западе территории узбекского языка — в говорах Вабкента, Гиждувана и Шафрикана Бухарской области — *-гэй* зафиксирована как одна из форм 1-го лица ед. числа желательного (I) наклонения [65].

Широко употребительная в БН форма 1-го лица мн. числа желательного наклонения на *-алиң* (*курашалиң* 26_{18} «поборемся-ка мы», *зикр қилалиң* 12_4 «упомянем-ка мы») отмечена только на крайнем западе территории узбекских диалектов — в говоре селения Ханка (южнохорезмский диалект, где она используется в речи женщин для выражения уважения к собеседнику) [66]. Здесь этот признак поддерживается, с одной стороны, хорошо сохранившейся старой литературной традицией, а с другой — родственной стихией туркменского языка (где обычно образование формы 1-го лица мн. числа желательного наклонения посредством аффиксов *-алыҥ/-елиҥ,-айлыҥ/-ейлиҥ* [67]), охватывающей южнохорезмский диалект с юга.

Парадигма спряжения временных форм, аналитических по своему происхождению,— настоящего на *-а дур*, прошедшего на *-(и)б тур* — характеризовалась в БН почти обязательным присутствием предикативного показателя *тур* в 1-м и 3-м лицах обоих чисел для первой формы и в 3-м лице обоих чисел для второй формы. Эта конструктивная особенность указанных временных форм представлена в говорах Наманганской области, в паркентском, ниязбашинском, шахрисябзском, каршинском, в говорах Бешкентского района (разумеется, с неодинаковой степенью редуцирования *тур-* по разным говорам).

Интересны итоги сопоставления позиционного расположения морфем, включая и вопросительную частицу, в глагольных формах в БН и в современных говорах. В БН вопросительная частица *ми*, используясь при форме настоящего времени на *-а дур* или прошедшего на *-(и)б дур*, может располагаться перед предикативным показателем, например: *келиб му дур, билмай му дур* (143_{13}), *қулағин тутамудур* (240_7). Тот же самый факт в современном языке А. Г. Гулямов связывает «с диалектальным различием» [68]. Действительно, диалектологи отмечают некоторые — но не одинаковые для разных говоров — нарушения (с точки зрения современных норм) иерархии в позиционном расположении частицы *ми* в ряду других глагольных морфем. Это явление зафиксировано на востоке и в центре территории узбекского языка: в ошском, андижанском, кыпчакском говоре Янгикургана (в последнем *ми* может помещаться перед аффиксами лица и числа только во 2-м лице ед. и мн. чисел) [69], отчасти в говорах Ферганы и Ташкента, в том числе в подговоре квартала Кызыл Куёш в г. Ташкенте, в паркентском; далее на запад — в джизакском (где подобное расположение *ми* не ограничивается глагольными формами 2-го лица и используется для выражения определенных оттенков значения), в говорах Самаркандской области (кишлак Багдан Фаришского района [70] и Хатырчийский район — по свидетельству А. Г. Гулямова, который ссылается на дастан Пулкана-шаира), в найманском говоре Катта-Кургана, в каршинском, а на крайнем западе — в огузских говорах Хорезмской области (где *ми* располагается перед аффиксом *-ла*[*р*] в форме 3-го лица мн. числа) [71]. Аналогичное

---

[65] См.: М. Мирзоев, Ўзбек тили Бухоро шевасининг хусусиятларига доир, стр. 37.

[66] См.: Ю. Жуманазаров, Ҳазорасп шевасининг баъзи бир феъл формалари, стр. 142.

[67] См.: Ф. Абдуллаев, Жанубий Хоразм шеваларининг тарихига доир, ЎТАМ, 1958, 4, стр. 68.

[68] А. Г. Гулямов, О сопутствующих явлениях при аффиксации в узбекском языке, «Научн. труды [Таш. гос. ун-та]», Нов. серия, 211, филол. науки, кн. 24, стр. 94. Ср. аналогичные факты, приводимые для современного узбекского литературного языка в статье: М. Хамроева, *-ми* юкламаси ҳақида, АТМ, 3, стр. 474—475 и сл.

[69] Примеры см. в работах: К. К. Юдахин, Тексты, стр. 35 и сл.; И. Фармонов, Ўш шевасида *-ла* юкламаси, стр. 45; Ф. Абдуллаев, Ўзбек тилининг қипчоқ шеваси, ЎДМ, I, стр. 335.

[70] См.: У. Турсунов, Х. Дониёров, Н. Ражабов, Самарқанд областидаги ўзбек халқ шеваларининг классификация қилишга доир материаллар, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги серия, 129, стр. 126; Н. Ражабов, Ўзбек диалектологияси курсидан материаллар, Самарқанд, 1962, стр. 61.

[71] Ф. А. Абдуллаев, Ўзбек тилининг Хоразм шевалари, стр. 168.

явление сохранилось также в современном уйгурском языке [72], а также в некоторых подговорах татарского языка [73].

Учитывая исторические факты, как и факты современных языков и говоров, можно полагать, что отмеченные А. Г. Гулямовым в староузбекском языке «случаи непоследовательности» «в расположении морфем в слове» были обусловлены не столько тем, что «ломали, калечили слова по требованию аруза» [74], сколько недостаточной грамматикализацией многих глагольных аналитических форм и аналитических конструкций [75]. В частности, это можно подтвердить многими примерами из прозаических произведений староузбекской литературы, в том числе — из БН, где, как правило, союз-частица *ҳам* при выражении уступительности ставится между причастной формой смыслового глагола и условной формой вспомогательного (*кетар ҳам бўлса* 54_{17}); при выражении невозможности действия — между деепричастной формой смыслового глагола и отрицательной формой глагола *ал-* (*уруша ҳам алмади... қача ҳам алмади* 194_3). Как показывают наши материалы по языку БН, особенно слабой была спаянность сложных глагольных форм, составленных с помощью грамматикализованного показателя *еди*. В глагольных формах на *-(у)р еди, -адур еди, -са еди, -ғай еди* показатели лица и числа присоединялись к временной основе, т. е. перед *еди*, например: *дерлар еди* (25_{3-4}, $50_{11,21}$), *андақ иш қилмайдурлар еди* (46_8), *кўрдум ерса* (248_1), *келсалар еди* (234_{14}), *бузулғайлар еди* (88_5). Аналогичное расположение показателей лица и числа удержалось в говорах, в частности в карабулакском — в парадигме спряжения прошедшего предварительного времени (*бердим еди*), а также в ташкентском говоре при спряжении сложных форм типа *бълсамъдъ* [76].

Привлечение к сопоставлению материалов из истории узбекского языка позволяет внести уточнения в трактовку некоторых диалектных явлений; в частности, в дискуссионном плане могут быть высказаны предварительные соображения в связи с историческим комментированием прошедшего незаконченного типа *борайдым*. Основной компактный ареал этой формы приходится на западные области территории узбекского языка — это самаркандско-бухарские городские говоры, западная подгруппа джёкающих говоров Самаркандской области [77], говор Ургутского района той же области, каттакурганский городской, найманский говор Катта-Кургана, карнабский, говоры долины Кашкадарьи, каршинский, говоры района Кассана Сурхандарьинской области (группа пулатинских говоров) и шахрисябзский (в последнем, однако, чаще употребляется *бэрэйчийдим*). Прошедшее незаконченное *бэрайдъм* авторами монографических описаний перечисленных говоров возводится к форме типа литерат. *борар эдим* [78]. Если для ташкентского (и ниязбашинского) можно принять трактовку процесса, при котором одновременно с выпадением гласного ъ недостаточного глагола «выпадает и предшествующий ему согласный *р*, а гласный *а*, стоящий впереди согласного *р*, получает долготу: *кўра:дъм, кўра:дънг* и т. д.» [79], то для карнабского, например, подобное объяснение не будет столь доказательным, прежде всего из-за употребительности здесь таких пар модальных конструкций, как *ъшлъйäкäн — кетäрäкäн, ъшлäймъш — тъшлърмъш* [80] (ср. в джушском: *барайдың — барарйэкэнсэн*).

---

[72] На этот факт автору любезно указал Э. Н. Наджип.

[73] См.: Н. Б. Бурганова, указ. соч., стр. 57.

[74] А. Г. Гулямов, указ. соч., стр. 95.

[75] Ср. также отмеченные в ошском говоре случаи повторного присоединения полных показателей лица в конце тех глагольных форм (уже имеющих краткий показатель соответствующего лица), в которых частица *ми* находится перед модальным показателем *-кин*: *олдиммикимман? омадингемикинсан?* (И. Фармонов, Уш шевасининг баъзи бир морфологик хусусиятлари, ЎТАМ, 1960, 3, стр. 44).

[76] См.: Я. Г. Гулямов, О некоторых особенностях словоизменения глагола в ташкентском говоре, «Научн. труды [Таш. гос. ун-та]», Нов. серия, 211, кн. 24, стр. 223.

[77] См.: У. Турсунов, Х. Дониёров, Н. Ражабов, указ. соч., стр. 130—131.

[78] Ср., например: В. В. Решетов, Фонетическая структура слова (на материале узбекского языка), «Уч. зап. [Таш. пед. ин-та им. Низами]», XII, 1959, стр. 29, где джек. *гэпирэ экэн* (<*гэпирэр экэн*), *келэ эди* (<*келэр эди*) трактуются как случаи «выпадения согласных на стыке двух основ или в конце основы при наращении аффиксов» (на стр. 30—31 подобные примеры отнесены к случаям «стяжения в результате соединения двух слов»).

[79] Я. Г. Гулямов, О некоторых особенностях словоизменения глагола в ташкентском говоре, стр. 216; Ш. Шоабдурахмонов, Тошкент шевасининг фонетик хусусиятларидан, ЎТАМ, 1960, 6, стр. 47.

[80] Отметим, что модальные конструкции этого типа Н. Раджабов ошибочно толкует как «архаическую форму причастия прошедшего времени» (Н. Ражабов, Ўзбек тилининг Қарнаб шеваси. Канд. диссерт., Самарқанд, 1958, стр. 133); характер-

Позиционный переход *р* > *й*, который — как частное проявление подверженности звука *р* в середине и конце слова фонетическим изменениям — неоднократно отмечался в тюркологической литературе [81], в очерках по указанным говорам или не упоминается вовсе (как это случилось при описании карнабского говора), или же получает одностороннее освещение, так как иллюстрируется все теми же формами *кулаймуш* (< *кулар эмиш*?), *турайди* (< *турар эди*?) [82]; при этом ряд диалектологов в данном случае (как и во многих других) не делает различия между чередованиями, происходящими внутри многоморфемного слова, и изменениями, отмечаемыми на границе двух основ. Еще менее документирован и более сомнителен по своей фонетической сути переход *с* > *й*, который постулируется исследователями указанных говоров исходя из отрицательной формы прошедшего незаконченного *бэрмайдъ* (< *бэрмасдъ*?) [83]. Примечательно также и то обстоятельство, что позиционный переход *р* > *й* свойствен многим современным узбекским говорам, однако ареал прошедшего незаконченного типа *бэрайдъм* имеет довольно строгую локализацию, замыкаясь, в основном, пределами западных территорий узбекского языка.

Учитывая вышесказанное и принимая во внимание также тот факт, что староузбекскому языку была присуща разновидность прошедшего незавершенного на *-а(й) дур еди*, получившая свое отражение и в языке БН, можно высказать предположение о том, что формы типа *бэрайдъ* генетически связаны именно с этой разновидностью прошедшего незавершенного, причем развитие этой временной разновидности привело к утрате предикативного элемента *-дур-* (как это имело место и в эволюции некоторых других временных форм); при непосредственном же соединении временной основы на *-а*, *-ъ* и «недостаточного глагола» *еди*, утратившего свой начальный гласный, возник промежуточный *й* [84]. Возможно также, что при передаче прошедшего незаконченного в ряде говоров происходила контаминация этих различных по форме, но близких по значению парадигматических рядов [85]. Сохранение прошедшего незаконченного типа *бэрайдъ* в ряде западных говоров и отсутствие этой формы в других говорах может быть объяснено известной неравномерностью в развитии грамматических систем диалектов и говоров узбекского языка.

Наложение составленных нами карт (см. карту 3) обнаруживает неодинаковое и неравномерное распределение картографируемых признаков по территории узбекского языка. Наиболее плотные и компактные части, где перекрещиваются многие из полученных ареалов, приходятся на области распространения «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности». В частности, довольно компактно ложатся на карту в районе Андижана и сопредельных территорий вместе с картографируемыми признаками и многие другие из числа выявленных при сопоставлении материалов современных узбекских говоров и языка БН. При этом, правда, очень немногие из таких признаков (например, частица *-ла*) имеют строго очерченный именно этими пределами ареал при крайней ограниченности разброса признака по остальной территории узбекского

но, что там же приводится типичное для модальных конструкций предикативное употребление еще одной разновидности этого типа *қилъбмуш*.

[81] См., например: Н. К. Дмитриев, Неустойчивое положение сонорных *р*, *л*, *н* в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1, М., 1955; С. Атамирзаева, Звуковой состав наманганского говора узбекского языка. Автореф. канд. диссерт., Л., 1963, стр. 14.

[82] Ср. в уйчинском факты сохранения конструкций типа *йашаракан* при наличии перехода *р* > *й* (А. Ю. Алиев, Ўзбек тили Уйчи шевасининг фонетик хусусиятлари, стр. 1[illegible] и 156). Ср. также Ҳ. Узоқов, Жанубий Фарғона шеваларида баъзи фонетик қонуниятлар (Фарғона, Қувасой ва Водил шевалари материаллари асосида), ЎТА, 1963, [illegible] стр. 44.

[83] См., например: М. Валиев, Найман шевасининг ундошлари ҳақида баъзи мулоҳазалар, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги серия, 102, стр. 168; Ҳ. Шерматов, Қарши (шаҳар) шевасининг баъзи фонетик хусусиятлари, «Уч. зап. [Таш. пед. ин-та им. Низами]», XII, стр. 188, 201; его же, Ўзбек тилининг Косон район шевалари, стр. 465.

[84] По аналогичном фонетическом явлении см., например: О. Шарипов, Поп шевасининг фонетик системаси, «Уч. зап. [Таш. пед. ин-та им. Низами]», XXIX, 2, 1961, стр. 362; Э. Маматов, Эгалик категорияси ва унинг ифодаланиши, стр. 230. А. Шерматов истолковывает примеры типа *борайакан* как случаи перехода *е* > *йа* (см. его «Қарши (шаҳар) шевасининг баъзи фонетик хусусиятлари», стр. 185); В. В. Решетов [illegible] как «появление согласных... на стыке двух слов» (см. его «Фонетическая структура слова», стр. 31—32).

[85] [illegible] в галляаральском и бахмальском факты соответствия формы типа *бэрғичийди* литературному *борар эди* или форме *бэрайди* перечисленных выше говоров (см., однако, параллельное использование в каршинском *бэрғичийди*, в шахрисябзском *бэрэйчийди* наряду с *бэрайди*).

языка. Ареалы многих из тех признаков, которые более или менее компактно распределяются по территории «карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности», имеют небольшие островки также на крайнем западе — в хорезмских говорах (например, *-дин*, частица *-ла*; *-гу*, *-гулъ*).

В соответствии с одним из важных положений современной диалектографии, гласящим: «Именно совпадение по возможности разнообразных и независимых друг от друга границ отдельных диалектных явлений служит доказательством наличия исторических связей между двумя диалектами» [86], полученные результаты могут быть истолкованы как свидетельство тесных исторических связей между современными говорами «карлуко-чигиле-уйгурского» диалектного комплекса, с одной стороны, а с другой — как подтверждение близости языка староузбекской литературы к «карлуко-чигиле-уйгурскому» диалектному комплексу, который лежит в основе и современного узбекского литературного языка. В то же время при учете всей сложности имевших место в истории узбекского народа смешений и смещений в его этническом составе и при выявлении строгой локализации (Андижан и сопредельные районы) ареалов отдельных, в равной мере характерных для андижанского говора и языка БН, признаков, представляется допустимым предположить связь языка БН с тем говором средневековья, к которому генетически близок современный андижанский говор (ср. указание Захир-эд-дина Мухаммеда Бабура на близость средневекового говора Андижана к языку литературы его времени). Результаты сопоставления значительной части полученных ареалов могут указывать и на связь языка староузбекской литературы с хорезмскими говорами, которые, по всей видимости, также внесли в этот язык свой определенный вклад.

При картографировании выявились и такие признаки, которые имеют специфичное распределение на карте; они локализуются, в основном, или в районах, сопредельных с близкородственным языком, где картографируемый признак является общеупотребительным, или же — напротив — рассосредоточиваются по всей территории узбекского языка, нигде не образуя сколько-нибудь плотного ареала. В первом случае это, например, *ул*, *бул*, *шул*; *-биз*, *-ғай*, сохранению которых в современных говорах способствует воздействие казахского (и отчасти каракалпакского) языка, и *-алиң*, поддерживаемый огузской языковой стихией; во втором — *он чағлиқ*, где можно предполагать влияние киргизского и казахского языков, а также относительное прилагательное *бурнағи* (*бурна+ғи*), которое для разных говоров можно объяснить воздействием каракалпакского, казахского или киргизского языков. Самый факт наличия в староузбекском письменном языке признаков, аналогичных двум последним, лишний раз подчеркивает смешанный характер этого языка, именовавшегося «чагатайским».

Уже эти предварительные результаты произведенной в данной работе попытки историко-сопоставительного изучения на материале одного языка показывают, насколько необходимо при обследовании отдельных диалектов и говоров, равно как и при подготовке «Диалектологического атласа узбекского языка», выделить комплекс вопросов, которые, имея особо важное значение для исторической диалектологии узбекского языка, оказываются весьма ценными и для исследования современных его диалектов и говоров [87]. Несомненно, что осуществление такой дополнительной программы, позволяющей проследить развитие того или иного языкового факта по всем диалектам, даст интересные материалы, которые помогут прояснить процесс сложения ряда диалектов и говоров узбекского языка и избавят от произвольности в исторической интерпретации фактов современных диалектов [88].

---

[86] В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 22.

[87] На неотложность освещения вопросов общетюркского характера в диалектологических атласах отдельных тюркских языков указал В. М. Жирмунский (см. его статью «О диалектологическом атласе тюркских языков Сове тского Союза», ВЯ, 1963, 6).

[88] Критические замечания по поводу произвольного комментирования отдельных диалектных явлений исследователями узбекских диалект ов см. также: У. Т. Турсунов, Х. Д ниёров, Н. Ражабов, Ўзбек диалектологияси ўз ривожланишининг янги босқичида, «Самарқанд давлат университетининг асарлари», Янги серия, 102, стр. 90 и сл.; М. Ш. Рагимов, Сравнительно-исторический метод и изучение диалектов тюркских языков, «Вопросы диалектологии тюркских языков», III, Баку, 1963, стр. 27—28.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р. О. ЯКОБСОН

О ЛАТИНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Посвящается
ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ВИНОГРАДОВУ
к его семидесятилетию

В международном общении численность телеграмм на русском языке неуклонно растет. Между тем разнобой неслаженных, малоудовлетворительных систем латинской транслитерации, применяемых отправителями, мешает разобрать телеграмму, плодит двусмыслицы, а там, где контекст не может помочь расшифровке, например в незнакомых адресату фамилиях или именах местожительств, особенно часто возникают ошибочные разночтения. Во избежание всех этих излишних трудностей должна быть построена международная система латинской транслитерации русских телеграмм, отвечающая требованиям точности, единообразия и экономии.

Такая система призвана обеспечить беспрепятственный и безупречный обратный перевод латинского письма телеграммы на русское. Для этого каждая буква русского алфавита должна всегда, независимо от контекста и от различий в звуковой значимости, найти себе постоянный и неизменный латинский эквивалент, не совпадающий с латинскими эквивалентами прочих русских букв, фигурирующих в том же положении.

32 обязательным буквам русской азбуки (или 33, если принять во внимание факультативную букву *ё*) противостоят 26 букв латинского алфавита. Отсюда явствует, что не менее шести русских букв требуют дополнительных отображений в латинской транслитерации. Диакритические знаки отсутствуют в международном телеграфном инвентаре литер. Следовательно, необходимы диграфы.

Передача двадцати русских букв — *а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ы* — не вызывает споров. Единственная из латинских букв, применяемая отдельно (вне диграфов) в европейских системах письма для передачи глухой свистящей аффрикаты, литера *c*, в частности выполняет именно эту роль в графике всех славянских народов, пользующихся латиницей, т. е. чехов, словаков, лужичан, поляков, словенцев и хорватов. Нет никаких оснований искать иных субститутов для латинской транслитерации русского *ц*. Поскольку есть возможность избежать диграфа, разумеется, предпочтительно пользоваться отдельной литерой; поэтому транслитерационным эквивалентом русского *х* может скорее послужить графически схожая латинская буква *x*, чем сочетания *ch, kh*, тем более что латинская буква *x*, подобно русскому *х*, передает глухой задненебный фрикативный согласный в международной фонетической транскрипции, а также в старой испанской графике: *Don Quixote, Xerez.*

Русское *й* находит себе удачное отображение в латинском *j*, но к той же латинской литере нередко прибегают либо для воспроизведения мягкого звука (ь), либо она бывает использована в диграфах *ja* и *ju*, подставляемых взамен русских букв *я* и *ю*. Однако троякая функция буквы *j* не грозит ошибками в обратной транслитерации. Достаточно помнить тройное правило: *j* в сочетании с последующими *а* и *и* (1) воспроизводит русские гласные буквы *я* и *ю*; вне этих сочетаний *j* в положении после согласных букв (2) соответствует русскому ь, а в остальных положениях (3) букве *й*. Хотя в таких образчиках транслитерации, как *pjjanyj* (пьяный), буква *j* появляется трижды в различных функциях, обратный перевод с латинского письма на русское, следуя вышеприведенному правилу, дает одно однозначное решение, так же как в примерах *sejma* (*сейма*), *semja* (*семя*), *semjja* (*семья*), *semjju* (*семью*), *semji* (*семьи*), *semi* (*семи*).

Транслитерация букв *ж, ч, ш* требует диграфов, причем наиболее рациональным решением, предотвращающим опасность двойственных интерпретаций, является сочетание модифицируемых букв (т. е. в данном случае свистящих *z, c, s*, подлежащих превращению в шипящие) со специальным модификатором. Букву *h*, которая не находит себе автономного применения в предлагаемой системе транслитерации, наделяем моди-

фицирующей функцией: *zh* = *ж*, *ch* = *ч*, *sh* = *ш*. Следует учесть, что буква *h* в роли модификатора используется различными западными системами письма; ср., в частности, английские диграфы *ch* и *sh*. Напротив, такие диграфы, как польское сочетание *sz* для передачи глухого шипящего, привели бы к нежелательной возможности двух несхожих расшифровок: *sz* = *ш* и *sz* = *сз* (ср. *шаги* и *сзади*).

Если в парах гласных букв *а* — *я* и *у* — *ю* диграфы были созданы для менее частой «мягкой» разновидности, то обратно в соответствующей паре *э* — *е* диграфа требует первая, несравненно более редкая разновидность. Снова прибегая к модификатору *h*, транслитерируем *э* в виде *eh*.

Малоупотребительный твердый знак, поскольку он еще окончательно не упразднен, может передаваться либо диграфом *jh*, либо литерой *w*, оставшейся без употребления.

Если *ш* и *ч* воспроизводятся диграфами, то *щ*, трактуемое как сочетание *ш* плюс *ч*, транслитерируется четырьмя буквами: если *ш* = *sh*, а *ч* = *ch*, то *щ* = *shch*. Соучастие двух модификаторов отличает этот тетраграф от всех прочих знаков той же транслитерационной системы и позволяет опознать его, даже если опустить оба избыточных компонента — *s* и *z*. Ввиду этого *щ* может быть передано просто сочетанием *hh*, и в транслитерации диграф становится длиннейшим эквивалентом русских букв.

Подведем итоги:

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
a	b	v	g	d	e	zh	z	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	f	x	c	ch	sh	hh	w	y	j	eh	ju	ja
																															(jh)

При пользовании охарактеризованной системой латинизации русских телеграмм и латинская транслитерация оригинального русского текста, и в свою очередь обратный перевод транслитерированной телеграммы с латинского письма на русское допускают одно единственное решение. А так как каждой входной русской букве всегда постоянно соответствует один и тот же выходной знак (латинская буква или диграф), то, конечно, процесс кодирования, т. е. преобразование русского текста в латинский, без помех поддается полной автоматизации. Клавиатура с входными русскими буквами должна печатать их латинские эквиваленты.

Обратный перевод латинского текста телеграммы на русское письмо требует учета двух правил: во-первых, вышеприведенного правила о трояком русском соответствии транслитерационному иоту, во-вторых, правила о знаке *h*, модифицирующем значение предыдущей буквы в диграфе. Хотя оба правила возможно ввести также и в автомат, декодирующий латинизированные телеграммы на русском языке, но все же они существенно осложняют процесс.

Для того чтобы облегчить этот процесс и обеспечить обоюдную автоматическую переводимость с одного письма на другое, не только каждой русской букве должен постоянно соответствовать один и тот же латинский знак, но и обратно, каждому автономному знаку (несущей самостоятельную информацию букве или диграфу) должна неизменно соответствовать одна и та же русская буква, и диграфы должны быть четко отмежеваны от независимо значимых букв. Строй диграфов подлежит унификации: каждый диграф начинается с модификатора *h*. Таким образом, *h* автоматически сигнализирует, что с него начинается, а любой последующей буквой замыкается диграф. Диграфы первой, полуавтоматической системы — *zh*, *ch*, *sh*, *eh* — подвергаются перестановке: *hz*, *hc*, *hs*, *he*. В связи с обобщением модификатора *h* сочетания *ja*, *ju* первой системы заменяются диграфами *ha*=*я* и *hu*=*ю*. Факультативная буква русского алфавита *ё* может быть включена в систему транслитерации: к парам *а* — *я*, *у* — *ю* легко присоединить также пару *о* — *ё*, передавая букву *ё* диграфом *ho*.

Сообразно с требованием, чтобы каждому автономному знаку выходного текста, т.е. самостоятельно значимой латинской букве или диграфу, неизменно соответствовала одна и та же буква входного русского текста, *ь* и *й* должны быть снабжены различными латинскими эквивалентами. Если *й* передается буквой *j*, то из двух вакантных латинских букв, *w* и *q*, первую можно применить для транслитерации твердого знака, а вторую, пользуясь сходством печатного *ь* с опрокинутым *q*, ввести для передачи мягкого знака.

Вторично подведем итоги:

а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
a	b	v	g	d	e	ho	hz	z	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	f	x	c	hc	hs	hh	w	y	q	he	hu	ha

В приведенной, всецело автоматизированной системе транслитерации 25 из 26 букв латинского алфавита соответствуют 25 из 33 букв полной русской азбуки; 26-я латинская буква — *h* — не выступает отдельно, а только в роли первого, модифицирующего компонента диграфов, и в одном из них (*hh* = *щ*) она совмещает роли первого и второго компонента. При участии, *h* производится восемь диграфов, передающих в транслитерации те восемь русских букв, которым не нашлось соответствия в отдельных буквах латинского алфавита. В декодирующем автомате клавиатура с входными латинскими

знаками (двадцатью пятью отдельными литерами и семью или восемью диграфами) должна печатать их русские эквиваленты (все тридцать две или тридцать три буквы азбуки), восстанавливая таким путем точный текст подлинника.

Если латинская транслитерация русских телеграмм не рассчитана на автоматическое декодирование, то может быть оказано предпочтение первой, полуавтоматической системе ввиду ее большей близости к ходовым печатным формам латинской передачи русского письма в именах, заглавиях, цитатах.

В заключение прилагаю поздравительную телеграмму юбиляру и ее латинизированный текст сначала в полуавтоматизированной, а затем в двусторонне автоматизированной транслитерации:

горячо	поздравляю	желаю	здоровья	и	дальнейших
gorjacho	pozdravljaju	zhelaju	zdorovjja	i	daljnejshix
gorhahco	pozdravlhahu	hzelahu	zdorovqha	i	dalqnejhsix

достижений	в	языкознании	и	поэтике	надеюсь	в
dostizhenij	v	jazykoznanii	i	poehtike	nadejusj	v
dostihzenij	v	hazykoznanii	i	pohetike	nadehusq	v

ближайшем	будущем	встретиться	в	связи	с
blizhajshem	buduhhem	vstretitjsja	v	svjazi	s
blihzajhsem	buduhhem	vstretitqsha	v	svhazi	s

предстоящим	славистическим	съездом
predstojahhim	slavisticheskim	swezdom
predstohahhim	slavistihceskim	swezdom

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1965

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

M. Samilov. **The phoneme *jat'* in Slavic.** — The Hague, Mouton and Co, 1964. 172 стр. («Slavistic printings and reprintings», XXXII).

Удивительно многообразны рефлексы праславянского **ě* в славянских языках и диалектах: монофтонги от *i* и *y* до *ä* и *a*, т. е. практически любая «широкая» или «узкая» гласная, но чаще всего *e* самых разнообразных оттенков, а также дифтонги, «широкие» или «узкие», от *ai* и *ia* до *yi* и *yę*; встречаются даже *au* и *ou*. Только в диалектах словенского языка можно насчитать до 16 «главных» рефлексов праславянского **ě*, резко отличных друг от друга. Такого многообразия рефлексации не знает ни одна праславянская фонема. В свою очередь сама праславянская фонема **ě* неоднородна по происхождению: она восходит к монофтонгу **ē* и дифтонгам *ăi* и *ŏi*. Каким же был праславянский **ě*? Исходя из принципов традиционного сравнительно-исторического метода, следует искать единый «празвук», из которого путем постепенных «переходов» можно было бы «вывести» все многочисленные рефлексы старого **ě* и который можно было бы возвести, опять-таки путем сложных «фонетических переходов», к обоим его предшественникам **ē* и **oi* (< *ăi*, *ŏi*).

В полном согласии с основными принципами этого метода, опираясь на имеющиеся данные, праславянское ять (**ě*) можно реконструировать как дифтонг (Колосов, Фортунатов, Миккола и др.) и как монофтонг (Буслаев, Фасмер, Миклошич, Лескин, Брандт и др.), как «узкий» (Фортунатов, Бернекер, Будде — дифтонг; Миклошич, Лескин — монофтонг) или «широкий» (Колосов, Миккола — дифтонг, Брандт, Мейе и др.— монофтонг) звук.

Все эти реконструкции резко противоречат друг другу, но не противоречат основным принципам сравнительно-исторического метода, с точки зрения которого все они являются равновероятными и вполне приемлемыми. Но формально все-таки легче объяснить все рефлексы праславянского **ě* преобладанием первой или второй части дифтонга *ie* или *i͡a*, *e͡a* с последующим постепенным «расширением» или «сужением» (в зависимости от того, что принято за основу — «узкий» или «широкий» дифтонг и что необходимо «вывести» — «узкий» или «широкий» рефлекс).

Г. А. Ильинский в свое время пытался примирить все эти точки зрения, допуская существование дифтонга и монофтонга «узкого» и «широкого» на разных этапах развития, предложив схему:

$$\begin{array}{l} {}^{*}\bar{e}\ (\text{«узкое»}) \rightarrow \ddot{a} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \rightarrow \overset{\frown}{e}a \rightarrow \overset{\frown}{i}\ddot{a}\ [1] \\ {}^{*}oi \rightarrow \ddot{o}i \rightarrow \ddot{a} \end{array}$$

С проникновением фонологических методов утверждается «монофтонгическая» точка зрения на происхождение **ě* (Трубецкой, Ван-Вейк, Рамовш, Лер-Сплавинский, Мареш, Фурдаль: дифтонгический **ě* был бы единственным дифтонгом в системе вокализма; наличие дифтонга противоречило бы основной тенденции монофтонгизации дифтонгов). Правда, есть еще и сторонники дифтонгической гипотезы (Ю. Шерех).

За последнее время стала утверждаться точка зрения о двух ятях — «широком» и «узком» (Нахтигаль, Лоренц, Хамм, Штибер, Леков, Бернштейн и др.). С точки зрения этой гипотезы, восходящей еще к Ягичу, на определенном этапе развития праславянского языка были две самостоятельные фонемы: *ä* (< **ē*) и *ê* (< **oi*) — **sämen* ~ **smêxъ*. Таково, в общих чертах, состояние проблемы праславянского **ě*.

Как же может разрешаться данная проблема сегодня, с точки зрения современного славянского языкознания, при современном состоянии материала, методов диахронической фонологии и лингвистической географии?

Нами было предложено одно из возможных решений данной проблемы. Исходя из факта, что традиционный сравнительно-исторический метод при изо-

[1] Г. А. Ильинский, Праславянская грамматика, Нежин, 1916, стр. 55, 75.

лированном изучении истории одного звука может дать несколько противоречивых, но в одинаковой степени вероятных и приемлемых с точки зрения этого метода решений, предлагалось корректировать эти решения методами диахронической фонологии и данными лингвистической географии, а в некоторых случаях и данными типологии. Было прослежено развитие всей фонологической системы (с основным вниманием к системе вокализма), начиная с того состояния, когда еще существовали *ē и *oi, и до того момента, когда в результате имманентного развития системы могли появиться первые изофоны *ě [2]. Аналогичным путем идет, например, и Я. Риглер [3], проследивший развитие системы (resp. систем) вокализма словенского языка, начиная с момента появления первой праславянской изофоны (изофона *ě) вплоть до основных вокалических систем современных словенских диалектов.

Такой путь разрешения проблемы *ě, по существу, снимает самое проблему: *ě и его любой рефлекс становится одним из членов соответствующей диалектной системы на любом этапе ее развития. Специфика рефлекса обусловливается его местом в данной системе и историей этой системы. Общепризнано, что с момента появления диахронической фонологии «ни одно из звукоизменений... не должно и не может рассматриваться изолированно, без связи с данной фонологической системой в целом» [4].

Какое же новое решение проблемы *ě, какие пути ее решения предлагает автор рецензируемой монографии? Задача исследования формулируется так: «восстановить общеславянское (т. е. праславянское.— *В. Ж.*) произношение *ě и показать, как могли возникнуть его различные современные рефлексы» (стр. 11). Такая постановка проблемы не может не вызвать интереса. До сих пор считалось, что несмотря на огромные достижения современной экспериментальной фонетики (спектральный анализ, методы сегментации речного потока, опыты по синтезу речи и т. п.) попытка рассмотрения звукового строя древних (тем более реконструируемых) языков на антропофоническом уровне является по крайней мере преждевременной. Если же в настоящее время и возможно исследование произношения и древних языков, то, повидимому, лишь в особых случаях [5]. Для разрешения поставленной задачи автор предлагает так называемую «окружную процедуру»: рассмотрев индоевропейское происхождение *ě, начать с обзора его рефлексов в современных славянских языках и диалектах, вернуться к реконструктируемому гипотетическому состоянию славянской доистории и только тогда попытаться связать прошлое состояние с настоящим.

После краткого введения, где ставится задача, обсуждается план построения работы и даются краткие общеизвестные сведения об индоевропейском происхождении *ě, автор приступает к обзору современного диалектного материала (главы I—III, стр. 15—79). Обзор современного материала строится по следующему плану: описываются рефлексы *ě в стандартном (литературном) языке с учетом всех возможных позиций, затем воспроизводится система гласных фонем этого языка и даются праславянские соответствия каждой фонеме современного литературного языка. После этого автор переходит к обзору диалектных данных. И здесь описываются рефлексы *ě, а в некоторых случаях даются и самые основные типы диалектного вокализма (например, для русского — пятичленная и семичленная системы).

Следует отметить, что описание диалектного материала сделано весьма тщательно, с использованием большой литературы. Особо детализовано описание сербскохорватского языка (рассматриваются отдельно экавские, екавские и икавские говоры, а также штокавские, чакавские и кайкавские); особо, почти на правах отдельного языка рассматриваются наши полесские говоры. При описании последних не отмечено одно весьма интересное, но малоизвестное явление: возможность *а*-рефлекса без мягкости предшествующего согласного в говорах, где нет яканья (*машóк*, *бадá* и т. п.) [6]. При пристальном внимании к диалектному материалу все же не отмечен (или не замечен?) исконный дуализм говоров словенского языка относительно рефлексов *ě («широкий» и «узкий»), на что обращалось внимание в литературе [7].

[2] В. К. Журавлев, Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода, ВЯ, 1963, 2.

[3] J. Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, «Slavistična revija», XIV, 1—4, 1963.

[4] Е. Поливанов, [рец. на кн.:] R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, «Slavia», XI, 1, 1932, стр. 141; ср. соответствующее место в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (В. А. Звегинцев, Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв., М., 1956, стр. 428). Идея эта зародилась еще в недрах сравнительно-исторического метода.

[5] Ср. замечание в кн.: «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 6.

[6] См. карту 4 в кн. «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1963.

[7] M. Malé, Z historii prasłowiańskiego *ě w słoweńskim, «Rocznik slawisticzny», XVI, 1948, 1; ср. также: A. Isačenko, Les parlers slovènes du Podjunje en Ca-

Весьма детально перечисляются случаи отклонения от обычного «нормального» рефлекса, наблюдаемые в отдельных лексемах или грамматических категориях, как, например, русск. литерат. *зв'ёзды* вместо ожидаемого *в' ê-*, укр. литерат. *дитина*, *сидіти* вместо *ді-*, *сі-*, зап.болг. *орáс*, *цалúвам*, *сáка* вместо *-ре-*, *це-*, *се-*, сербско-хорв. литерат. екавск. *nisam*, *stariji*, *pletijah* вместо ожидаемого *ne-*, *-rej-*, *-tej-* и т. д. Несколько странным кажется то, что при столь детальном обзоре весьма распространенные случаи с *a* < **ě* после *-j-* и шипящих здесь совсем опущены (русск. *кричать* < **kričěti*). Не отмечаются русские, украинские, сербскохорватские и чешские лексемы с *a*-рефлексом вместо ожидаемого *e-*, *i*-рефлекса (типа русск. *прямо*, *всякий*, *славяне* и т. п.). Не упоминаются случаи, подводимые под проблему так называемого «третьего ятя», поднятую еще А. И. Соболевским [8]. Проблема эта, хотя имеет скорее морфологический, нежели фонологический аспект, тем не менее может пролить свет на вопрос о произношении праславянского **ě*.

Детально изучая судьбу рефлексов праславянского **ě* в зависимости от самых разнообразных условий (ударение, долгота слога, интонация, мягкость, место образования последующего согласного и т. п.), М. Самилов особое внимание уделяет стилистической функции дифтонгов в восточнославянских языках, подчеркивая факт сосуществования монофтонгического *ê* и полифтонгического *iêe*, *ie* в одной и той же системе, в одном и том же диалекте [9]. С точки зрения М. Самилова различие монофтонг ~ полифтонг можно трактовать как ослабление или усиление признака tense ~ lax. Давая таким дифтонгам и полифтонгам монофонемную трактовку, автор считает, что монофтонгические *ê* и *ô* можно рассматривать как комплекс *i* + *e* и *u* + *o*, подобно тому как *ŭ* = *u* + *i* (стр. 28—29).

В главе IV (стр. 80—129) дается сжатый, но достаточно полный обзор гипотез о праславянском *ě* (**ē*; *ě*$_1$ и *ě*$_2$; *ie*; *ê*; *ä*; *ea/ia*). В конце обзора и лишь на основании его делается вывод о предпочтительности реконструкции широкого монофтонга *ä* и дифтонга *eä* в качестве праславянского **ě* (стр. 89—91). К сожалению, менее подробно освещается гипотеза о двух ятях. Не упоминается весьма важное для понимания природы **ě* наблюдение Т. Лера-Сплавинского о взаимосвязи рефлексации **ę* и **ě* [10] (там, где представлен широкий рефлекс — *ä* и под., деназализация **ę* обычно задерживается; там, где представлен узкий рефлекс — *ê* и под., деназализация носовых проходит раньше).

Для подтверждения тезиса о «широком» **ě* приводятся тщательно подобранные данные, включая и топонимические, о древних славянских контактах с германскими (стр. 92—97 и 101—106), прибалтийско-финскими (стр. 97—101) языками, с греческим, албанским (стр. 106—110) и балтийскими (стр. 110—111) языками. Этот раздел написан очень хорошо, с учетом современной теории языковых контактов. Здесь сопоставляются не только слова с рефлексом **ě*, но и с другими гласными, система вокализма праславянского сопоставляется с реконструируемыми системами прагерманского, готского (стр. 96) и т. п.

Затем автор обращается к «свидетельствам старославянского» языка (стр. 111—135). Рассматриваются гипотезы о фонетической и фонологической интерпретации кириллической (ѣ) и глаголической (Ⰴ) графем в разных позиционных условиях (после согласного, после *j*, после гласного и в начале слова); подчеркивается единогласное признание рефлекса **ě* в старославянском как широкого монофтонга *ä* или дифтонга *e͡a*, *i͡a*.

И только после этого в качестве доказательства гипотезы о широком *ä* М. Самилов впервые упоминает об общеславянском широком рефлексе **ě* в положении после шипящих и *j*. С его точки зрения, праславянский (общеславянский) переход типа **kērъ* → **čērъ* → **čarъ* можно объяснить лишь «фонетическим подобием **ě* и **a* в течение или после первой палатализации» (стр. 113). Между тем переход *ě* → *a* в этой позиции не обязательно следует считать, хотя это мнение и весьма распространено, общеславянским процессом: в тех диалектах, где есть фонема *ä*, до сих пор может сохраняться *ä* в данной позиции, несмотря на наличие фонемы *a*. Это можно было бы заметить, если бы рефлексы **ě* и в данной позиции рассматривались при обозрении диалектного материала. «Переход» *ē* → *ā*, если его сопоставить с другими «переходами» в данной позиции (имеющими иное направление — **ŏ* → **e*,

rinthie, RÉSl., XV, 1935, стр. 54; J. Rigler, указ. соч., стр. 26 и сл.

[8] А. И. Соболевский, Исследования в области русской грамматики, РВФ, VI, 3, 1881. См. об этом: K. Nitsch, W sprawie «trzeciego *ě*-», «Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского», Л., 1928; M. Noha, Praslovanska dvojice *ę*/*ě*, «Listy filologicke», LI, 1929, стр. 244—263 и другую литературу.

[9] Не утратили своего значения и наблюдения Б. М. Соколова (см. «К вопросу о дифтонгическом произношении *ъ* и *о* в южновеликорусских говорах», РФВ, LXXVIII, 3—4, 1917).

[10] T. Lehr-Spławiński, Kilka uwag o nosówkach prasłowiańskich (см.: T. Lehr-Spławiński, Studia i szkice wybrane, Warszawa, 1957). Эту мысль он высказал еще и в докладе на I МСС в Праге (см. там же).

*y → i, *ъ→ь, ср. ст.-слав. пол'е, кон'ь и т. п.), оказывается в какой-то мере противоестественным. Явление это станет менее загадочным, если считать, что до монофтонгизации дифтонгов и совпадения прежних рефлексов *ē и *ai позиция после j и палатальных была позицией нейтрализации для гласных переднего и заднего ряда. Таким образом, наличие широкого рефлекса *ě в данной позиции во всех славянских языках (и там, где в иных позициях представлен узкий рефлекс) не может быть доказательством в пользу «широты» позднего общеславянского *ě (из ē и ai). Этот факт свидетельствует лишь о том, что до монофтонгизации дифтонгов расстояние между *ē и *ā измерялось одним дифференциальным признаком (диезность), который в данной позиции нейтрализовался. Другими словами, прежнее ē действительно можно считать «широким» ä, но это еще ничего не говорит о том, каким был монофтонг *ě, полученный из дифтонга ai, каким был результат совпадения прежних ě₁ (< ē) и ē₂(<ai).

Принимая древнее общеславянское изменение ě → a в позиции после j и шипящих, следовало бы ожидать и последовательность перехода *ě → ja в позиции начала слова. Этого нет (ср. русск. *еда* и *ясли*, *яд*, укр. *яд* и *ім*, сербско-хорв. *jàсли* и *jêд*, *jêм*, н.-луж. *jasła* и *jěd*, *jěm* и т. п.). Рефлексы, восходящие к начальному ai, еще более противоречивы. М. Самилов, признавая трудность объяснения этого факта и ссылаясь на восходящее к Х. Педерсену мнение о том, что здесь следует искать влияние тех случаев, где *ě следовало после согласного (типа *sъn—ědь), полагает, что перехода jě → ja не было (стр. 114, 115).

Только теперь и в связи с этим явлением автор упоминает о других случаях появления a-рефлекса на месте ě в отдельных лексемах, типа русск. *прямо*, *славяне*, *хомяк*, *зяпать* и т. д. (русск. *ядро* следовало бы разбирать в предшествующем параграфе), укр. *біля*, *сляж*, *кря́ка*, сербско-хорв. *člân*, *svàki*, диалектн. *vàverico*; чеш. *ňadra*, *žláza*, *však*; словацк. *kl'aviet'*, *l'avy*, диалектн. *sňah*, луж. *ljesada*, *pódla*, *mjasec*, *wótula* и т. п. Отдавая должное автору в весьма тщательном и полном подборе примеров (из пропуска можно назвать лишь уже упомянутые полесские формы типа *машок* и т. п.), следует отметить, что эти случаи по существу никак не объясняются и для автора они являются лишь реликтами более раннего состояния ě (*еа* или ä).

В качестве еще одного доказательства в пользу «широкого произношения» *ě в позднеславянском автор приводит и данные лингвистической географии: разобщенность болгаро-македонского и лехитского ареалов с широким рефлексом *ě. «Широкое» произношение рефлекса *ě в двух различных частях славянского языкового мира, засвидетельствованное уже в IX—X вв., по мнению автора, ведет к следующей альтернативе: 1) сходство было унаследовано из позднего праславянского или 2) с момента распада общеславянского (не раньше VI в. н. э.) узкое и.-е. *ē эволюционировало в a, ä, еа независимо в отдельных ареалах. Последнее, с точки зрения автора, менее приемлемо, с чем нельзя не согласиться, ибо *ē и не могло быть узким, если, как указывалось выше, прежние *ē и *ā различал лишь признак диезности. Но это никак не опровергает возможность самостоятельного развития широкого рефлекса *ě в отдаленных друг от друга болгаро-македонском и лехитском ареалах.

К сожалению, и в специальном параграфе, посвященном данным географии (стр. 126—128), не нашлось места взаимосвязи изофон рефлексов *ę̌ и *ę.

Приведя все, с его точки зрения, свидетельства в пользу широкого позднеславянского *ě, М. Самилов вновь обращается к данным диалектного материала, пытаясь вывести все современные диалектные рефлексы *ě из широкого *ē (ä или еа). В V главе (стр. 130—145), являющейся итогом исследования, автор прежде всего возвращается к проблеме реконструкции позднего праславянского *ě. Приняв для него «широкое» качество, автор приступает к выбору между возможностью дифтонг ~ монофтонг. Предлагается следующее решение проблемы: в праславянском языке позднего периода употреблялись и дифтонг *e͡a и монофтонг *ä в зависимости от стиля речи.

Далее автор переходит к выяснению места *ě в системе праславянского вокализма и предлагает еще одно новое решение: праславянский характеризовался, с его точки зрения, двумя сосуществующими системами вокализма, связанными с различными стилями речи: монофтонгическим и дифтонгическим. При этом дифтонгическая система включала в себя единственный дифтонг еäа (рефлекс *ě), противопоставленный по этому признаку всем остальным фонемам, а потому и обладающий особой «подвижностью». Такое решение нельзя не признать вероятным: наличие сосуществующих систем засвидетельствовано во многих языках; фонема, противопоставленная другим фонемам (всем или классу) по одному признаку, является слабо включенной в систему, имеет большое поле рассеивания и, следовательно, менее устойчива, обладает большей способностью к изменениям как на фонетическом, так и на фонологическом уровнях. Однако в данном случае, пока «сосуществует» еще и устойчивая монофтонгическая система с ä, это ä должно оказывать влияние на свой стилистический вариант, сдерживая

его «мобильность». В случае генерализации дифтонгической системы мобильные возможности полифтонга могут реализоваться более успешно.

Но даже при таком решении остаются неясными два кардинальных вопроса: 1) что обусловило сужение широкого рефлекса там, где представлен узкий рефлекс, т. е. в большинстве славянских диалектов «центра» вне болгаро-македонской и лехитской «периферии»?; 2) что обусловило совпадение прежних рефлексов и.-е. *ē и *oi и как оно осуществлялось?

По мнению автора, дифтонгический ять мог сузиться, пройдя три (почему именно три? — *В. К.*) этапа: I *eäa/ä* > > II *ėaä/e* > III *iėe/ė*. Одновременно сужался и монофтонгический вариант *ä* как корреспондент части «градуированного» дифтонга или полифтонга. С точки зрения фонологии трудно допустить постепенный процесс сужения монофтонгического *ä* — на любом этапе его подстерегала опасность слиться с более узким гласным (*e*, ь, *i*), если их не различал какой-либо другой признак. И вообще в фонологических изменениях, исходя из самого понимания фонемы как совокупности дифференциальных признаков, не может быть постепенных переходов; изменение фонемы, ее трансфонологизация заключается лишь в изменении дифференциальных признаков (один признак заменяется другим или один признак утрачивается или приобретается, получение же «четверть-признака» или «полупризнака» трудно себе представить как фонологический процесс). Если же автор в данном случае имеет в виду не фонему, а звук и его произношение, то и в этом случае звук *e* второй стадии процесса должен был соепасть с *e* < *ě и далее сужаться уже вмвсте с ним. В таком случае следовало бы ожидать в таких языках и диалектах, как украинский, сербский икавский и др., полное совпадение рефлексов *ě*, *e*, ь, *i*, полное неразличение всех гласных переднего ряда. Однако этого нет.

Автор и сам подчеркивает, что трудно найти «активные причины» «сужения» праславянского *ě в большинстве диалектов. Возможно, пишет М. Самилов, «сужение» связано с адаптирующим воздействием последующего «мягкого» слога, но как тогда объяснить этот процесс в восточнославянских, сербско-хорватском, чешском и других языках? Лишь здесь автор, ссылаясь только на Р. Якобсона, обращает внимание на связь «судьбы» *ě с «судьбой» *ę и заключает, что *ě* сужается, чтобы не совпасть с деназализовавшимися *ę → *ä*. Но почему же в таком случае должен «сужаться» *ě, а не рефлекс *ę? Почему все же в некоторых диалектах рефлексы *ě и *ę совпали (западноболгарский, сербский екавский и др.)?

На второй кардинальный вопрос «проблемы *ě», на вопрос о совпадении рефлексов *ẽ и *oi, автор так и не дает ответа, считая его, видимо, не столь существенным. Автор упоминает о прежних решениях, отдавая предпочтение гипотезам о метатезе Р. О. Якобсона (1929 г.: *oi > *io > *ie) и Г. Шевелева (автор ссылается на устное сообщение: * oAi > *ioA > *ieA). Но даже при этом совпадение *ie* или *ieA с рефлексом *ē остается без объяснения. Если же полагать вслед за автором (см. выше), что *ẽ был узким, то опять-таки остается без объяснения процесс «расширения» *ie или *ieA и *ẽ вплоть до их совпадения.

А между тем многие факты, оставленные автором без объяснения, и некоторые другие факты, ранее не связываемые с «проблемой» * ě, могли бы, думается, найти объяснение, если «историю *ě» изучать не только на фоне истории вокализма, но в связи с историей фонологической системы праславянского языка в целом. Можно полагать, что здесь не было простого совпадения $ě_1$ (<*ẽ) и $ě_2$ (<*oi): здесь взаимодействовали целые сегменты *C'ä* и *Cê* (<*C*+*ẽ* и *C* + *ai*), которые отличались друг от друга лишь последовательностью признаков «узкий резонатор» +«широкий резонатор» ~ «широкий резонатор»+«узкий резонатор». Они должны были совпасть и не различаться. Можно ожидать четыре возможных результата совпадения: 1) *C* + *ä*, 2) *C'* + *e*, 3) *C* + *e* и 4) *C*+*ä*. Накладывая гипотетически восстановленные возможности на карту славянского языкового мира, получаем последовательность: 1) лехитский тип, 2) русский тип, 3) сербский тип, 4) македонско-западноболгарский тип. В процессе совпадения двух ятей сегменты с *j* и шипящими (*č* + *ē*) не принимали никакого участия, ибо после шипящих и *j* не было не только *$ě_2$ (<*oi*), но и самого *oi (общепризнано: *j* + *oi* → *jei* → *i*, ср. рабѣ, кон'и местн. падеж ед. числа и т. п.). В этой позиции мы имеем дело с непосредственным рефлексом * *ē*; никакого «совпадения» $ě_1$ и $ě_2$ здесь не могло быть, а должен был быть широкий рефлекс во всех славянских языках, независимо от рефлексации *ě в других позициях, что и представлено славянскими языками.

Далее, в системе с *ê против этой фонемы среди гласных заднего ряда оказалась «пустая клетка», которая могла быть заполнена перемещением *ǫ → ǫ̂. В таком случае признак назальности станет избыточным и может с течением времени утратиться и на фонетическом уровне. Ожидается, следовательно, взаимосвязь между изофонами *ê* и *ę/ǫ*, что и наблюдается в действительности. Далее, рефлекс *ę, оставшись непротивопоставленным по ряду, может занять «пустую клетку» на месте прежнего *ä (< *ē) или

совпасть с *ě*, если система станет треугольной (русский тип: **ę* → *ä* → *'a*, сербский тип: **ę* → *e*).

В позиции начала слова нельзя ожидать регулярного «перехода» *ē* → *a*, как это имеет место в позиции после *j* и шипящих в середине слова. Здесь следует ожидать «наложение шумов» последующих процессов, связанных с историей протезов (начальное **ē* развивает перед собой *j*-протез, который может совпасть с *j* или отпасть, перед **ě* из прежнего **ai* не должен был первоначально развиваться *j*-протез; с этими случаями должны были взаимодействовать и случаи с исконными **ja* и *jē* и т. д.).

Далее, если «совпадение» **ê* и **ä* шло не путем постепенного сужения или расширения, а путем взаимодействия сегментов **C'ä* и *Ce* в каждом отдельном случае, в каждом отдельном слове, то следует ожидать, что в отдельных лексемах или отдельных категориях такая субституция не произойдет или произойдет субституция обратного характера, например при генерализации *ê* ковгде остается *ä* или даже исконное *ê* заменится *ä*; иными словами, ожидается «аберрация» **ê*, как называет это явление М. Самилов.

Большая или меньшая вероятность той или иной гипотезы может быть измерена лишь количеством покрываемых этой гипотезой фактов и явлений. Как бы мы ни относились к предлагаемой автором гипотезе, нельзя не дать самую высокую оценку книге в целом как скрупулезному исследованию «узкой» темы. Автор весьма тщательно собрал все соответствующие факты, изучил всю имеющуюся литературу предмета (список цитируемой литературы насчитывает свыше 500 названий), не пропустив ни одного сколько-нибудь существенного факта или теоретического источника (за исключением некоторых незначительных пропусков); библиография доведена до сегодняшнего дня.

В. К. Журавлев

S. Marcus. Gramatici şi automate finite. — Bucureşti, Editura Academie Republicii populare romîna, 1964. 253 стр.

С. Маркус хорошо известен своими многочисленными статьями в области аналитических моделей языка (в частности, по применению методов теории множеств), собранными и обобщенными в его недавно вышедшей книге «Математическая лингвистика»[1]. Большой неожиданностью явилось, однако, опубликование им новой работы, посвященной синтетическим, порождающим моделям: «Грамматики и конечные автоматы», ибо до сих пор в этой области он опубликовал всего одну маленькую заметку [2]. Тем не менее следует констатировать, что эта книга представляет наиболее полное изложение теории языков с конечным числом состояний, обобщающее наиболее важные результаты в этой области. В первой главе автор излагает теорию языков с конечным числом состояний в основном в соответствии с классической работой Хомского и Миллера[3]. Во второй главе автор вводит понятие цикла (с помощью циклов порождается бесконечное множество фраз) и изучает условия, необходимые и достаточные для того, чтобы язык был языком с конечным числом состояний, а затем комментирует в соответствии с известными идеями Хомского место языка с конечным числом состояний в ряде других порождающих моделей (грамматик непосредственных составляющих и трансформационных грамматик). Изучается вслед за Хомским понятие самовставления (self-embedding), играющее очень важную роль. В третьей главе излагаются основные понятия теории конечных автоматов, получившей в последнее время значительное развитие в связи с развитием кибернетики, и в четвертой, в соответствии с идеями, намеченными в первую очередь Бар-Хиллелом и Шемиром [4], устанавливается эквивалентность между событиями, представимыми в конечных автоматах и языками с конечным числом состояний, что позволяет использовать в теории порождающих грамматик ряд важных результатов теории автоматов и, наоборот, обогатить теорию автоматов понятиями, выработанными при изучении языков. В пятой главе изучаются связи

[1] S. Marcus, Lingvistică matematică, Bucureşti, 1963.

[2] S. Marcus, Automates finis, progressions arithmétiques et grammaires à un nombre fini d'états, «Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris», 256, séance du 22 avril, 1963, groupe 1.

[3] N. Chomsky, G. Miller, Finite state languages, «Information and control», I, 1, 1958 (русский перевод: Н. Хомский, Г. Миллер, Языки с конечным числом состояний, «Кибернетический сборник», 4, 1962).

[4] Y. Bar-Hillel, E. Shamir, Finite state languages: formal representations and adequacy problems, «Bull. of the research council of Israel», 8F, 1960.

между теорией нейронных сетей, теорией графов и языками с конечным числом состояний. Здесь, в частности, развиваются идеи, высказанные в последнее время чешским математиком К. Чуликом [5]. Шестая глава, наиболее интересная для лингвиста, содержит сопоставление модели языка с конечным числом состояний и свойств естественных языков. Здесь читатель найдет не только ряд оригинальных результатов, но чрезвычайно тонкий анализ свойств языка. Наконец, седьмая глава содержит комментарии и дополнения отчасти логического, а отчасти лингвистического характера. Формулируется ряд проблем для дальнейшего исследования языков с конечным числом состояний.

Этот краткий обзор содержания книги показывает, что в ней обсуждаются наиболее актуальные вопросы теории порождающих моделей и что она благодаря широкому охвату материала несомненно станет настольной книгой для каждого специалиста в этой области.

Хотя, как я уже указывал, большая часть обсуждаемых идей и результатов принадлежит разным авторам, общая концепция, отбор и аранжировка материала — целиком достижение самого Маркуса (не говоря о ряде новых результатов, изложенных в книге). Наиболее ценным представляется редкое в подобных работах понимание чисто лингвистической стороны проблемы, многочисленные лингвистические комментарии, вызывающие лингвиста на активное отношение к ним.

Грамматикой с конечным числом состояний, грубо говоря, называется устройство, которое проходит ряд состояний, выходя из начального и вновь возвращаясь в него, и при каждом переходе производит некоторое слово, так что каждой цепочке состояний, начинающейся и кончающейся начальным состоянием, соответствует фраза. Совокупность таких фраз и называется языком с конечным числом состояний.

Как известно, после работ Хомского принято подчеркивать, что такие грамматики накладывают слишком жесткие ограничения на язык, что целые фрагменты естественных языков не порождаются ими и что естественные языки следует описывать более общими моделями (такими, как грамматики непосредственных составляющих и трансформационные). Действительно, на этом пути достигнут ряд важных результатов (изложению которых посвящена и значительная часть работы Маркуса).

Но подобное обобщение моделей приводит в конце концов к построению столь общих процессов порождения, что они уже ничего не могут раскрыть в специфике естественных языков [6]. Неадекватность модели языку проявляется не только в том, что модель не может породить некоторой части фраз естественного языка, но и в том, что соответствующая языку часть фраз производится слишком общим, не специфичным для языка способом. Поэтому появляется необходимость не только в расширении рассматриваемого класса моделей, но и в его сужении, т. е. в наложении ряда все более сильных ограничений на модель языка, в частности и на такую, казалось бы, ограниченную модель, как модель грамматики с конечным числом состояний.

Хотя соответствующие идеи содержались уже в указанной работе Хомского и Миллера, сам Хомский подчеркивал лишь важность обобщения модели. В изложении Маркуса идея более строгих ограничений приобрела необходимую убедительность в связи с рассмотрением проблемы «нулевого» или «пустого» слова (речь идет о том, что при некоторых переходах из одного состояния в другое может не выдаваться никакого слова, а для общности считается, что производится «нулевое слово»).

Можно выделить такие классы грамматик с конечным числом состояний: F_1 — все грамматики с конечным числом состояний; F_2 — те грамматики, в которых при возвращении в начальное состояние обязательно производится «нулевое слово»; F_3 — те грамматики, в которых «нулевое слово» производится только при возвращении в начальное состояние; F_4 — подмножество таких грамматик из F_3, в которых при возможности перехода в два разных состояния не может производиться одно и то же ненулевое слово [7] (такие грамматики называются «однозначными»).

Оказывается, что хотя каждый из последующих классов входит в предыдущий, для любой грамматики из одного класса может быть построена грамматика из другого, производящая тот же самый язык, т. е. грамматики из разных классов в определенном смысле эквивалентны.

Это имеет следующее значение. «Нулевое слово» может рассматриваться как знак конца предложения (ср. понятие

[5] K. Čulik, Some notes on finite state languages and events represented by finite automata using labelled graphs, «Casopis pro pestovani mathematice», 86, 1961.

[6] Что таким недостатком обладает теория трансформационного порождения, показано Патнемом (см.: H. Putnam, Some issues in the theory of grammars, сб. «Structure of language and its mathematical aspects», Providence, 1961).

[7] Требование, чтобы слово было «ненулевым», добавлено нами по причинам, которые станут ясными далее.

«пограничного сигнала» в фонологии [8]). Поэтому для любой грамматики с конечным числом состояний может быть построена эквивалентная ей, но такая, в которой одно предложение отделяется от другого. Как правильно указывает Маркус, это очень важно для теории декодирования [9].

Наиболее существенным, однако, для дальнейшего представляется замечание Маркуса, что существует случай, когда для избежания неоднозначности появление «нулевых слов» становится необходимостью (стр. 51).

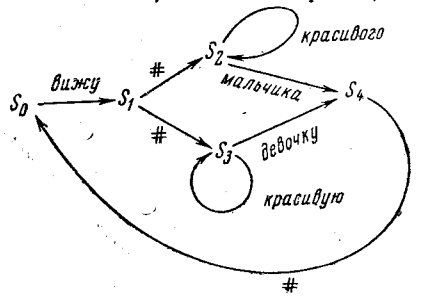
Это имеет, по-моему, следующее значение. Поскольку для естественных языков требование однозначности должно выполняться (это станет очевидным в связи с той интерпретацией модели, которая будет дана ниже), существуют ситуации, когда «нулевые слова» возникают в связи с самой структурой грамматики и, по-видимому, указывают на некоторые грамматические свойства, характерные именно для естественных языков. Возникает вопрос: нельзя ли наложить такие оправдываемые лингвистически ограничения на модель, чтобы появление «нулевых слов» сигнализировало еще о каких-то свойствах языка.

Еще Бар-Хиллел и Шемир в указанной работе предложили интерпретировать состояния, фигурирующие в модели, как имеющие значение лингвистических категорий. Развивая эту идею, А. В. Гладкий ввел чрезвычайно важное понятие грамматики с конечным числом состояний (или, как он говорит, автоматной грамматики) без омонимии [10] и выяснил ряд интересных свойств такой грамматики. Он назвал грамматикой без омонимии такую, при которой каждое слово порождается при выходе не более чем из одного состояния, т. е. каждое слово порождается только в одном месте, будучи однозначно определено порождающим его состоянием, интерпретируемым как его лингвистические категории.

Рассмотрим теперь однозначные грамматики с конечным числом состояний без омонимии. Оказывается, существуют языки, которые могут быть порождены такой грамматикой (при том уточнении условия однозначности, которое мы предложили) только при условии выдачи нулевых слов при переходе в некоторые неначальные состояния. Интересно, что эти языки изоморфны как раз фрагментам естественных языков, например русского. Рассмотрим такое множество фраз: *вижу мальчика, вижу красивого мальчика, вижу красивого... красивого мальчика,* (n раз) *вижу девочку, вижу красивую девочку, вижу красивую... красивую девочку,* (n раз) причем $n = 0, 1, 2...$ Единственная однозначная грамматика без омонимии, производящая эти и только эти фразы, задается следующими переходами:

S_0S_1	с выдачей	слова *вижу*
S_1S_2	»	пустого слова #
S_1S_3	»	пустого слова #
S_2S_2	»	слова *красивого*
S_3S_3	»	слова *красивую*
S_2S_4	»	слова *мальчика*
S_3S_4	»	слова *девочку*
S_4S_0	»	пустого слова #

Схема имеет, таким образом, вид:



Интересно следующее. Если состояния, при выходе из которых производятся ненулевые слова, можно интерпретировать как морфологические категории (точнее, совокупность морфологических категорий слова), то состояния, при выходе из которых производятся нулевые слова, можно интерпретировать как более абстрактные категории, например, членов предложения. Это показывает, что грамматика очень простого строения может при наложении разумных дополнительных ограничений помочь вскрыть существенные лингвистические свойства. Мы не можем здесь далее останавливаться на возможных лингвистических интерпретациях нулевых слов, так как это выходит за рамки обсуждения книги Маркуса, отметим лишь, что поднятая Маркусом (стр. 222) проблема о нахождении минимальной грамматики с конечным числом состояний для описания данного языка, по-видимому, связана с употреблением нулевых слов, ибо, как показывает опыт, в целом ряде случаев минимальное описание достигается именно за счет введения нулевых слов (так, описанный фрагмент может быть порожден моделью без нулевых слов, но это уже будет грамматика с

[8] Это не просто аналогия, поскольку модель с конечным числом состояний может быть с успехом использована для порождения фонетических слов.

[9] См. также: M. P. Schützenberger, On an application of semi-group methods to some problems in coding, «I. R. E. Transactions on information theory», IT — 2, 1956.

[10] А. В. Гладкий, Конфигурационные характеристики языков, «Проблемы кибернетики», 10, М., 1963, стр. 257.

омонимией или неоднозначная грамматика, причем для порождения фраз приведенного примера требуется больше состояний).

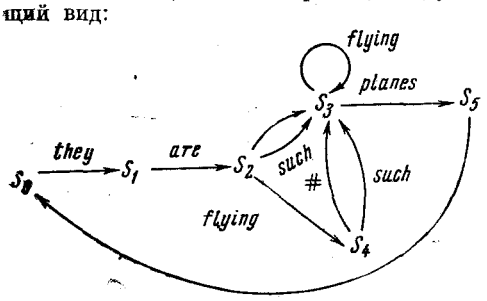
Еще одна иллюстрация. Маркус (стр. 200—202) справедливо возражает Хомскому, считавшему, что языки с конечным числом состояний не дают средств для решения вопроса о конструктивной омонимии, однако не показывает, как этого можно достичь. Покажем, как этот вопрос решается применением омонимичной схемы с нулевыми переходами. Рассмотрим пример Хомского: *They are flying planes*. Эта фраза есть конструктивный омоним только в том случае, если одновременно рассматриваются, например, такие фразы:

They are such flying planes,
They are flying such planes.

Легко проверить, что минимальная схема, производящая все три фразы, задается следующими переходами:

S_0S_1	с выдачей	слова *they*
S_1S_2	»	слова *are*
S_2S_3	с »	пустого слова #
S_2S_3	»	слова *such*
S_2S_4	»	слова *flying*
S_4S_3	»	пустого слова #
S_4S_2	»	слова *such*
S_3S_3	»	слова *flying*
S_3S_5	»	слова *planes*
S_5S_0	»	пустого слова #

Схема имеет, таким образом, следующий вид:



Здесь разное распределение нулевых слов (*They are flying # planes*, *They are # flying planes*) показывает две разные возможности членения предложения и таким образом объясняет его омонимичность.

В связи с этим примером следует отметить следующее. Маркус показывает (стр. 87) целесообразность разграничения понятий фразы (где нулевое слово появляется на конце и только на конце) и сообщения, образованного, вообще говоря, из ряда фраз. Это разграничение, проведенное на основании чисто математических соображений, вполне может быть оправдано лингвистически, в особенности если понимать под фразой внутренне спаянный отрезок предложения.

Второй вопрос, важный из общелингвистических соображений, это вопрос о рамочных конструкциях. Хомский сформулировал в свое время понятие зависимости, состоящее в следующем: можно утверждать, что во фразе $A = x_1 \ldots x_i \ldots x_j \ldots x_n$ имеется (i, j)-зависимость, если замена одного слова x_i на некоторое слово f приводит к неправильной фразе, но существует такое слово g, что замена x_i на f и x_j на g приводит к правильной фразе. Далее Хомский ввел понятие множества зависимостей и сформулировал утверждение, сводящееся к тому, что языки, содержащие фразы с m-зависимостями (где $m = 1, 2 \ldots$), не могут быть языками с конечным числом состояний. Маркус опроверг это утверждение, построив противоречащий пример[11]. Тем самым понятие множества зависимостей потеряло лингвистический смысл. Было бы, однако, неверно считать, что потеряло смысл и понятие (i, j)-зависимости. Дело в том, что, во-первых, оно формализует понятие рамочной конструкции, играющее такую важную роль в грамматике ряда языков (например, немецкого). Во-вторых, как я указывал, наибольшую лингвистическую значимость имеет, по-видимому, класс однозначных грамматик без омонимии. Между тем можно показать, что язык, имеющий хотя бы одну фразу с (i, j)-зависимостью, где $j \geqslant i + 2$, не может быть произведен такой грамматикой (ср теорему 5.1 в моей книге «Модели языка», там я интуитивно пытался формализовать то же понятие, но сделал это так, что оно потеряло лингвистическую значимость. Замечу, что доказательство может быть вполне использовано для нового понятия, введенного в данной рецензии; что же касается имеющегося там примечания, то оно неверно, на что мне указали Маркус и Гладкий).

Здесь мы снова сталкиваемся с обсуждавшимся уже явлением мнимой «неадекватности» грамматики. Хочу отметить, что наличие в естественных языках совокупностей фраз, которые не порождаются той или иной моделью, не должно смущать лингвистов, привыкших рассматривать язык как состоящий из ряда стилей, для каждого из которых может существовать свой механизм порождения (это один из тех случаев, когда лингвистическая тренировка позволяет легко преодолеть трудности, кажущиеся математику непреодолимыми).

В частности, разговорная речь почти не знает ни рамочных конструкций, ни исследованных Хомским явлений самовставления (это верно даже для таких

[11] Следует отметить, что в книге Маркус исправил неточность, допущенную им в цитированной статье. На эту неточность было указано мной в реферате 1 В651 «РЖ. Математика», 1964, но обнаружена эта ошибка не мной, а редактором реферата М. В. Ломковской, которой я до сих пор не имел возможности высказать свою благодарность.

языков, как немецкий) и для ее исследования предложенный узкий класс грамматик с конечным числом состояний, повидимому, вполне годится. В 6 главе Маркус приводит ряд фактов, из которых следует, например, что если язык с конечным числом состояний содержит фразы A_1, A_2, то язык, содержащий фразы вида A_1 *и* A_2, A_1 *но* A_2, A_1 *хотя* A_2, A_1 *потому что* A_2 и т. п., также является таким языком, но в этом последнем теряется точность отношений во фразах типа A_1 *и* A_2 *хотя* A_3. Но такая неточность как раз характерна для естественного языка и неоднократно вызывала сетования логиков по поводу «несовершенства» языка. Наоборот, простейший математический язык, построенный Кэрри[12] для описания очень маленького фрагмента арифметики, перестает быть, как показал Маркус (стр. 83—84), языком с конечным числом состояний, как только на нем начинают формулироваться теоремы. Истинно рамочные конструкции типа *если..., то, поскольку... постольку* и т. п. как раз характерны для научного стиля и вполне возможно, что научный язык должен порождаться другими устройствами, чем разговорный[13].

Мы уже говорили, что Маркус опроверг теорему Хомского о необходимых и достаточных условиях для того, чтобы язык был языком с конечным числом состояний. Но можно ли вообще найти эти условия, причем такие, которые имеют лингвистическую значимость? Интересно, что наиболее важные результаты по этому вопросу, полученные на основе теоремы Майхилла (Myhill) из теории автоматов, связывают теорию порождающих грамматик с одним из основных понятий теории аналитических моделей (и шире — теории дескриптивной лингвистики), а именно с понятием эквивалентности. Некоторая фраза x эквивалентна фразе y, если для любых фраз A и B фразы AxB и AyB либо обе принадлежат, либо обе не принадлежат данному языку. Легко заметить, что здесь обобщается понятие семейства, введенное для слов. Класс эквивалентных фраз есть класс фраз, выполняющих одинаковую синтаксическую функцию. Если отвлечься от фраз типа *если..., то...* и характерных, как мы уже говорили, скорее для научного языка, то вполне можно допустить, что по крайней мере для обычного разговорного языка число таких классов конечно. Во всяком случае это верно для простых предложений, которые составляют *большинство в разговорной речи*. Поэтому такое огромное значение имеет многократно применяемая и убедительно комментируемая Маркусом теорема, гласящая, что некоторый язык порождается грамматикой с конечным числом состояний тогда и только тогда, когда число классов эквивалентности (т. е. классов синтаксически эквивалентных фраз, или классов составляющих, как они определены в дескриптивной лингвистике) конечно. Представляют интерес замечания Маркуса о том, какое значение в этом свете приобретают понятия «производного разбиения», «типа», «раздела» и т. п. Наряду с цитированной статьей А. В. Гладкого книга Маркуса принадлежит, таким образом, к немногим работам, в которых естественным образом увязано исследование синтетических и аналитических моделей. И это составляет немаловажное достоинство книги.

Обширная библиография, насчитывающая 390 названий, дает представление о размахе исследований в этой области и о многократно перекрещивающихся связях теории грамматики с самыми актуальными сейчас отраслями кибернетики.

И. И. Ревзи

[12] H. B. Curry, Some logical aspects of grammatical structure, сб. «Structure of language and its mathematical aspects».

[13] Сходные мысли неоднократно выражал в личных беседах со мной и в одной из еще не опубликованных статей Г. А. Лесскис, впрочем это можно заключить и из его работ по статистической характеристике научного языка, опубликованных в ВЯ.

Z. S. Harris. **String analysis of sentence structure.**— The Hague, Mouton and Co, 1962 (Second printing—1964). 70 стр.

Развитие синтаксической теории за последние четверть столетия характеризуется интенсивным поиском объективных методов анализа синтаксической структуры предложения. Своеобразие объекта изучения требовало разработки специальных методов исследования, учитывающих его специфику и потому отличных от тех, которые используются при анализе структурных единиц иных уровней языка. Распространение на исследование синтаксических объектов метода непосредственно составляющих (НС) не решило проблемы метода в синтаксисе. Как показало дальнейшее развитие синтаксической теории и исследовательской практики, претензии на универсальность метода НС оказались неоправданными. Многие важные элементы структуры предложения не могут быть исследованы этим методом. Своеобразной компенсацией недостаточности метода НС явился трансформационный анализ. В рамках этого анализа возможно, в ча-

стности, разграничение структур, представляемых при анализе по НС как тождественные, хотя они в силу различия выражаемых ими структурных значений таковыми не являются. Как попытку преодолеть недостатки метода НС следует рассматривать и разработанный З. Харрисом цепочный анализ структуры предложения (string analysis)[1]. Весьма симптоматичным является тот факт, что идея и разработка новой методики синтаксического анализа исходит от одного из тех ученых, с чьим именем связано утверждение метода НС в лингвистической науке.

Рассматриваемая работа «Цепочный анализ структуры предложения» состоит из семи разделов, четыре из которых посвящены непосредственно изложению сущности анализа: 1) Три характеристики структуры предложения; 2) Как устанавливаются цепочки; 3) Аксиоматическая теория цепочек; 4) Разложение предложений; 5) Распознавание предложений электронно-вычислительной машиной; 6) Затруднения при распознавании; 7) Итоги осуществления программы на машине «Univac»[2].

З. Харрис характеризует цепочный анализ как промежуточный (intermediate) между анализом по составляющим и трансформационным анализом. Из последующего изложения сущности анализа читатель увидит, что вряд ли имеются основания рассматривать его как новый метод анализа наряду с методом НС. Это скорее известное дальнейшее усовершенствование метода НС, достигаемое прежде всего путем внесения в анализ идеи уровня в пределах синтаксической структуры предложения.

Рассмотрению метода автор предпосылает ряд общих замечаний о высказывании (utterance) и предложении. В определении предложения З. Х. Харрис целиком основывается на формальных, поддающихся непосредственному наблюдению признаках. Предложения, по Харрису, это такие отрезки (segments) речи или письма, которым присущи определенные интонации или структуры. Под структурой понимается некоторая комбинация классов элементов. Каждое высказывание является последовательностью или фрагментом предложений. Задача грамматики, считает З. Харрис, заключается в том, чтобы охарактеризовать все возможные предложения как определенные типы комбинаций определенных классов элементов: фонем, морфем, слов, последовательностей слов, предложений. Таким образом, грамматическое исследование сводится в конечном итоге к инвентаризации конструкций и фиксированию их дистрибутивных свойств без обращения к функциональному назначению слов и сочетаний слов как частей более сложного синтаксического целого. Такое понимание задач грамматики не ново. Оно развивалось автором и в предшествующих работах[3].

В чем сущность цепочного анализа? Каждое предложение рассматривается как состоящее из элементарного предложения (elementary sentence) и нулевого или положительного количества адъюнктов. Адъюнкты — это последовательности слов (word-sequences) определенной структуры, которые сами не являются предложениями и которые примыкают непосредственно справа или слева к элементарному предложению или адъюнкту (или их частям), осложненным или не осложненным другими адъюнктами. Количественно ограниченное число классов слов и общность особенностей принадлежащих к ним единиц делают возможным оперировать при описании структуры предложения символами

[1] Определенные трудности связаны с адекватной передачей термина «string» на русский язык. Идея, положенная в основу наименования, можно предполагать, заключалась в представлении объекта как состоящего из последовательного, как бы нанизывающегося ряда составляющих его единиц, в данном случае слов и словосочетаний. В термине «string» объединяются представления единства и раздельности одновременно. Другие термины, например «отрезок», «сегмент», лишены этого дополнительного оттенка внутренней членимости, раздельности. Термин же «ряд» вызывает ненужную ассоциацию с совокупностью, часто упорядоченной, однородных объектов. Поэтому более (но отнюдь не самым) удачным по сравнению с приведенными представляется термин «цепочка». Недостаток его в том, что он предполагает взаимное сцепление составляющих объект элементов (⊂⊃⊂⊃⊂), тогда как их положение можно было бы изобразить через ○○○○○. Во всяком случае, термин этот не рассматривается нами как окончательный.

[2] Один из вариантов цепочного анализа был выполнен на электронно-вычислительной машине «Univac», дав, по свидетельству автора, удовлетворительные результаты. Прикладной стороны вопроса разложения предложения на цепочки мы, однако, касаться не будем. Предметом рассмотрения будет лингвистическая сущность анализа.

[3] См.: Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951 [последнее издание вышло под названием «Structural linguistics» (Chicago — London, 1963)]; его же, Distributional structure, «Word», X, 2—3, 1954; его же, Co-occurrence and transformation in linguistic structure, «Language», XXXIII, 3 (pt. 1), 1957. Перевод последней статьи на русский язык см. в кн.: «Новое в лингвистике», II, М., 1962.

соответствующих классов, представляя цепочки в виде формул.

В качестве примера З. Харрис приводит следующий анализ предложения *Today, automatic trucks from the factory which we just visited carry coal up the sharp incline* «Сегодня автоматические вагонетки с завода, который мы только что посетили, подают уголь вверх по крутому склону»:

Trucks carry coal «вагонетки подают уголь» — элементарное предложение; *today* «сегодня» — адъюнкт слева от элементарного предложения; *automatic* «автоматические» — адъюнкт слева от *trucks* «вагонетки»; *from the factory* «с завода» — адъюнкт справа от *trucks* «вагонетки»; *which we visited* «который мы посетили» — адъюнкт справа от *factory* «завода»; *just* «только что» — адъюнкт слева от *visited* «посетили»; *up the incline* «вверх по склону» — адъюнкт справа от *carry* «подают»; *sharp* «крутому» — адъюнкт слева от *incline* «склону».

Соотношение между приведенным анализом и традиционным анализом по составляющим, когда предложение прежде всего делится на группу существительного (*automatic trucks from the factory which we just visited* «автоматические вагонетки с завода, который мы только что посетили») и группу глагола (*carry coal up the sharp incline* «подают уголь вверх по крутому склону») в качестве НС предложения[4] с дальнейшим членением их состава на составляющие и НС, устанавливается, если учесть тот факт, что большинство составляющих эндоцентрично. Они обычно состоят из слова, которое своей принадлежностью к определенному классу характеризует данную составляющую, или такого слова плюс адъюнкт. Именно поэтому некоторая последовательность составляющих может быть заменена последовательностью характеризующих каждую из них категорий. Таким путем приведенное предложение может быть сведено в конечном итоге к *Trucks carry coal* «Вагонетки подают уголь», а исходное предложение полного состава будет рассматриваться как его распространение.

Сопоставление двух типов анализа показывает, что цепочный анализ предложения имеет некоторые преимущества перед анализом по НС. Так, при его использовании оказываются преодоленными те специфические трудности, которые наблюдаются при обычном анализе по НС экзоцентрических конструкций, например «придаточного подлежащего» или «придаточного дополнительного». При цепочном анализе непосредственно составляющие экзоцентрических конструкций рассматриваются как элементарные сегменты. Они могут быть отдельными словами или же сами являться конструкциями, как в приведенном примере с подлежащим и дополнением, выраженными структурой, которая традиционно именуется придаточным предложением. Аналогичным образом, расчленение предложения на цепочки устраняет сложности, возникающие при анализе по НС конструкций, в которых адъюнкт не граничит непосредственно с другой частью составляющей: *Softly she went out of the room* «Тихо она вышла из комнаты». Добавим еще, что, оперируя нередко более общими по своей категориальной сущности грамматическими понятиями, чем те, которые используются при анализе по НС, анализ по цепочкам создает более простое описание структуры предложения.

Связь цепочного анализа с трансформационным анализом устанавливается, если учесть то обстоятельство, что большинство адъюнктов суть трансформации элементарных предложений. Так, например, *automatic trucks* «автоматические вагонетки» есть трансформ предложения *truck is automatic* «вагонетка — автоматическая». (Следует иметь в виду, что понятия, обозначаемые общим термином «элементарное предложение», в двух анализах не тождественны. При анализе по цепочкам элементарное предложение является основной частью данного предложения, вычленяемой в результате отсечения адъюнктов. При трансформационном анализе элементарные предложения суть принадлежность синтаксической структуры языка. Элементарные предложения, лежащие в основе некоторого предложения, при трансформационном анализе выделяются в большинстве случаев не путем простого вычленения из наличного состава предложения, а в результате его трансформационных преобразований, зачастую весьма сложных).

Сопоставляя три типа анализа, З. Харрис замечает, что каждый из них независим от другого и не имеет каких-либо ограничений, определяемых, скажем, приложимостью к различным видам предложений. Разница между тремя анализами, а точнее, между двумя первыми и последним, заключается в том, как они соотносят предложения и части предложений языка. Если анализ по НС и цепочный анализ связывают друг с другом предложения со сходными элементами структуры, то с помощью трансформационного анализа могут устанавливаться связи между такими предложениями или отрезками предложений, которые никак не соотносятся при изучении структуры предложения двумя первыми методами. Ср.: *automatic truck* «автомати-

[4] *Today* выступает в качестве адъюнкта к предложению и выделяется на том же уровне членения, что и группы существительного и глагола, чем, кстати, нарушается принцип дихотомического деления.

ческая вагонетка» и *truck is automatic* «вагонетка — автоматическая».

Важной частью цепочного анализа является разделение предложения (S) на элементарное предложение (S_0) и адъюнкты. Вычленение элементарного предложения достигается, как указывалось, путем последовательного отсечения отдельных частей предложения при обязательном соблюдении того условия, что остающаяся каждый раз часть может рассматриваться как предложение. Порядок следования операций отсечения может иметь значение или, наоборот, не иметь его. Предложение, которое приводилось выше, сводится до элементарного предложения последовательным отсечением элементов:

1) *Automatic trucks from the factory which we just visited carry coal up the sharp incline* «Автоматические вагонетки с завода, который мы только что посетили, подают уголь вверх по крутому склону» (устраняется *today* «сегодня»); 2) *Trucks from the factory which we just visited carry coal up the sharp incline* «Вагонетки с завода, который мы только что посетили, подают уголь вверх по крутому склону» (устраняется *automatic* «автоматические»); 3) *Trucks carry coal up the sharp incline* «Вагонетки подают уголь вверх по крутому склону» (устраняется *from the factory which we just visited* «с завода, который мы только что посетили»); 4) *Trucks carry coal*$=S_0$ «Вагонетки подают уголь» (устраняется *up the sharp incline* «вверх по крутому склону»). Свойства S_0 относительно «окружения», пишет З. Харрис, должны быть те же, что и у S[5]. В связи с процедурой выделения элементарного предложения надо заметить, что признаки, по которым часть предложения получает статус элементарного предложения, в конечном итоге не вполне ясны, ибо, характеризуя предложения (стр. 7), автор не определяет те конструкции, которые им присущи. Сущность же такого конституента элементарного предложения, как «дополнение» (ср. ниже, стр. 118), даст основание усомниться в возможности ограничения формальными признаками. Автор вынужден, хотя и в не явной форме, прибегать к смысловому анализу языкового материала[6].

Аналогичным образом выделяются элементарные адъюнкты (elementary adjuncts) в отсеченных последовательностях слов (word-sequences). Опять-таки необходимым требованием является сохранение после каждого отсечения остающейся частью тех же свойств относительно окружения, которые характеризовали последовательность слов в целом. Например, в *from the factory which we just visited* «с завода, который мы только что посетили» может быть опущено *which we just visited* «который мы только что посетили». Здесь в свою очередь может быть отсечено *just* «только что». Процедура отсечения продолжается до тех пор, пока все последовательности слов не будут сведены до элементарной формы.

Приведенное членение предложения положительно отличается от традиционного анализа по НС разграничением уровней в синтаксической структуре предложения. Необходимо, однако, заметить, что рассмотренная процедура разложения предложения на элементарные части (элементарное предложение и элементарные адъюнкты) при ее осуществлении на сколько-нибудь значительном, но далеко не исчерпывающем всего присущего корпусу языка многообразия структур, наталкивается на немалые трудности. В составе предложения может быть вычленено более чем одно «элементарное предложение». Это, например, конструкция *we visited* «мы посетили» в анализируемом предложении, не говоря о бессоюзных дополнительных и атрибутивных предложениях, весьма, кстати, характерных для английского языка: *He says he leaves to-morrow* «Он говорит, [что] он уезжает завтра» или *This is the kind of work I like best* «Это тот вид работы, [который] мне больше всего нравится». Анализ может еще более усложняться тем, что конструкция, отвечающая по структуре требованиям элементарного предложения, сама является частью элементарного предложения. Речь идет о придаточных подлежащных и дополнительных. Автор считает, что подобные структуры содержат элементарное предложение плюс адъюнкт, являющийся частью элементарного предложения, или элементарное предложение, включающее в свой состав другое элементарное предложение. Решение найдено, но за счет того, что строгость и однозначность определения избранных базисных единиц структуры предложения нарушены. Имеются, как мы видим, случаи их совмещения.

В результате анализа некоторого объема речевого материала З. Харрис вводит символизированную номенклатуру присущих английскому языку цепочек в

[5] «Окружение» включает и присущий рассматриваемой единице интонационный контур, ударение. Так, например, элементарной единицей последовательности *does not contain* «не содержит» не может быть эмфатическая конструкция *does contain* на том основании, что *does not contain* и *does contain* встречаются в различных условиях ударения.

[6] О невозможности достичь адекватного описания языкового материала с опорой лишь на поддающиеся непосредственному наблюдению физические свойства высказываний говорят сегодня не только «трансформационалисты», см., например, R. B. Lees, A multiply ambiguous adjectival construction in English, «Language», XXXVI, 2 (pt. 1), 1960, стр. 207.

структуре предложения, состоящих из буквенных и числовых обозначений. Автор предупреждает, что предлагаемый список формул не исчерпывающий и не вполне детализирован, однако покрывает значительную часть наиболее часто встречающихся структур. Так, утвердительное предложение имеет формулу $c_1 = \Sigma_i t V_{ij} \Omega_j$, где Σ_i — подлежащее, V_{ij} — глагол, Ω_j — дополнение, t — показатель времени (в виде слова или морфемы), ij при V — показатель того, что данный тип глагола встречается с Σ_i и Ω_j. Подстрочные буквы указывают подклассы, разряды и просто группы слов внутри классов. Выделяется шесть типов подлежащего: Σ_i, где подлежащее — существительное, например *The food tasted fine* «Еда была хорошей на вкус», Σ_2, Σ_3 и т. д. Характеристика может даваться косвенно, путем отсылки к другой цепочке. Так, например, $\Sigma_3 = \Omega_7$: [*The*] *barking of dogs was loud* «Лай собак был громким». Всего выделяется шесть типов подлежащего, тридцать три типа дополнения. При этом возможно дальнейшее подразделение внутри типов. Например, Ω_{33} включает $\Omega_{33.1}$, $\Omega_{33.2}$ и т. д. вплоть до $\Omega_{33.9}$. Вопросительное предложение представлено в виде формулы $c_2 = t\Sigma_i V_{ij} \Omega_j$?

Как видно из приведенного, наряду с понятиями элементарного предложения и адъюнкта З. Харрис использует и традиционные термины членов предложения: «подлежащее», «дополнение», определения которых не дает. Между тем, это необходимо было сделать уже хотя бы потому, что определение соответствующих категорий здесь далеко не совпадает с традиционным. Подлежащее включает подлежащные предложения (например, в *That he came here surprised me* «Что он пришел сюда, удивляет меня»). Еще шире и, главное, без четких грамматических оснований трактуется автором категория дополнения. Из перечня типов дополнения можно предполагать, что под дополнением им понимается любое слово или конструкция, без которых глагол и, соответственно, предложение воспринимаются как нечто незаконченное, неполное. Ср., например, такие дополнения (в примерах выделены): *I wonder whether he will come* «Я сомневаюсь, придет ли он»; *He gave the book to me* «Он дал мне книгу»; *She was an actress* «Она была актрисой»; *He began slipping* «Он начал скользить»; *They are fresh from the field* «Они только что с поля»; *He is here* «Он здесь»; *He is in class* «Он в классе»[7].

Описание и классификация адъюнктов ограничиваются указанием на их синтаксические связи и морфологический способ выражения без уяснения синтаксического значения (функции). Опять-таки само понятие адъюнкта получает весьма расширенную трактовку, включая в свой состав такие крайности, как, скажем, артикль и подчинительно-присоединительные предложения (например, *He went away which was a big help* «Он ушел, что было большим облегчением»)[8]. Остается неясным, почему части элементарного предложения определяются в терминах членов предложения и подобный подход отсутствует в интерпретации адъюнктов. Их описание ведется в терминах классов слов. Тем самым нарушается единство подхода в изучении структуры предложения, так как понятия подлежащего, дополнения связаны с синтаксическим значением, в то время как план содержания в описании адъюнктов игнорируется. Подобный отрыв плана содержания от плана выражения представляется неприемлемым прежде всего по методологическим соображениям. Такая непоследовательность в интерпретации речевого материала не позволяет достичь адекватного описания структуры предложения.

Отсутствие единообразия обнаруживается и в другом. Процедура выделения элементарных частей, как показывает практическое осуществление анализа, не сводится к простому отсечению. В ряде случаев, как например, в приводившемся анализе отрицательной формы глагола *does not contain*, для отделения *not* используется понятие эквивалентности конструкции (*does not contain=contains not*). Цепочный анализ в этом случае, вопреки утверждению автора о том, что каждый из трех типов анализа независим от другого, пересекается с трасформационным анализом. Случаи эти, видимо, не редки (ср. стр. 25). Сходные преобразования структуры предложения надо будет делать и при выделении элементарного

[7] Использование З. Харрисом понятия такого «дополнения» представляет любопытную — в плане изучения методологии лингвистического исследования — параллель к «смысловому комплементу» (Sinnerganzung или Objekt) в основывающейся на совершенно противоположных исходных принципах «грамматике, ориентирующейся на содержательную сторону языка» (inhaltbezogene Grammatik). Ср.: Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Л., 1962, стр. 434 и сл. (сокращенная перепечатка немецкого издания, Düsseldorf, 1959). Имеются между ними и другие моменты схождения. Ср., например, понятие «элементарного предложения» у З. Харриса с «каркасом предложения» (Satzgerüst) и методики их выделения (см. там же, стр. 435 и сл.).

[8] Ср. аналогичную трактовку понятия адъюнкта еще у О. Есперсена («Философия грамматики», М., 1958, стр. 107—121).

предложения в предложениях типа русск. *Я вижу двух человек* и др.

Некоторые моменты, возможно, необходимые при машинной обработке языкового материала, представляются неприемлемыми по характеру его лингвистической интерпретации. Так, не может не вызвать возражения понятие некоторых видов нулевого языкового факта, например нулевого дополнения в предложениях вроде *The furies slept* «Фурии спали» или нулевого существительного в *the rich* «богачи». Отрицательно сказывается на результатах анализа почти полное (хотя, как было показано выше, и недостаточно последовательное) исключение из него содержания, сведение основных признаков синтаксических структур к особенностям их состава и дистрибуции. Не говоря о трудностях, связанных с анализом фразеологического материала, указанное обстоятельство затрудняет анализ вполне типового материала.

В заключение укажем на следующее. Цепочный анализ позволяет достичь более удовлетворительного описания — в лингвистическом плане — структуры предложения, чем анализ по НС в его традиционном виде. Это во многом связано с использованием идеи уровня при исследовании предложения (элементарное предложение и адъюнкты, более четкое разграничение уровней морфологии и синтаксиса), отчетливо реализуемым стремлением к созданию количественно ограниченной системы единиц описания структуры предложения, обращением к содержательной стороне отдельных выделяемых единиц. Анализ по цепочкам стоит ближе к традиционному анализу по членам предложения, чем обычный анализ по составляющим.

Монография З. Харриса, содержащая изложение новой методики анализа структуры предложения, несомненно, представляет интерес для лингвистов, исследующих синтаксическую проблематику.

Г. Г. Почепцов

«Webster's Third new international dictionary». —Springfield (Mass.), 1961. LVI+2662 стр.

История развития грамматики и фонологии свидетельствует о том, что прогресс в языкознании, как и в других науках, невозможен без взаимодействия между развивающейся теоретической мыслью и накапливаемыми фактами. В свою очередь лексикология сможет выйти из того тупика, в который она зашла, только если и в этой области языкознания будет обеспечено творческое взаимодействие теории и практики. Теоретические обобщения по вопросам семантики могут оказаться значительно более продуктивными, если они будут основываться не на горстке специально подобранных примеров, а на значительном объеме достоверного лексического материала. Основная задача настоящей работы состоит в выявлении недостатков большого словаря, порожденных, по мнению автора, отсутствием у этого словаря достаточно серьезной теоретической основы.

Поскольку в качестве материала для обсуждения принципов семантического описания слов мною избрано третье издание «Нового международного словаря» Вебстера, представляется целесообразным сделать следующие предварительные замечания. Во-первых, я считаю полный словарь английского языка великолепным достижением в области техники собирания материала и его обнародования; критические замечания, которые я сочту необходимым сделать, ни в какой мере не уменьшают моего восхищения книгой, практически свободной от опечаток и содержащей около полумиллиона словарных статей, из которых около ста тысяч написано заново. Во-вторых, я не хотел бы касаться полемики, разгоревшейся между лексикографами и языковедами главным образом потому, что словарь не обеспечил необходимых стилистических помет при тех сравнительно немногочисленных словах, допустимость которых в «образцовом» английском языке подвергается сомнению[1].

Рассмотрим глагол *to turn* — пример несомненно очень сложной вокабулы. Первая часть статьи трактует его переходное употребление. Выделено 9 значений; каждое из них разделено на подзначения, которые в свою очередь распадаются на «подподзначения». Та же трехстепенная структура применяется для семантического анализа непереходного *to turn*. В результате общее число под- и подпод- значений доходит до 115 предельных семантических единиц. Но можно ли считать эту классификацию обоснованной? Имеется ли рациональная основа для принятого разграничения и объединения подзначений? Редакторы словаря, если не считать неубедительной и недокументированной ссылки на историческую последовательность возникновения значений, пользуются только понятием «лексикографического удобства» (lexical conveni-

[1] Ср.: J. H. Sledd, Lynching the lexicographers, «Proceedings of the 1962 Annual spring meeting of the American ethnological society», Seattle, 1963; его же, Dictionaries and that dictionary, Chicago, 1963.

ence, стр. 19а). Но тогда естественно возникает вопрос: почему именно такое, а не другое расположение значений «лексикографически удобно»?

Поскольку составители словаря не изложили своего кредо, лингвист не может избежать соблазна попробовать применить к данной области языкознания некоторые из тех принципов исследования, которые ему удавалось применять в других, более «податливых» разделах нашей науки. Для нас как лингвистов естественно пытаться обнаружить взаимно противопоставленные (mutually-contrastive) значения одного и того же слова. Возьмем, например, такую фразу: *This is the man who turned the figurines*. Без более широкого контекста нельзя узнать, «вращал» ли просто этот человек фигурки или же «вытачивал их на токарном станке». Поэтому можно считать несомненным, что переходный глагол *to turn* имеет по крайней мере два значения сам по себе, как таковой. Что же касается разных смыслов глагола *to turn*, возникающих в таких предложениях, как *he turned a switch* и *he turned a somersault*, то их можно с полным основанием отнести всецело за счет различия тех семантических типов, к которым принадлежат слова *switch* (название конкретного физического предмета) и *somersault* (название действия, характеризующегося вращательным движением).

То, что третье издание Вебстеровского словаря не проводит четкого различия между контрастирующими (contrastive) и дополнительными (complementary) смыслами описываемых слов — это, с точки зрения лингвиста, наиболее разительный его недостаток. Это не значит, конечно, что, предоставляя приоритет контрастирующим смыслам, лексикограф автоматически получит конкретную схему построения сложной словарной статьи: в полном описании должны различаться и дополнительные (комплементарные) смыслы, так как чисто формальный анализ — без обращения к субстанции в глоссематическом понимании — оказался бы столь же непригодным для проникновения в существо предмета, как чисто формальная фонология. Нельзя также упускать из виду и то обстоятельство, что семантическая раздвоенность многозначного слова обычно ограничивается определенными контекстами. Так, в первом из приведенных выше примеров семантическая раздвоенность глагола *to turn* проявляется потому, что прямым дополнением является *figurine*. Она не реализуется в тех случаях, когда объектом является *somersault*, так как сальто-мортале нельзя вытачивать на токарном станке. Эти явления весьма похожи на контекстуально-обусловленную раздвоенность в фонологии, получившую название нейтрализации. Однако в семантике проблема оказывается гораздо более запутанной, потому что здесь число основных элементов очень велико, а контексты с трудом поддаются классификации. Тем не менее я полагаю, что без последовательно проводимого различия между контрастным и комплементарным смыслами описательная семантика невозможна. Пренебрежение этим различием — один из основных недостатков «третьего Вебстера».

Словарь страдает также отсутствием адекватной системы помет, т. е. несовершенством лексикографического мета-языка для классификации релевантных контекстов. Возьмем для примера следующую цитату: (*the*) *discussion turned on the feasibility of the scheme*. Здесь глаголу *to turn* приписывается подсмысл 1с (2): «сосредоточиться на некотором указанном предмете; сосредоточить внимание; относиться главным образом к». Но ведь данный подсмысл глагола *to turn* порождается тем существительным, которое является подлежащим данного предложения. Грамматически совершенно подобные предложения с другими подлежащими дадут совершенно отличные смыслы глагола *to turn*. Однако словарь уклоняется от определения классов существительных, релевантных для соответствующих семантических разграничений. Вместо этого словарь просто нагромождает примеры, из которых читателю самому предоставляется извлекать нужные ему сведения. А ведь проблема не является неразрешимой. Данный (1с, 2) подсмысл глагола *to turn*, по-видимому, реализуется тогда, когда подлежащими являются такие слова, как *story*, *book*, *plot*, *dream*, *play*, *thought*, *opinion*. Все эти слова являются названиями предметов, «говорящих» о ком-либо или о чем-либо: *a story about a girl*, *a book about a dog*. Их можно было бы назвать «именами говорения» (nomina dicendi). Хотя здесь этот металингвистический термин был создан экспромтом — наше эксплицитное знание английского языка не достигло еще такого уровня, на котором подобного рода понятия фигурировали бы как нечто само собой разумеющееся — сам тот факт, что нам не удалось еще разработать и ввести в употребление соответствующий мета-язык, говорит о диспропорции между размером словаря и содержательностью даваемых в нем объяснений. Иными словами, теорию, положенную в основу «третьего Вебстера», можно было бы сравнить с фонологией, которая, не обладая понятием переднего гласного, должна была бы удовлетворяться туманными намеками на то обстоятельство, что немецкая фонема |x| имеет аллофон [ç]: например [ziç, bȳçer].

Словарь должен не только указывать допустимые замены, но и те пропуски или добавления, которые допускаются в образцовых предложениях. Этого требования словарь также не выполняет. Так, например, в предложении (*He*) *played for society dances before turning to the blues* предложный оборот *to the blues* является

обязательным, так как без него не реализуется данное значение глагола *to turn*. В предложении же (*He*) *turned left at the foot of the hill* оборот *at the foot of the hill* является факультативным, т. е. не имеет влияния, не нужен для реализации данного семантического варианта описываемого слова. То, что словарь не различает этих двух случаев в приводимых примерах (предложениях) нельзя отнести просто за счет отсутствия необходимой технической терминологии (лексикографического мета-языка): это просто следствие недостаточно углубленного анализа. Несистематизированные примеры, представленные вне минимальных пар, несмотря на их идиоматическую убедительность, могут лишь напомнить пользующемуся словарем то, что он уже знает. Они не могут научить его ничему новому и, конечно, даже не приближаются к описанию научной истины (descriptive statement) посредством эксплицитного и экономного формулирования фактов, имеющих дифференциальное значение (distinctive facts).

Неразграничение обязательного и факультативного и отсутствие указаний на допустимость или недопустимость тех или других сочетаний лишает словарную статью какой бы то ни было порождающей силы. Ведь для того чтобы данное описание приобрело способность «порождения», необходимо, чтобы оно было буквально применимо ко всем случаям данного рода с полным исключением всех других. Но может ли семантическое описание вообще обладать такой силой порождения, какая предполагается у описаний грамматических. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, насколько высоко оцениваются такие возможности грамматического описания. Насколько мне известно, до сих пор нет доказательств того, что даже синтаксическое описание может полностью строиться на «порождающей силе» какой-либо из предложенных до сих пор теорий; что же касается морфологии словообразования, то можно считать доказанным наличие в языках моделей, не поддающихся определению в терминах порождения, несмотря на то, что они «таксономически» распознаются и анализируются естественными носителями языка[2]. Поэтому лучше не обольщаться иллюзиями относительно исчерпывающего характера тех порождающих описаний (generative descriptions), появление которых можно уже предвидеть. Вместе с тем я убежден, что понятие «порождаемости» (generativeness), исследовавшееся Н. Хомским и его сотрудниками в применении к грамматике, является достаточным основанием для разработки и для других областей лингвистики таких описаний, которые были бы в наибольшей степени «порождающими», а также разработки мета-языка, пригодного для достижения этого идеала. Служить этой подлинно лингвистической цели традиционно составленный словарь оказывается не в состоянии.

Неразличение продуктивных и непродуктивных моделей словосочетания проявляется также в чрезмерно детализованном анализе идиоматических выражений. Предложение *they found everything turned topsy-turvy* якобы иллюстрирует следующее значение глагола *to turn*: «обратить последовательность чего-либо; нарушить порядок или расположение». Однако если убрать из этого предложения прилагательное *topsy-turvy*, то это значение будет потеряно: ср. *they found everything turned*. Если же, наоборот, из этого предложения убрать глагол, оставив прилагательное, то его первоначальное значение останется неизмененным: *they found everything topsy-turvy*. Из сказанного ясно, что значение «обращения» и «нарушения порядка» выражается в этом предложении прилагательным, а глагол *to turn* выступает здесь лишь как семантически опустошенный соединитель. В этой функции он регулярно воспроизводится в разнообразных контекстах, не имеющих никакого отношения к «обращению последовательности» или «нарушению порядка»— в таких, например, как *turn him free* (*set him free*), *turn the trick* (*do the trick*) и т. п. Другой пример: *turn one's stomach* правильно передается как «вызвать полное отвращение; вызвать тошноту». Но наряду с этим уже само *turn* (а не все выражение в целом) в тех случаях, когда подлежащим является *stomach*, представляется как имеющее значение «испытывать тошноту». Ясно, что приводимое здесь толкование перефразирует все выражение: *he became nauseated-= his stomach turned*. Вообразить английское выражение **his stomach became nauseated* чрезвычайно трудно.

У редакции словаря нет, по-видимому, ясного правила о том, какие идиомы следует разбирать, а какие нет. Так, например, фразеологизму *turn up* посвящена особая статья, но и в статье *up* мы находим предложение *the money will turn up somewhere*, которое должно иллюстрировать значение (5А) наречия *up*, а именно: «появиться, оказаться налицо» («into existence, evidence»). Нельзя не заметить, что при разборе этого фразеологизма авторы не разбирают слово-основу и что ни один из подсмыслов, зафиксированных для транзитивного *to turn*, не объясняет, хотя бы в самой отдаленной степени, употребление этого глагола во фразе *turn up*.

Для такого лингвиста, как Г. Пауль, различие между лексическими и окказиональными значениями было аксиомой. Считая, по-видимому, что за истекшие с

[2] См.: K. E. Zimmer, Affixal negation in English and other languages: degrees of productivity, «„Word" monorgaph», 5, 1964.

его времени 80 лет эти фундаментальные категории устарели, редакторы «третьего Вебстера» приписывают объясняемым словам такие окказиональные детали смысла, которые вполне адекватно могут быть поняты из контекста. Так, например, в одном случае *to turn* определяется как «превратить в нечто, что указано» («to cause to become something specified») с примером (*a*) *gadget that was going to turn us all into a nation of gawking illiterates*, а в другом — в предложении (*he*) *turned his stocks and bonds into cash* — как пример иного отдельного подзначения «обменять на что-либо другое», хотя значение в обоих случаях явно одно и то же. В результате формула *A turns into B* оказывается раздробленной на столько значений, сколько возможно разных *A* и *B*. Отсюда бесцельный педантизм и переопределение (overdefinition), усугубляемые неразличением тонко, но минимально противопоставленных моделей *A turns to B* и *A turns into B*.

Вопреки объявленному стремлению к нововведениям способ использования синтаксической информации также является традиционным и примитивным. Значения почти каждого глагола определяются отдельно для переходного и непереходного его вариантов. Но ведь в таком случае, как *to turn*, треть переходных и непереходных значений совпадает (с соответствующими изменениями в синтаксическом построении определения). Таким образом, принятый подход не только не согласуется с продуктивностью детранзитивирующих моделей современного английского языка, но и ведет к неэкономному повторению определений. С другой стороны, такие не менее важные категории, как глагольное дополнение, совсем не фигурируют в словаре. Например, в *she turned seventeen* глагол считается переходным — как если бы *seventeen* было прямым объектом!

Я не могу согласиться с высказываниями Кэца и Фодора, Апресяна и Перебейнос[3], что лексикология будет приведена в систему, коль скоро ей будут предписаны строгие процедуры выделения синтаксических подклассов слов. Некоторые из положений этих ученых преувеличены. В отношении других от окончательного суждения пока следует воздержаться. Но их статьи подтверждают по крайней мере одно эвристическое значение синтаксиса для лексикологии: они напоминают о нередко упускаемой из виду возможности улучшения лексикографического описания за счет усиления внимания к уже известным синтаксическим свойствам описываемых слов.

[3] J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, «Language», XXXIX, 1963; «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

В заключение я вновь обращаюсь к вопросу о расположении разных значений одного слова в словарной статье. Принятая техника требует, чтобы разные значения слова располагались в линейном порядке. Но этот чисто внешний прием лексикографической подачи материала не должен внушать мысль, что более глубокая внутренняя структура полнозначного слова реально характеризуется одномерным расположением его семантических компонентов. Так, например, в случае с *turn* наличие нескольких измерений совершенно очевидно. Постепенный переход от наиболее общего, фактически любого движения, например *he will not turn a finger*, к более специфическому (overall rotatory motion), например *turn a wheel* и, наконец, к движению, совершенно точно определенному в своей протяженности, например по кривой 180°— *turn the pancakes*,— выступает совершенно отчетливо. Параллельно с этой напрашивается и другая градация — от наиболее общего вращения вокруг собственной оси (*he turned the key*) до более специализированных смыслов, например «обратное движение» (reversal of moving things)— *the tide turned*. Далее на обе эти семантические градации накладывается различение буквальных, переносных и фигуральных употреблений одного и того же слова, например: 1) *the wheel turned*; 2) *his head turned* и 3) *everything turned on his decision*. В восточноевропейской лексикологии подобного рода семантические измерения дали интересные результаты (правда, иногда при применении их к конкретному материалу у читателя создается впечатление, что данная произвольно разработанная структура привносится как бы извне). Но гораздо хуже если словарь подобно «третьему Вебстеру», основываясь только на лексикографическом удобстве», оказывается совсем лишенным какой бы то ни было структурной основы.

Думается, что некоторые английские словари находят более приемлемые решения, чем «третий Вебстер», в плане семантического анализа слов. Однако даже те из них, которые описывают принятый лексикографический метод наиболее внятно или с наибольшими претензиями, не раскрывают с достаточной полнотой теоретических основ своей деятельности. Особенно прискорбным является то обстоятельство, что такая огромная глыба, как полный словарь английского языка, «родила мышь» лексикографической теории величиной всего в один абзац. Поэтому естественно напрашивается сравнение современного состояния лексикологии с тем состоянием, в котором находилась фонетика в середине XIX в., когда основанная на орфографии интуиция фонемных единиц была подвергнута осуждению, а систематическая фонология еще не успела предложить новых прин-

ципов для обработки непрерывно разраставшихся наблюдений.

Для того чтобы достигнуть большего порядка в лексикологии, необходимо обратиться к уже созданным началам теории этой науки, основанной на таких понятиях, как раздвоение (ambiguity), контекстуальное разрешение многозначности (disambiguation), идиоматичность (idiomaticity), семантическое исчерпывание (depletion) и т. п.[3]. Необходимо научиться применять эту мета-теорию для выявления релевантных семантических категорий в отдельных языках. Вполне естественно, что исследователя затрудняет наличие в каждом языке несравненно большего числа семантических категорий по сравнению, например, с фонетическими. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что раз их число велико, оно должно обязательно быть бесконечным. А раз число конечное, значит задача выполнима. Если оказалось возможным создать «анэкдотальный» словарь (anecdotal dictionary) такого огромного объема, как «третий Вебстер», то уж наверное можно будет когда-нибудь составить словари меньшего объема, но обладающие, хотя бы в минимальной степени, самой необходимой долей порождающей силы*.

У. Вайнрайх

[3] Ср.: U. Weinreich, On the semantic structure of language, сб. «Universals of language», ed by J. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963.

* Настоящая рецензия опубликована на английском языке в IJAL, XXX, 4, 1964.

Перевела с английского *О. С. Ахманова*

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

На VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (Москва, август 1964 г.) значительное место занимали доклады лингвистического характера.

Происхождению языка был посвящен доклад А. А. Леонтьева (СССР) «Некоторые вопросы глоттогенеза в свете современных психологических данных». Автор делает попытку применить к глоттогенезу идеи Л. С. Высотского и его школы об онтогенезе языкового мышления, в частности теорию П. Я. Гальперина о трех уровнях интериоризации внешних форм деятельности у индивида: действие с материальными предметами, действие в громкой речи и действие в уме (мысль). Отделение речевого действия от предметного происходит не благодаря членораздельности речи (членораздельность возникает позже) и не только благодаря потребности обобщения, а в связи с коммуникативной функцией речи. В отличие от В. В. Бунака А. А. Леонтьев выводит человеческую речь не из аффективно-нейтральных жизненных шумов, а из аффективных звуковых средств стадной стимуляции, перерастающих в средства регуляции поведения и приобретающих знаковый характер (в связи с разделением труда).

Р. О. Якобсон (США) в докладе «Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии» призывает отказаться от излишне скептического отношения к возможностям сравнительно-исторических реконструкций в мифологии и к древности фольклорных свидетельств. На примере историко-сравнительного изучения славянских верований (в частности, культа Перуна) в сопоставлении с древними религиями балтийцев и других индоевропейцев Р. О. Якобсон показывает, что важным подспорьем для реконструкций в мифологии служат имена богов и демонических существ, а также антропонимика и имена нарицательные культового происхождения.

Ряд докладов посвящен вопросам родства языков.

А. Б. Долгопольский (СССР) в докладе «Гипотеза древнейшего родства языков Северной Евразии (проблемы фонетических соответствий)» рассматривал фонетические соответствия между корнями индоевропейских, уральских, алтайских, картвельских и семито-хамитских языков. Автор привел 178 совпадений корней, иллюстрирующих предполагаемые фонетические соответствия: и.-е. *m = урал. *m = алт. *m = картв. *m = семит.-хамит. *m; и.-е. *n = урал. *n = алт. *n = картв. *n = семит.-хамит. *n; и.-е. *l = урал. *l-, *-l-, *-$ĺ$- = тунг.-маньчж. *l-, алт. *-l-, *-$ĺ$- = картв. *l = семит.-хамит. *l; и.-е. *r- = урал. *r- = картв. *r- = семит.-хамит. *r-; и.-е. *-r- = урал. *-r- = алт. *-r-, *-$ŕ$- = картв. *-r- = семит.-хамит. *r; и= е. *-i-, *-i-=урал. *-j-=алт. *-j-, *-i-=семит.-хамит. *-j-; и.-е. *u, *u = урал. *w = алт. *b, *u, *$ü$ = картв. *w = семит.-хамит. *w, *b; и.-е. *s (и *st, *sk) соответствует уральским, алтайским и картвельским сибилянтам и аффрикатам, семитским сибилянтам и дентальным щелевым; и.-е. и семит.-хамит. ларингалы соответствуют урал., алт. и картв. нулю звука (а также картв. и урал. *γ); и.-е. *p, (*b), *bh = урал., *p-, *-pp-, *-p- = алт. *p, *b = = картв. *p, *p, *b; и.-е. *t-, *d, *dh = = урал. *t-, *-tt-, *-t-, *-δ- = алт. *t, *D, *d = картв. *t, *t, *d = семит. *t, *t, *d; и.-е. гуттуральные соответствуют урал., алт., картв. и семит.-хамит. гуттуральным.

Г. И. Мачавариани (СССР) выступил с докладом «К вопросу об индоевропейско-картвельских (южнокавказских) типологических параллелях». Автор обнаруживает глубокое и детальное сходство фономорфологических систем общекартвельского и общеиндоевропейского языков: то же деление фонем на три класса (гласные, сонанты, согласные) при полной идентичности инвентаря первых двух классов, та же фономорфологическая структура корня и аффикса, почти идентичная система аблаута. С другой стороны, отмечаются многочисленные схождения между картвельскими и северокавказскими языками: богатство консонантизма (включающего глоттализованные), наличие эргатива и отсутствие аккузатива, эргативный строй предложения, широкое применение префиксации. Как объяснить двойственный характер картвельского лингвистического типа? Автор пока не в со-

стоянии прийти к вполне убедительному решению этой проблемы, но в качестве рабочей гипотезы склонен принять мнение о большей древности кавказского компонента в структуре картвельских языков.

Б. В. Горнунг (СССР) в докладе «К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности („протоиндоевропейские" компоненты или иноязычные субстраты?)» предпринимает попытку связать с данными археологии гипотезу К. Уленбека, Э. Форрера и Н. С. Трубецкого о гетерогенном происхождении индоевропейской семьи языков, в образовании которой участвовали согласно этой гипотезе как компоненты, родственные урало-алтайским и эскимосским языкам (языки типа *А*), так и компоненты средиземноморско-кавказского характера (языки типа *В*). По мнению Б. В. Горнунга, носители языка типа *А* заселяли Причерноморье от Болгарии до Азовского моря, сталкиваясь в районе Кёрёш-Старчева с языком типа *В*, а к северу от Дуная — с языком народа линейно-ленточной керамики. В структуре индоевропейского языка Б. В. Горнунг пытается усмотреть следы гетерогенности индоевропейского языкового строя.

С. Мураяма (Япония), не приехавший на конгресс, в своем докладе «Проблемы заселения Японских островов» (представленном в виде тезисов) приводит типологические и лексические аргументы, доказывающие принадлежность японского языка к алтайской семье.

И. Дайен (США) в докладе «Миграции малайско-полинезийских народов» показывает, исходя из глоттохронологической оценки степени близости разных австронезийских языков, что центром распространения австронезийских языков должна была быть Восточная Новая Гвинея и/или острова Меланезии. Там же (возможно, на Новых Гебридах) находится центр распространения малайско-полинезийской подгруппы австронезийских языков (выявленной методами глоттохронологии). По И. Дайену, меланезийские языки — это не ветвь австронезийских, а совокупность языков австронезийской семьи, не входящих в малайско-полинезийскую подгруппу. Выводы о центре распространения австронезийских языков основаны на миграционной теории, согласно которой центром распространения языков некоторой группы является район, где на малой территории представлено много наиболее удаленных друг от друга языков группы. Указываются пути предполагаемых миграций.

С. Е. Яхонтов (СССР), представивший доклад «Глоттохронология китайско-тибетской семьи языков», считает, что глоттохронология, не давая точной датировки разделения родственных языков, может успешно применяться как мерило степени родства. Пользуясь глоттохронологическим методом (с несколько видоизмененными списками М. Свадеша), он дает классификацию языков Восточной и Юго-Восточной Азии, подтверждающую результаты новейших исследований (П. Бенедикт и др.) и вносящую убедительные поправки в общепринятую классификацию. Глоттохронологические подсчеты показывают, что китайско-тибетская семья членится на гималайскую ветвь (канаури и пр.), китайскую ветвь и тибето-бирманскую ветвь, включающую, в частности, тибетский, качин (цзинпо), трунг, йи-тангутско-бирманскую подгруппу и ранее всех отделившуюся каренскую подгруппу. Дун-тайская (таи-кадайская) группа языков включает тайскую подгруппу, язык ли, язык лаккя, дунгшуйские языки; объединение языков ли, дун и других в особую кадайскую подгруппу (П. Бенедикт) не оправдано. Вопреки распространенному мнению тайские языки к китайско-тибетской семье не принадлежат. Дун-тайские языки вместе с индонезийскими, мон-кхмерскими (включая вьетнамский) и языками мяо-яо принадлежат к австрической семье. Очень рано началось деление мон-кхмерской и тибето-бирманской групп, по древности дифференциации сравнимых с индоевропейской семьей. Значительно позже отошли тайские языки от других дун-тайских, мяо от яо (это по древности сравнимо с выделением славянских из балто-славянских). Самые молодые группы — тайская, йи (и), мяо и китайская (каждая из них по древности дифференциации сравнима со славянской или тюркской группой языков).

С. А. Арутюнов (СССР) в докладе «Проблема классификации языков народов Восточной Азии в свете их этнической истории» пытается изучить древнейшее расселение народов Восточной Азии, исходя из типологической классификации языков и из гипотезы первобытной лингвистической непрерывности. Одну зону лингвистической непрерывности, по С. А. Арутюнову, составляют языки преимущественно корнеизолирующего строя (обычно относимые к китайско-тибетской и австрической семьям), другую — языки суффиксального строя (урало-алтайские, дравидские, папуасские и австралийские).

Проблемам этногенеза в лингвистическом освещении посвящен был также доклад «Лингвистические данные о путях миграции в западной части Тихого океана», который представил П. А. Ланьон-Орджилл (Канада).

Несколько докладов касались этнолингвистических проблем истории индоевропейских языков. Т. В. Гамкрелидзе (СССР) в докладе «Анатолийские языки и вопрос о переселении в Малую Азию индоевропейских племен» приводит языковые факты, свидетельствующие о переселении хетто-лувийцев в Малую Азию еще в эпоху существования хетто-лувий-

ского праязыка (а не о раздельном переселении разных хетто-лувийских народностей). Автор полагает, что это переселение шло через Кавказ и объясняет отсутствие археологических следов переселения хетто-лувийцев через Кавказ тем, что оно происходило путем постепенного просачивания нового этнического элемента в гущу коренного населения Малой Азии.

В. Мажюлис (СССР), выступивший с докладом «Лингвистические заметки по балтийскому этногенезу», пользуется понятиями «древние контакты» (ДК) (контакты родственных идиом в условиях взаимопонимания; по объему соответствует понятию «языковая общность», «язык», «праязык») и «поздние контакты» (ПК) (по объему соответствует традиционному понятию «контакты между разными языками»). Начало распада балто-славянских ДК с выделением славянских ДК совпадает по времени с началом выделения латышско-литовских ДК и прусских ДК и датируется временем не позднее II тысячелетия до н. э. Конец распада балтийских ДК на латышско-литовские ДК и прусские ДК датируется временем ранее IV—III вв. до н. э. Северная граница балто-славянских ДК — в районе бассейна верхнего Немана и Березины, восточная граница — по Днепру между устьями Березины и Припяти.

Некоторые балто-славянские этимологии рассматривались в докладе П. Петрова (Болгария) «К вопросу о балто-славянском этническом родстве».

Данным диалектологии, привлекаемым для изучения этнической истории народов, были посвящены доклады В. Т. Топурия (СССР) «Диалекты картвельских языков и вопросы общего языкознания», В. Ф. Дамбе (СССР) «Свидетельства диалектологии и топонимики о расположении народностей на территории Латвийской ССР» и Н. А. Баскакова (СССР) «Этнолингвистическая классификация диалектных систем современных тюркских языков». Н. А. Баскаков классифицирует диалектные системы тюркских языков, выделяя: 1) языки, диалектная структура которых отражает родо-племенную структуру данного народа (хакасский, туркменский, алтайский, узбекский), 2) языки, диалекты которых основаны только на территориальном распределении (соответствующие народы прошли стадию феодализации и утратили следы старой родо-племенной структуры: это кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, татарский, турецкий, чувашский, якутский, азербайджанский, новоуйгурский языки), и 3) языки, занимающие промежуточное положение: диалектное членение основано преимущественно на территориальном признаке, хотя сохраняются и *следы родо-племенной* структуры — это киргизский, казахский, каракалпакский, ногайский, тувинский, башкирский языки. Кроме того, все диалектные системы делятся на состоящие из однородных диалектов (хакасский, туркменский, киргизский, казахский, каракалпакский, ногайский, кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, татарский, турецкий языки) и на состоящие из неоднородных в этническом и родо-племенном отношении диалектов (это алтайский язык, состоящий из диалектов древнеуйгурского и древнекиргизского происхождения; узбекский язык с диалектами кыпчакского, огузского и карлукского происхождения; тувинский язык с диалектами исконно-тюркского населения и отюреченных самодийцев и монголов; башкирский язык; чувашский язык; азербайджанский язык; новоуйгурский язык). С изучением диалектов связаны также доклады Х. Итурриага (Испания) «Морские выражения» (о фразеологии, тематически связанной с морем, в диалектах Испании) и М. Ш. Ширалиева (СССР) «Арго „волчий язык"» (об арго «гурт дили» в Азербайджане).

Ряд докладов был посвящен вопросам этнолингвистической интерпретации данных топонимики и этнонимики. В. А. Никонов (СССР) в докладе «Топонимика в историко-географической этнографии» предостерегает против выводов историко-этнографического характера, построенных на наивном толковании этнонимов, содержащихся в топонимических названиях. Он рассматривает более надежные пути историко-этнографического толкования топонимов: изучение основ, изучение географического распространения суффиксов и статистическое обследование фонетического состава топонимов. Последние два пути В. А. Никонов считает самыми достоверными. Автор предостерегает против поспешных попыток увязать данные топонимики, археологии, этнографии и языкознания. Топонимике и этнонимике посвящены также доклады А. А. Коскинена (Финляндия) «Топонимы острова Пасхи», А. А. Валитовой (СССР) «Этнонимы в тюркоязычном памятнике XI века „Кутадгу билиг"» и А. П. Дульзона (СССР) «Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения» (о компонентах *кем*, *об*, *ман*, *дон* и *тари* предположительно индоевропейского происхождения в гидронимах Южной Сибири), а также вышеупомянутый доклад В. Ф. Дамбе.

Взаимодействию языков в современности посвящены: доклад В. Ю. Розенцвейга (СССР) «Лингвистический подход к описанию культурных контактов» (предлагается модель языковых и культурных контактов, аналогичная модели перевода, предложенной тем же автором, подчеркивающим особую роль общих между двумя культурами элементов); доклад Дж. О. Эллиса (Великобритания) «Лингвистическая ситуация на Балканах и в кельтских странах» и доклад В. С. Расторгуевой, Ч. Х. Бакаева,

М. И. Исаева, А. А. Керимовой и Л. А. Пирейко (СССР) «Типы двуязычия у иранских народов Советского Союза» (выделяется: двуязычие бытовое в результате многолетнего контакта с другим народом в быту, двуязычие в связи с потребностью в местном зональном языке межнационального общения в районах расселения нескольких малочисленных народностей, двуязычие в связи с потребностью в языке межнационального общения в пределах СССР).

Результаты взаимодействия языков в древнейшую эпоху были темой интересного доклада Й. Губшмида (Швейцария) «Языковые адстраты, субстраты, суперстраты и этнографические проблемы». Автор определяет понятия «адстрат», «субстрат», «суперстрат» (последние два понятия применимы лишь в диахронии; синхронно суперстраты и субстраты представляются адстратами), «заимствование» и «реликт». Положения автора иллюстрируются материалом индоевропейского субстрата в Средиземноморье, позволяющего думать о двух исчезнувших языках (языковых группах): один на полуостровах и на африканском побережье, другой, родственный баскскому — в более северных районах. Той же тематике посвящен доклад К. Треймера (Австрия) «О палеоевропейской этнографии».

Культурные и языковые контактные связи кетов с народами циркумполярной области рассмотрены в докладе В. В. Иванова и В. Н. Топорова (СССР) «Лингвистические вопросы этногенеза кетов в связи с проблемой вхождения их в циркумполярную область». Авторы выделяют в кетском языке и в кетской культуре элементы палеосибирского субстрата и культуры околополярного комплекса, а также поздние элементы самодийского и более поздние селькупского происхождения. После отделения всех этих элементов можно пытаться восстановить древнейший тип языка и культуры енисейских народов (к которым принадлежат кеты) путем внутренней и внешней (сравнительно-исторической) реконструкции праенисейского состояния, которое приурочено к жизни енисейцев в районе Саян и еще далее к югу (т. е. в областях значительно южнее современной территории расселения кетов). Предположение о продвижении енисейцев с юга подтверждается тематическим анализом общеенисейской лексики, анализом топонимики Сибири и Северного Казахстана. Генетически языки енисейцев связаны, по мнению некоторых языковедов, с сино-тибетскими языками, а по мнению других — с языками бурушаски и эускаро-кавказскими; если эти предположения подтвердятся, это будет еще одним аргументом в пользу южного происхождения енисейских народов и более позднего возникновения элементов циркумполярного происхождения в кетском языке и культуре.

Вопросам письменности посвящены доклады С. М. Хайдакова (СССР) «Опыт создания письменности у бесписьменных народов СССР (на примере народов Дагестана)», Л. Манрике (Мексика) «Статистическое изучение языка древних маяй» (об исследовании письменности майя) и И. К. Федоровой (СССР) «О легендах, связанных с „Кохау ронгоронго“» (к проблеме дешифровки письменности острова Пасхи).

Лингвистический интерес представляет также доклад В. К. Яцунского (СССР) «Изменение численности говорящих на главнейших языках мира и роли этих языков в общении между народами в XVIII—XX веках».

А. Б. Долгопольский (Москва)

9—14 сентября 1964 г. в Самарканде проходила созванная Самаркандским гос. университетом им. Алишера Навои межвузовская конференция «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова». В конференции приняли активное участие ученые-языковеды Москвы, Ленинграда, Алма-Аты и других городов нашей страны. Было прочитано свыше 90 докладов и сообщений.

После вступительного слова ректора Самаркандского университета В. А. Абдуллаева, рассказавшего о достижениях, с которыми самаркандские филологи приходят к 40-летию Узбекской ССР, А. А. Леонтьев (Москва) прочитал написанный совместно с Г. Г. Суперфином (Москва) доклад «Современное состояние разработки биографии и архивного наследия Е. Д. Поливанова», где излагались важнейшие результаты предпринятых лингвистами Москвы и Ленинграда розысков архивного наследия Поливанова. На том же заседании с воспоминаниями о Е. Д. Поливанове выступили писатель В. А. Каверин (Москва), узбекский колхозник М. Хаджимурадов, диалектную речь которого Поливанов изучал во время одной из своих диалектологических экспедиций, и фольклорист С. Л. Лифшиц (Самарканд).

На следующем заседании были прослушаны: доклад У. Т. Турсунова и Л. И. Ройзензона (Самарканд) «К изучению творческой биографии Е. Д. Поливанова», подводящий итог работам узбекских ученых в этой области, и доклады И. Г. Добродомова (Москва) «Принципы изучения звуковых изменений в трудах Е. Д. Поливанова» и А. И. Васильева (Фрунзе) «Чему нужно учиться методистам у Е. Д. Поливанова». На третьем пленарном заседании были прочитаны доклады: Л. А. Андреева и С. Ф. Заньков (Рязань) «Взгляды Е. Д. Поливанова на эволюцию языка и современные представле-

ния о языковом развитии», Л. П. Крысин (Москва) «Вопросы языковой эволюции в трудах Е. Д. Поливанова» и В. М. Никитин (Рязань) «К вопросу о новых методах изучения синтаксиса и о значении учения о синтаксических позициях в связи с поисками Е. Д. Поливановым точных методов лингвистики». Большой интерес вызвал основанный на новых архивных материалах доклад Е. А. Малиновского и А. Д. Хаютина (Самарканд) «Из материалов к биографии Е. Д. Поливанова». На пленарных же заседаниях выступили с воспоминаниями У. Т. Турсунов, А. И. Абражеев (Самарканд) и П. А. Данилов (Ташкент); были оглашены также воспоминания Ю. Яншансина (Фрунзе), Н. П. Архангельского (Ташкент), Ф. Мааруфи (Самарканд) и М. С. Кардашева (Нукус) и сообщение Д. М. Насилова (Ленинград) «О пребывании Е. Д. Поливанова в Японии в 1915 г.».

На конференции работало семь секций. На секции общего и прикладного языкознания наибольший интерес вызвали доклады В. Г. Вилюмана (Ленинград) «О синонимах, как словах смежных в своих значениях и употреблениях», В. А. Редькина (Москва) «Русское ударение как система морфологических единиц», в котором была выдвинута оригинальная теория ударения в русском языке, М. А. Черкасского (Алма-Ата) «К вопросу о движущих противоречиях языка», вызвавший бурную дискуссию, Н. А. Шехтмана (Оренбург) «Семантические поля и семантические множители». Большой интерес аудитории вызвал и доклад Е. Л. Гинзбурга (Москва) «Заметки о просодических компонентах в речи больных афазией», сопровождавшийся иллюстрациями в записи на магнитофонной ленте. На той же секции выступили с докладами: А. С. Герд (Ленинград) «О статистическом распределении структурных типов слов и морфем, их образующих», М. П. Рускова (Ленинград) «Сопоставительная характеристика словообразовательных моделей имен существительных в славянских языках», Л. А. Шеляховская (Алма-Ата) «О частотности аббревиатур в языке газет», Т. А. Колосова (Алма-Ата) «Опыт разграничения грамматических омонимов методом операционного анализа»; В. П. Тимофеев (Шадринск) «Словарь языка одного лица»; А. А. Леонтьев «„Экономия произносительных усилий“ — фикция или действительность?»; Л. Н. Иорданская (Москва) «О некоторых синтаксических характеристиках языков (существенных для автоматической обработки текстов)»; А. П. Клименко (Фрунзе) «Психолингвистическое измерение значений одной группы слов»; И. А. Мельчук (Москва) «Типы связей между элементами текста и типология языков»; Н. Д. Арутюнова (Москва) «О некоторых принципах составления дифференциальных грамматик»; Т. Д. Ковлер (Алма-Ата) «Исследование структуры текста с точки зрения восприятия лексики».

Весьма активно работала секция восточных языков. Здесь следует отметить вызвавшие оживленное обсуждение следующие доклады: А. Н. Тихонов (Самарканд) «Существует ли категория вида в тюркских языках», М. Ш. Рагимов (Баку) «Аналитическая форма на *са/сә кәрәк* в тюркских языках», а также Ш. Ч. Сат (Кызыл) «Развитие грамматического строя тувинского языка в советскую эпоху» и И. А. Андреев (Чебоксары) «Развитие чувашской письменности в советскую эпоху и проблемы чувашской орфографии». Кроме того, с докладами и сообщениями выступили: А. К. Калимов (Москва) «Опубликованные и рукописные работы Е. Д. Поливанова по дунганскому языку»; Т. А. Исаева (Горький) «Е. Д. Поливанов об исторических причинах своеобразной акцентуации эрзя-мордовского языка»; Т. Ходжаев (Самарканд) «К некоторым спорным вопросам категории имен прилагательных в тюркских языках»; А. З. Абдуллаев (Баку) «О происхождении азербайджанского союза *ки*»; Р. Кунгуров (Самарканд) «Е. Д. Поливанов и узбекское языкознание»; А. А. Юлдашев (Москва) «Узбекская форма прошедшего времени *ган — бор* (*йўк*) в трактовке Е. Д. Поливанова»; Х. Д. Данияров и В. Э. Эгамов (Самарканд) «Е. Д. Поливанов и современные классификации узбекских народных говоров»; Н. Раджабов (Самарканд) «Нивелирование узбекских народных говоров в литературном языке»; М. Н. Валиев и Х. Д. Данияров (Самарканд) «Изучение Е. Д. Поливановым сингармонистических говоров узбекского языка»; Я. Д. Пинхасов (Бухара) «О классификации сочетаний слов в современном узбекском языке»; М. М. Мирзаев (Бухара) «Е. Д. Поливанов об этническом составе и узбекском говоре населения Бухары и Самарканда»; А. А. Абдуллаев (Бухара) «О некоторых словах-послелогах в современном узбекском языке» и Э. Ю. Уразов (Ургенч) «Е. Д. Поливанов и хорезмские говоры».

На секции сопоставительного изучения и методики преподавания языков особенный интерес представили доклады: К. М. Байбульсинова (Алма-Ата) «Из опыта работы над русским произношением в татарских группах»; В. Д. Скирдов (Фрунзе) «Русские изъяснительные союзы и их соответствия в киргизском языке» и М. И. Трофимов (Москва) «О значении типологического сопоставления грамматического строя неродственных языков для изучения русского языка в национальной школе». Кроме то-

то, прочитали доклады О. В. Захарова (Фрунзе) «Категория числа имен существительных в русском и тюркских языках», М. М. Нушаров (Самарканд) «Рамочная конструкция в немецком языке и ее соответствия в узбекском языке», К. Я. Хлевникова (Смоленск) «Категория залога в романских и тюркских языках» и Г. Г. Сильницкий (Смоленск) «Семантические модели и трансформации и их роль в программированном обучении иностранному языку на старших курсах».

На секции общих вопросов грамматики и стилистики следует отметить доклады: В. М. Никитин (Рязань) «Актуальное членение предложения или субстанция членов предложения»; И. В. Альтман (Москва) «Стихологические взгляды Е. Д. Поливанова и некоторые особенности поэтики аруза» и Е. А. Корнеева (Ленинград) «Обстоятельственное значение инфинитива в современном английском языке». Были прочитаны также следующие доклады и сообщения: А. А. Цой (Самарканд) «Синтаксический способ реализации лексических значений»; Е. Н. Риттер (Алма-Ата) «Внутренняя флексия в немецком языке»; Е. А. Чернцына-Провоторова (Елец) «Специфика и место семантики причинности среди других разновидностей релятивной семантики»; О. А. Никитина (Рязань) «О необходимости для науки и о путях развития и углубления учения А. А. Шахматова об основных (реальных) и сопутствующих (грамматических) значениях в языке»; Ю. М. Феличкин (Самарканд) «Народно-разговорный элемент в поэме А. Блока „Двенадцать“ и его отражение при переводе»; В. А. Амитин (Бухара) «Стилистические функции украинизмов в произведениях Шолохова 20-х гг.»; В. А. Кухаренко (Одесса) «Некоторые соображения о стилистической интерпретации текста (по материалам произведений Э. Хемингуэя)»; А. М. Лятина и Л. И. Ройзензон (Самарканд) «Некоторые вопросы лингвостатистики»; Ю. Р. Геппнер (Харьков) «О связи языка с идеологией»; В. А. Козьменко (Харьков) «Фразеология лексико-грамматического типа и вопросы ее изучения»; Е. Ф. Теплов (Петрозаводск) «Суффиксальные и безаффиксные образования личных собственных имен со значением оценки» и «Формы повелительного наклонения глагола в составе личных собственных имен русского языка»; В. Б. Куликов (Самарканд) «О формах на *-у* род. и местн. пад. ед. числа существительных муж. рода в языке грамот Северо-Восточной Руси XV—начала XVI вв.»; М. С. Малеева (Орел) «Система сокращенно-суффиксального словообразования в современном русском языке»; Л. М. Минкин (Самарканд) «Категория ограничения (на материале современного французского языка)»; Г. А. Рубинштейн (Одесса) «О некоторых особенностях английских наречных слов в связи с вопросом об экономии языковых средств»; Б. М. Масис (Смоленск) «Материалы по истории латинских имен действия»; Э. Я. Мороховская (Самарканд) «К вопросу об источнике возникновения конструкции *it is* (*was*) *he who* в английском языке»; П. П. Дав (Ленинград) и Л. М. Минкин (Самарканд) «Альтернативные вопросительные предложения во французском языке».

На секцию фонологии представили доклады: В. И. Григорьев (Москва) «К теории дифференциальных признаков фонем», А. Е. Супрун (Фрунзе) «К некоторым особенностям динамической типологии (заметки о тюркском и славянском вокализме)», Г. П. Мельников (Москва) «Фонетические особенности и орфография тюркского аффикса имени действия *y/ÿ*», А. Н. Морохов ский (Самарканд) «Фонологическая интерпретация среднеанглийского выравнивания гласных» и В. Г. Лобин (Чимкент) «Принцип фонологического отбора в фонетических изменениях».

На секции фразеологии были прочтены следующие доклады и сообщения: М. Тагиев (Баку) «К методологическим основам фразеологии как лингвистической науки»; Б. Г. Таирбеков (Баку) «Некоторые аспекты общей теории фразеологии и проблемы межъязыковой транспозиции пословично-поговорочных конструкций (на материале перевода сочинений В. И. Ленина на азербайджанский язык)»; Л. Н. Рыньков (Кустанай) «Фразеологический характер метафорических сочетаний»; М. М. Копыленко (Алма-Ата) «К сопоставительному изучению сочетаний лексем в славянских языках»; М. А. Пеклер (Самарканд) «Частотность слова и идиоматичность сочетания»; Л. И. Ройзензон и З. А. Шугурова (Самарканд) «Основные вопросы изучения сравнительных устойчивых оборотов в русском языке»; Ю. Ю. Авалиани (Самарканд) «К изучению иранской фразеологии»; А. Г. Ломов (Самарканд) «Наблюдения над фразеологией Лаврентьевской летописи»; Л. С. Вирясова (Фрунзе) «Использование фразеологизмов в переносном значении (на материале произведений М. Шолохова)»; З. В. Лапшина (Алма-Ата) «Анализ переводов глагольно-субстантивных сочетаний немецкого языка на русский».

Наконец, в секции языковых контактов вызвал особенный интерес доклад А. А. Белецкого (Киев) «Результаты двуязычия в говорах румейского языка на Украине (тюркизмы румейского языка)». Кроме того, на этой секции выступали А. Т. Борщ (Кишинев)—«К вопросу о двуязычии»; Т. Н. Чернышева (Киев) — «Развитие румейского языка на Украине»; Л. И. Ройзензон—

«Об одном случае грамматической интерференции в сербо-лужицких языках»; О. И. Гордеева (Томск) — «Некоторые результаты интерференции при взаимодействии неродственных языков в условиях двуязычия»; А. Е. Карлинский (Алма-Ата) — «Восприятие старославянской речи представителем старобаварской языковой общности (на материале «Фрейзингенских отрывков»); Г. Я. Панкрац (Алма-Ата) — «О трех аспектах ассимиляции заимствований из русского языка в нижненемецком диалекте»; Ш. Хамдамов (Самарканд) «Об освоении иноязычных многоморфемных слов в узбекском языке». Был прочитан также доклад Р. Б. Удлера (Кишинев) «Украинско-молдавские языковые взаимосвязи».

На заключительном заседании Вяч. В. Иванов (Москва) сделал доклад «Е. Д. Поливанов и современное языкознание». На том же заседании конференция приняла резолюцию. В ней, в частности, решено проводить раз в два года в г. Самарканде «Поливановские чтения»— лингвистические симпозиумы памяти Е. Д. Поливанова.

«Поливановская» конференция явилась закономерным итогом работы над лингвистическим наследием Е. Д. Поливанова, развернувшейся в нашей стране за последние годы. Следующим шагом в этом направлении должно быть издание произведений Е. Д. Поливанова. Конференция одобрила инициативу московских языковедов в подготовке избранных произведений Е. Д. Поливанова по востоковедению и по общему языкознанию и обратилась к соответствующим организациям и научным учреждениям с просьбой содействовать публикации его работ по узбекскому, киргизскому и дунганскому языкам, а также его переводческого наследия. Институт языка и литературы АН УзбССР уже откликнулся на этот призыв.

Конференция протекала на исключительно высоком научном уровне, хотя процент «столичных» лингвистов, принимавших в ней участие, был крайне невелик. Это — убедительное свидетельство творческой зрелости молодых научных коллективов, сложившихся в последнее время в таких городах, как Алма-Ата, Самарканд и др.

Нельзя не подчеркнуть, что конференция не только явилась заметным событием в научной жизни Узбекистана, но и вызвала широкий общественный отклик. Подготовка к ней, ее ход и итоги работы освещались в местной и республиканской прессе. В одной только республиканской газете «Правда Востока» появились 3 статьи, посвященные Поливанову и «поливановской» конференции. Это неслучайно. Жизнь и творчество Е. Д. Поливанова представляют интерес не только для лингвиста. Очень велик его вклад в развитие культуры и просвещения советской Средней Азии, не говоря уже об общественной деятельности его в Москве и Ленинграде. Поэтому в принятой резолюции содержится пункт, необычный для лингвистической конференции: обратиться в исполком Самаркандского горсовета с просьбой назвать одну из улиц города именем профессора Поливанова.

Было бы желательно, чтобы материалы этой конференции были опубликованы в кратчайший срок.

А. А. Леонтьев (Москва)

21—24 сентября 1964 г. в Улан-Удэ состоялась IV научно-методическая конференция зонального объединения кафедр русского языка вузов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В работе конференции приняли участие представители 14 пединститутов, Иркутского госуниверситета и Бурятского комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ) Сибирского отделения АН СССР, а также учителя-словесники, студенты. Вступительное слово на открытии конференции произнес ректор Бурятского пединститута им. Д. Банзарова Н. Д. Шулунов.

Участников конференции тепло приветствовал секретарь Бурятского обкома КПСС К. М. Продайвода и пожелал плодотворной работы. Работа конференции проходила на пленарных заседаниях и в четырех секциях современного русского литературного языка и стилистики художественной речи, методики преподавания русского языка в школе и в вузе, русской диалектологии Сибири и истории русского языка, национальных языков Восточной Сибири. Всего заслушано и обсуждено свыше 40 докладов и сообщений.

На пленарных заседаниях прочитано пять докладов. С докладами «О проекте усовершенствования русской орфографии» и «О вопросах повышения эффективности уроков по русскому языку на данном этапе» выступил акад. АПН А. В. Текучев (Москва). Проф. В. Д. Кудрявцев (Иркутск) сделал доклад о воспитательных возможностях русского языка в школе и в вузе. Русской ономастике и необходимости ее изучения был посвящен доклад проф. В. Г. Тропина (Иркутск). Канд. филол. наук С. Ш. Чагдуров (Улан-Удэ) в своем докладе говорил о сопоставительной стилистике и художественном переводе. Доц. М. М. Власенко (Иркутск) прочитала доклад «О подготовке к „Центральным педагогическим чтениям“».

На секции современного русского литературного языка и стилистики художественной речи были прослушаны доклады канд. филол. наук А. Г. Щепина (Чита) «О принципах составления словаря русских омонимов», доц. Н. Г. Ковби-

нинoй (Хабаровск) «Тяготение как особый вид синтаксической связи», канд. филол. наук П. М. Бердника (Петропавловск-Камчатский) «Грамматические особенности словосочетаний», Н. А. Троицкой (Чита) «Словосочетания с превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющего слова», Л. В. Лебедевой (Благовещенск) «Именные эмоционально-оценочные предложения в современном русском языке», доц. Л. И. Шоцкой (Иркутск) «Проблема взаимоотношения разговорной и книжной лексики в художественной прозе 30—40-х гг. XIX века», доц. О. А. Нечаевой (Улан-Удэ) «Наблюдения над языком и стилем произведений С. В. Сартакова (к проблеме „Язык и стиль писателей Сибири“)», канд. филол. наук. И. А. Валентиновой (Чита) «Стилистическая роль синонимов в художественных произведениях». Во втором докладе О. А. Нечаевой говорилось о настоящем времени глагола как стилистической категории в современном русском языке.

На секции методики преподавания русского языка в школе и в вузе было заслушано и обсуждено 12 докладов.

На секции русской диалектологии Сибири и истории русского языка были заслушаны следующие доклады: доц. Н. А. Бобряков (Иркутск) «Из наблюдений над диалектной фразеологией говоров Киренского района Иркутской области», д-р филол. наук Л. Е. Элиасов (Улан-Удэ) «Бурятские и эвенкийские заимствования в языке русского старожилого населения Забайкалья», Ф. П. Иванова (Хабаровск) «О характере лексических диалектных различий на материале предметно-бытовой лексики русских старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби», Л. Г. Ботина (Иркутск) «Из наблюдений над семантическими диалектизмами говора Качугского района Иркутской области», Т. П. Демченко (Иркутск) «Консонантизм говора села Савватеевка Иркутского района», В. Г. Упхонов (Улан-Удэ) «Фонетические особенности говоров Уймонской долины Горно-Алтайской области», П. Ф. Калашников (Улан-Удэ) «К изучению говоров забайкальских старообрядцев», Е. И. Тынтуева (Иркутск) «Из наблюдений над ономастикой говора семейских Забайкалья», А. Г. Исакин (Петропавловск-Камчатский) «Глагольные формы настоящего-будущего времени в пандектах Н. Черногорца», М. Е. Рубинштейн (Комсомольск-на-Амуре) «К вопросу о времени и путях формирования сложных предложений с так называемыми придаточными присоединительными».

На секции национальных языков Восточной Сибири было прочитано четыре доклада. Канд. филол. наук Ц. Б. Цыдендамбаев (Улан-Удэ) доложил об итогах экспедиционного изучения говоров бурят Иркутской области, проведенных отделом языка и письменности БКНИИ. В докладе В. И. Золхоева (Иркутск) на интересном фактическом материале была показана нейтрализация фонологических оппозиций бурятских гласных. О языке некоторых ранних деловых бумаг бурят говорилось в докладе доц. Д. Д. Доржиева (Улан-Удэ). Канд. филол. наук У. Ш. Дондуков (Улан-Удэ) в своем докладе остановился на вопросах развития сельскохозяйственной терминологии в бурятском языке.

По всем обсужденным вопросам была принята развернутая резолюция. Почти все доклады рекомендованы к печати в специальном выпуске «Трудов конференции». Очередную зональную конференцию решено провести в 1966 г. в Уссурийском пединституте.

Н. Б. Дугаров (Улан-Удэ)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — «Български език»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
РФВ — «Русский филологический вестник»
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР»
СбНУ — «Сборник за народни умотворения»
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW — «Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh — «Archiv für slavische Philologie»
AKGW — «Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL — «Acta linguistica»
AO — «Archiv orientalni»
APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego»
BSLP — «Bullétin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»
BCLC — «Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
CFS — «Cahiers F. de Saussure»
IF — «Indogermanische Forschungen»
IIJ — «Indo-Iranian journal»
IJAL — «International journal of American linguistics»
JA — «Journ. asiatique»
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»
JФ — «Јужнословенски филолог»
JP — «Język polski»
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
JSFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», hrsg. von A. Kuhn
MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
PMLA — «Publications of the modern language assotiation of America»
RÉG — «Revue des études grecques»
RÉSL — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»

RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego»
RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
RLR — «Revue de linguistique romane»
RO — «Rocznik orientalistyczny»
SaS — «Slovo a slovesnost»
SMS — «Sborník matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu»
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or.— «Studia orientalia»
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhaque»
TCLP — «Travaux du Cercle Linguistique de Prague»
UAJb — «Ural-Altaische Jahrbücher»
UJB — «Ungarische Jahrbücher»
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slavistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

А. П. Дульзон. Очерки по грамматике кетского языка. I.— Томск, 1964. 220 стр.

Ю. О. Карпенко. Конспект лекцій. Топонімика гірських районів Чернівецької області.— Чернівці, 1964. 80 стр. (на правах рукописи).

А. М. Курбанов. Семасиология современного азербайджанского языка.— Баку, 1964. 52 стр.

Л. А. Покровская. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология.— М., 1964. 298 стр.

A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája 1961.— Budapest, 1963. 208 стр.

Československá rusistika. IX, 4, 1964. Стр. 194—260.

Język polski. XLIII, 1—4, 1964. Стр. 1—256.

Revue roumaine de linguistique. IX, 2—3, 1964. Стр. 119—347.

Rocznik naukowo-didaktyczny. Zeszyt naukowy 19 — Filologia rosyjska, Kraków, 1964. 158 стр.

Rocznik slawistyczny. XXIII, 2.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964. Стр. 171—421.

Slavia orientalis. XIII, 2, 1964. Стр. 107—220.

Slovo a slovesnost. XXV, 1964. Стр. 239—320.

Studia slavica. X, 1—2, 1964. 219 стр.

G. F. Bos. Het probleem van de samengestelde zin.— The Hague, 1964. 288 стр.

R. A. Hall, Jr. Introductory linguistics. Philadelphia — New York, 1964. 508 стр.

Kalmár L., Telegdi Zs. Általános nyelvészeti tanulmányok II. A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései.—Budapest, 1964. 322 стр.

I. Lehiste. Acoustical characteristics of selected English consonants.— The Hague, 1964. 197 стр.

N. B. Levin. The Assiniboine language.— The Hague, 1964. 166 стр.

R. E. Longacre. Grammar discovery procedures. A field manual.— The Hague, 1964. 162 стр. («Janua linguarum», series minor, XXXIII).

Р. Мразек. Синтаксис русского творительного.— Прага, 1964. 285 стр. (на русск. яз.).

N. Poppe. Bashkir manual. Descriptive grammar and texts with a Bashkir-English glossary.— The Hague, 1964. 181 стр.

L. J. Prieto. Principes de noologie. Fondements de la théorie fonctionnelle du signifié.— The Hague, 1964. 130 стр. («Janua linguarum», series minor, XXXV).

H. Roose. Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands.— The Hague, 1964. 176 стр.

F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, II, 4 (9).— Kraków, 1964. Стр. 337—448.

H. Safarewiczowa. Oboczność *я имею* i *у меня есть* w języku rosyjskim dziś i dawniej.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964. 66 стр.

K. E. Zimmer. Affixal negation in English and other languages: an investigation of restricted productivity. [«Word», 20, 2 (August, 1964), suppl., monograph № 5].

CONTENTS

Articles: V. M. Žirmunskij (Leningrad). General trends of phonetic development in Germanic languages; **Discussions:** J. Hamm (Vienna). Some remarks on diachronic investigations; N. N. Korotkov, V. Z. Panfilov (Moscow). On the typology of grammatical categories; N. N. Semeniuk (Moscow). Some remarks on language variants; E. V. Padučeva (Moscow). On the notion of configuration; **Discussion on Russian orthorgraphy:** V. P. Grigoriev (Moscow). Discussion on the «Proposals for improving Russian orthography»; **Materials and notes:** E. N. Prokopovič (Moscow). Verbal-interjectional forms in literary Russian of the XIX century; M. M. Makovskij (Moscow). Contribution to the historical and comparative analysis of lexical relicts and innovations in regional dialects (Some methodological considerations on establishing areal isoglosses); G. F. Blagova (Moscow). The importance of modern Uzbek dialects for the study of Old Uzbek written language; **Applied and mathematical linguistics:** R. O. Jakobson (Cambridge, USA). On the latinization of international telegrams written in Russian; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. M. Žirmounski (Léningrad). Tendences généraux de développement phonétique en germanique; **Discussions:** J. Hamm (Vienne). Quelques remarques sur les investigations diachroniques; N. N. Korotkov, V. Z. Panfilov (Moskou). Sur la typologie des catégories grammaticales; N. N. Semeniuk (Moscou). Remarques sur la variation linguistique; E. V. Padučeva (Moscou). La notion de configuration; **Discussion sur l'orthographe russe:** V. P. Grigoriev (Moscou). Discussion sur «Les propositions pour le perfectionnement de l'orthographe russe»; **Matériaux et notices:** E. N. Prokopovič (Moscou). Formes verbo—interjectionnelles en russe littéraire de XIX siècle; M. M. Makovskij (Moscou). Contribution à l'étude comparative et historique des relictes et innovations de lexique dans les parlers régionaux (Quelques considérations méthodologiques sur l'établissement des isogloses aréales); G. F. Blagova (Moscou). L'importance des dialectes ouzbeks modernes pour l'étude du vieux-ouzbek écrit; **Linguistique appliquée et mathématique:** R. O. Jakobson (Cambridge, EUA). Sur la latinization des télégrammes internationaux écrits en russe; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Технический редактор *Г. П. Фролова*

Т. 02612. Подписано к печати 6/I-1965 г. Тираж 5715 экз. Зак. 142

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Печ. л. 12,6 + 2 вкл. Бум. л. 4.5. Уч.-изд. листов 15,0

2-типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакцию других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55